

Рената Литвинова в "Увлеченьях" Киры Муратовой



СЦЕНАРИИ

КИНО №5

АЭРОФЛОТ



*Российские
Международные Авиалинии*

**Авиакомпания "Аэрофлот –
Российские международные авиалинии" –
лидер гражданской авиации России.**

Аэрофлот – это:

- надежная техника и высокопрофессиональный персонал в небе и на земле;
- уникальный опыт нескольких десятилетий работы на западном рынке;
- регулярные полеты в 160 городов 103 стран мира, в том числе СНГ и Балтии;
- организация международных чартерных рейсов для пассажирских и грузовых перевозок;
- разветвленная сеть агентов и деловых партнеров.

Аэрофлоту доверяют во всем мире!

Телефоны авиакомпании в Москве:

155-50-45 – международная справочная

155-66-41, 155-66-48 – коммерческая служба

155-59-48, 155-51-34 – пресс центр

№ 5 КИНО СЦЕНАРИИ

Учредители:
Комитет кинематографии при
правительстве Российской
Федерации
Конфедерация Союзов
кинематографистов

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Журнал издается с 1973 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Джейн КЭМПИОН 3 Пианино

Валерий ЗАЛОТУХА 34 Мусульманин

Ираклий КВИРИКАДЗЕ 72 1001 рецепт
господина Ишака

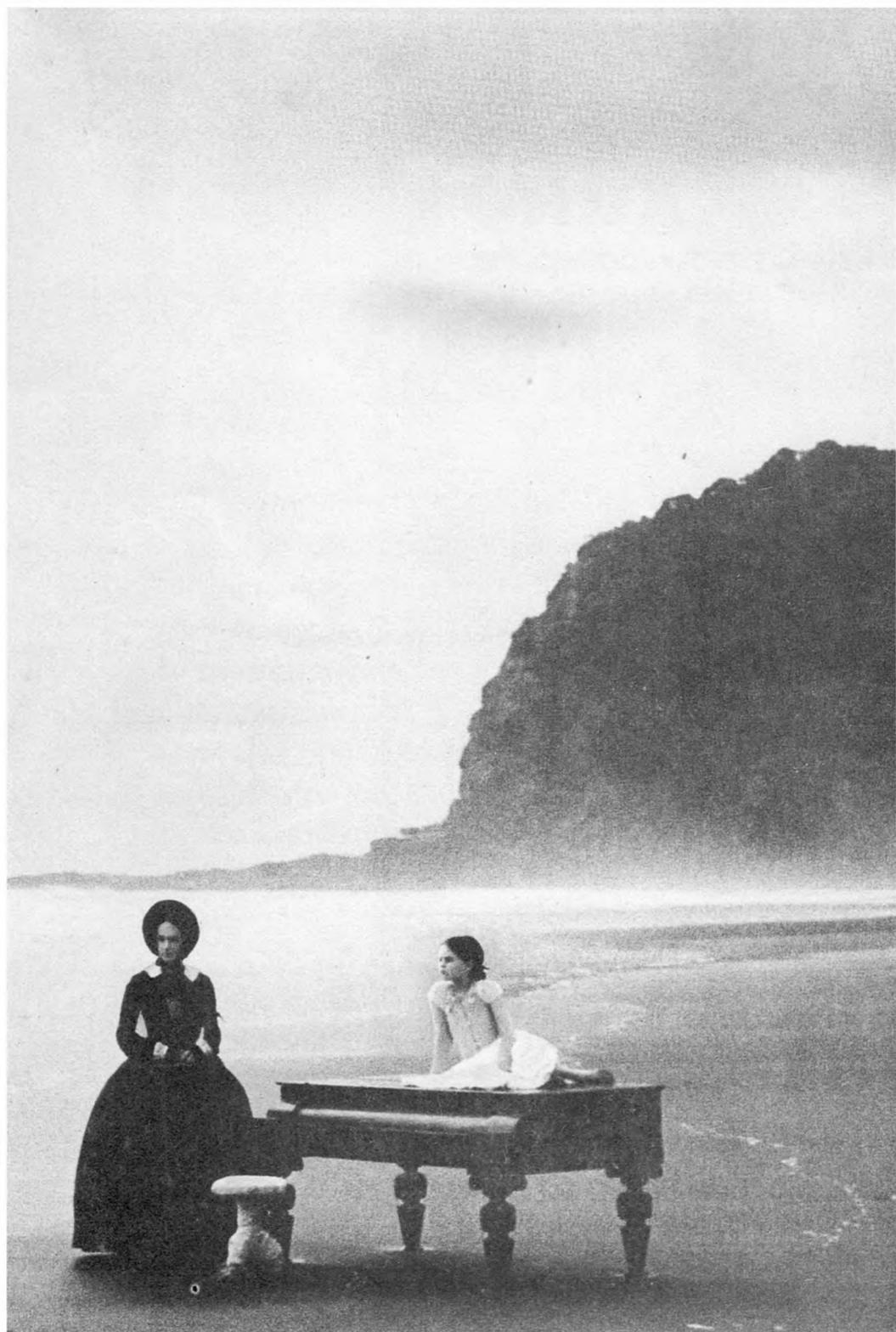
Рената ЛИТВИНОВА 117 Монологи,
новеллы

Валерий ФРИД 134 58 1/2

Василий КАТАНЯН 155 Сережа или Страсти
по Параджанову

Дж. фон ШТЕРНБЕРГ 168 Марлен Дитрих –
необычайная
женщина

Марлен ДИТРИХ 189 Азбука моей
жизни



Американская киноакадемия присудила фильму "ПИАНИНО"

за лучший авторский сценарий – Джейн Кэмпбелл
за лучшую женскую главную роль – Холли Хантер
за лучшую роль второго плана – Анна Пэкуин

История, рассказанная в фильме "Пианино", исполнена несвойственного современному кино возвышенного романтического пафоса и живо напоминает романы живших в XIX веке английских писательниц Джейн Остин и сестер Бронте.

Ниже мы предлагаем читателям литературную запись по фильму, – сценарий, к сожалению, нам получить не удалось. Однако никакая запись, никакое изложение сюжета не может передать и сотой доли очарования фильма, завораживающего своим изобразительным рядом и прекрасным актерским ансамблем. "Пианино" – произведение редкостной красоты, подобные ему уже давно не появлялись на мировом экране. И можно лишь восхищаться мастерством австралийского режиссера Джейн Кэмпбелл, сумевшей создать такое тонкое и изысканное творение. На фестивале в Канне (1993) фильм был увенчан "Золотой пальмовой ветвью". Год спустя американская Академия киноискусства присудила "Пианино" три "Оскара".

Подлинным открытием фильма "Пианино" стала американская актриса Холли Хантер, получившая за исполнение роли немой пианистки Ады Макрат "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Канне и премию "Оскар".

Хантер начала сниматься в кино в 1980 году. Свою первую главную роль сыграла в комедии "Разбуженная Аризона" в 1987 году. Наибольшую популярность принесла ей роль Доринды в фильме Спилберга "Всегда" (1989). Однако она никогда не входила в число ведущих актрис Америки, и только благодаря Джейн Кэмпбелл в полной мере проявился магнетизм личности этой хрупкой, но необыкновенно сильной и талантливой актрисы.

Говорят создатели фильма "Пианино":

**режиссер Джейн Кэмпбелл (Австралия),
актриса Холли Хантер (США),
актер Харви Кейтл (США).**

– Известно, что Джейн Кэмпбелл очень долго искала исполнительницу роли Ады Макграт. Каким образом эта роль досталась вам?

Холли Хантер: Не думаю, что мое имя вертелось у нее в голове. Поскольку она искала исполнительницу на всех континентах, то сценарий был послан в агентство в Лос-Анджелес, клиентом которого я состою много лет. Прочитав сценарий, я испытала сомнение относительно того, смогу ли перевоплотиться в эту необыкновенно сильную женщину. Но это лишь обострило желание сыграть ее. Джейн принадлежит к тому типу режиссеров, которые способны плениться актером, и актеры платят ей взаимностью. Многие режиссеры привыкли действовать по принципу: "Если ты хочешь эту роль – значит никогда ее не получишь". Джейн совсем другая, она сразу проникается симпатией к тем, кто хочет играть ее героев.

– И что же, прочитав сценарий, вы полетели в Австралию и позвонили в дверь Джейн?

Холли Хантер: Да нет! Джейн на три дня приехала в Лос-Анджелес. Через своего агента я дала знать, что хочу увидеться с ней. Мы встретились в первый день, и я попросила у нее два дня, чтобы овладеть шотландским диалектом и выучить монолог в начале и конце фильма. Ну, а перед отъездом мы сделали пробы. Кроме того, мне пришлось полчаса играть на фортепиано. Этой взяткой я надеялась подкупить Джейн.

– А что самое трудное в роли немой?

Холли Хантер: Главная проблема состояла не в том, чтобы овладеть языком глухонемых, а научиться по-новому использовать собственное тело. Отсутствие реплик не создавало чувства потери. Ада часто прибегает к блокноту, когда возникает потребность высказаться.

– Вам помогло, что вашими партнерами были американские актеры Харви Кейтл и Сэм Нил?

Холли Хантер: В Америке мне не довелось с ними встретиться. Так что знакомство состоялось вдали от Америки. Иметь рядом с собой такого актера, как Харви Кейтл, было для меня величайшим благом. Он мужественно пытался преодолеть все то, чему нас учили в Голливуде. Это был трудный период, ведь мы привыкли к суперсовременному способу съемок.

– В одном интервью вы говорили, что были потрясены костюмом, в котором вам пришлось играть...

Холли Хантер: Да, он очень помог в создании образа Ады. Если женщина затянута в корсет, носит кринолин, нижнюю юбку, панталоны, она движется иначе, чем ходим мы, и должна иметь грациозную походку. Однако здесь требовалась не только грациозность, но и выносливость.

– Когда в Голливуде снимают любовные сцены, звезды предпочитают иметь дублеров. Вспомним Шелли Митчелл, "отдавшую" свои ноги



Джейн Кэмпбион – сценаристка и режиссер фильма
и Холли Хантер – исполнительница главной роли

Джулии Робертс, а грудь – Энн Эрчер.

Холли Хантер: Я не признаю дублерш для сексуальных сцен. Что за ерунда! Если не хочешь играть в таких сценах, не нужно братья за фильм. Харви и я даже не обсуждали такой возможности. Любовные сцены в "Пианино" настолько органичны, что, согласившись на дублершу, я перестала бы ориентироваться в действии и мне пришлось бы по-новому осмысливать содержание сцен.

– Несколько слов об исполнительнице роли Флоры.

Холли Хантер: Анна Пэкуин – девятилетняя девочка из Новой Зеландии. Еще до встречи с ней Джейн поставила условие, чтобы я не разговаривала с ней, и девочка почувствовала, что ей придется быть переводчиком у немой матери. Это удивительная девочка! Она выучила шотландский диалект и азбуку глухонемых!

– Мисс Кэмпбион, почему вы остановили свой выбор на Холли Хантер?

Джейн Кэмпбион: Мой главный принцип – приглашать актеров, которые хорошо гармонируют друг с другом. Прежде всего важна ключевая фигура, под нее уже подгоняются все остальные. Холли показалась мне идеальной исполнительницей, и не в последнюю очередь потому, что она чудесно играет на рояле. На пробах она была так хороша, что у меня возникло чувство: уж не появилась ли она прямо из моего сценария?

– Вы сами играли на фортепиано все эти произведения?

Холли Хантер: Да, но я согласилась на это не без внутренней борьбы, поскольку многие из них превосходили мою способность справиться с ними.

Джейн Кэмпбион: А я всегда поражалась, что за роялем Холли не делает ошибок. Мы включали камеру, и я не сомневалась, что она все сыграет правильно.

Холли Хантер: Съёмочная группа и работающая камера заставляли чувствовать себя, как на концерте. Нельзя было сделать ошибку и незаметно исправить ее. Каким облегчением было слышать каждый раз: "Хорошо..."

– Чувствуется, что вы хорошо понимали друг друга...

Холли Хантер: Меня всегда стимулирует, когда режиссер имеет свое представление обо всем. Джейн твердо знала, чего она хочет и никогда не отступала от своей линии.

– А что вас заставило придумать эту необычную историю? Само пианино или что-то другое?

Джейн Кэмпбион: С самого начала я твердо знала, что хочу рассказать историю о любовном треугольнике, причем происходившую в XIX веке, известном своими суровыми моральными представлениями. Чем больше я думала над сценарием, тем яснее мне казалось, что нужен объект, который придаст всему повествованию необычность. Перебрав множество вариантов, я остановила свой выбор на пианино, которое было для жителей Новой Зеландии совершенно загадочным творением рук человеческих. Пианино, символ цивилизации, выступает в качестве зримого контраста к жизни дикарей.

– Для своей истории вы сумели найти поразительную внешнюю форму. Это уже было заложено в сценарии?

Джейн Кэмпбион: Я, конечно, стараюсь все обдумать на уровне сценария. Однако нет никакой гарантии, что все будет точно воплощено в реальность. Чаще всего идеи, как снять ту или иную сцену, приходят во время съемок, и это не очень сложно. Нужно только держать глаза широко открытыми. Я рада, что в нынешнем фильме получилось так много красивых образов. Можно даже выпустить календарь, проиллюстрировав его кадрами из "Пианино".

– Харви, вы сделали себе имя как характерный актер, и вот роль любовника...

Харви Кейтл. Я был счастлив, что Джейн сочла возможным доверить мне такую роль.

– Когда смотришь "Пианино", то не покидает мысль, что дожди и грязь превратили съемки в ад...

Харви Кейтл: Да нет! Не до такой степени... Конечно, было сыро, много осадков, но я не воспринимал это как катастрофу. А может быть, мой мозг подавлял все эти негативные эмоции, и в душе остались самые светлые воспоминания о съемках.

– Вы часто сотрудничаете с иностранными режиссерами. Сейчас это – Джейн Кэмпбион. Вы чувствуете разницу в подходе к съемкам американских и европейских режиссеров?

Харви Кейтл: Когда работаешь с независимыми режиссерами, как, например, Скорсезе, тогда различий не ощущаешь. Другое дело, когда участвуешь в широкомасштабной, голливудской продукции. Там режиссер – часть большого пакета, он связан формулой коммерческого производства. Можно сказать заранее, что будет представлять собой фильм. Вот почему в своих последних картинах я уже выступал в качестве одного из продюсеров. Так больше возможностей влиять на процесс съемок. Ну, а работа над фильмом "Пианино" была просто наслаждением. Я даже не рассчитывал когда-нибудь сыграть такую роль.

THE PIANO ПИАНИНО

Шотландия. Небольшое поместье Макгратов.

Развесистые дубы скрывают стоящий в глубине дом. Теплый осенний день.

Хрупкая женская фигурка в темном платье с кринолином бродит по дорожкам. Порывы ветра колыхнут широкую юбку. Это – Ада Макграт. Она присаживается к старому развесистому дубу, прижимается к нему спиной.

У Ады узкое лицо с упрямым подбородком. Черные, горящие глаза. Прямой нос с маленькой горбинкой. Пухлый, чувственный рот. Черные волосы заплетены в косы и уложены вокруг головы.

Ада наблюдает за тем, как ее девятилетняя дочь Флора катается на пони под руководством своего дедушки мистера Макграта. Ада закрывает лицо руками. На тонком пальце поблескивает новое обручальное кольцо.

Внутренний монолог Ады. Я не могу говорить, как все люди. Кто знает, почему? Никто не знает, в том числе и я сама. Отец говорит, что у меня темный талант, и если я его лишусь, то перестану дышать и умру.

Дом Макгратов. По длинным темным коридорам, отталкиваясь руками от стен, носится Флора на роликовых коньках. Устав, она прямо с коньками на ногах падает на постель и засыпает. Ада ножницами осторожно разрезает шнурки на ботинках и, сняв их, ставит на пол. Они катятся под кровать, как маленькие паровозики.

Внутренний монолог Ады.

Сегодня отец выдал меня замуж за человека, которого я никогда не видела, потому что он живет в Новой Зеландии. Так что скоро я и моя дочь Флора отправимся к мужу. Конечно, отец написал, что я немая. Но муж ответил, что немота не пугает его. Вокруг столько болтают, и если один человек молчит, это даже приятно. В конце концов всех ждет немота, только другая. Как я сама отношусь к этому браку? Вокруг столько мужчин! Так что какая разница – тот или этот!

О чем-то раздумывая, Ада ходит по комнате, заставленной большими деревянными сундуками. Подходит к пианино. Оно тоже готово к отправке. На ящичке, в который упакован инструмент,



надпись – "Новая Зеландия". Ада садится за пианино и начинает играть страстную мелодию. Руки мечутся по клавишам, тонкое нервное лицо выдает тревожное душевное состояние.

Внутренний монолог Ады.

Благодаря моему пианино я не считаю себя немой. С его помощью можно выразить любое чувство. Как мне будет не хватать его во время поездки!

В дверях появляется пожилая женщина. Ада вопросительно смотрит на нее и резко обрывает игру.

Новая Зеландия. Разбушевавшийся океан накатывает на побережье огромные волны. Лодка с Адой и Флорой не может пристать к берегу. Моряки спрыгивают вверх, образуя некое подобие мостика, по которому Ада и Флора перебираются на берег. Лицо Ады искажено страхом. Флору тошнит.

Темнеет. Ада с любопытством рассматривает мыс, нависший над водой,

затем опускает глаза и видит, что стоит в воде. Бросается назад к своему пианино, которое несут несколько моряков.

Голоса. Ну и тяжесть... Да что там, перетасили и ладно... И зачем такая штука? Так, говорят, для удовольствия...

К Аде подходит пожилой моряк.

Моряк. Мы можем взять вас с собой.

На лице Ады, видящей, как мужчины мочатся прямо в воду, появляется брезгливое выражение. Она делает несколько жестов на языке глухонемых, гневно глядя на подошедшего моряка. Флора выступает вперед. У нее не по годам смышенное лицо. Она понимает, что для матери является связным с внешним миром, и относится к своей миссии очень серьезно. Когда Флора начинает говорить, ее глаза округляются, а губы складываются в трубочку.

Флора (внимательно следя за жестами матери). Она говорит, что будет ждать мужа здесь...

Моряк. Но, может быть, доедете с нами хотя бы до Нельсона? Как вы будете здесь одни?

Жесты Ады становятся более резкими, а выражение лица – негодующим. Наконец, она поворачивается к моряку спиной.

Флора. Она говорит, что вы, местные, ведете себя как дикари, и она лучше умрет, чем поедет с вами...

Моряк. Попрдержжи язык, маленькая мисси! Тебе нужно научиться говорить со старшими... Черт побери!

Флора прячется за мать, испуганно выглядывая из-за ее спины.

Моряки возвращаются в лодку.

По всему берегу в беспорядке разбросаны многочисленные сундуки. Океан по-прежнему накатывает свои волны, но ярость заметно ослабла. Ада сидит под зонтиком, прижавшись к ящику с пианино, пытаясь спрятаться от пронизывающего ветра. Флора безмятежно спит, положив голову на колени матери. Ада осторожно открывает ящик и прикасается к клавишам. Звук пианино, как и прежде, ясен и чист. Лицо Ады заметно смягчается.

Океан почти успокоился, но новое несчастье подстерегает путешественниц. Волна отлива увлекает за собой часть вещей.



Размахивая зонтиком, Ада бросается вдогонку и успевает схватить корзинку с испуганно кудахчущими курами. Ставит ее на ящик с пианино.

Ночь. Флора сидит в маленькой палатке, сделанной из нижней юбки, натянутой на металлический каркас кринолина. В руках – фонарик. Она уже успела выложить из камушков на песке несколько красивых узоров. В темноте пристанище путешественниц светится, как большой желтый фонарь. Наклонившись к дочери, Ада жестами рассказывает ей сказку.

Ада. А ветер сказал: “Помнишь, как мы играли?” Затем ветер взял ее за руку и увлек за собой. “Идем, идем со мной”, – просил он, но она отказалась.

Погруженная в собственные мысли, Флора почти не обращает на мать внимания.

Флора. Мама, я вот думаю, не стоит мне называть его “папой”. Я вообще никак не буду его называть и даже смотреть на него не буду...

Ада нежно гладит дочь по голове.

Лес. Через чашу, весело и оживленно переговариваясь, пробирается группа маори. Выглядят они очень живописно. На

одних нет ничего, кроме коротеньких юбочек. Другие дополнили их деталями европейского костюма – рубашками, жилетами, пиджаками, котелками и даже цилиндрами. Позади всех Стюарт, будущий муж Ады. Это мужчина средних лет приятной наружности, высокий, длинноногий. У него круглое лицо и выразительные голубые глаза. Несмотря на теплую влажную погоду, Стюарт облачен в сюртук, белую рубашку с высоким воротом, галстук и шерстяные брюки. На голове красуется цилиндр. Видно, что он взволнован предстоящей встречей. Достает из кармана зеркало, на обратной стороне которого портрет Ады. Внимательно разглядывает портрет. Затем переворачивает зеркалом к себе и тщательно причесывается. К Стюарту подходит Бейнс, невысокий коренастый мужчина с черными волнистыми волосами. Он – англичанин, однако почти не выделяется в толпе маори, и не только благодаря костюму, но и татуировке, которой покрыты лоб и крылья носа.

Бейнс. Нам остановиться?

Стюарт находится в каком-то оцепенении и никак не реагирует на вопросы. Не дождавшись ответа, Бейнс что-то приказывает маори на местном наречии.



На берегу. Группа спускается с холма к океану. Маори с любопытством разглядывают разбросанные вещи. Особенно большой интерес вызывает ящик, в который упаковано пианино.

Ада и Флора просыпаются от шума. Один из маори становится на колени и заглядывает в палатку. Ада тщательно приглаживает волосы себе и дочери, надевает шляпку, завязывает ленты и только после этого выбирается наружу.

Стюарт. Мисс Макграт, меня зовут Стюарт. Я пришел за вами. Распорядитесь по поводу багажа.

Стюарт с напряженным вниманием ждет ответа. В это время к Аде подбирается пожилая маори и, бесцеремонно взяв за подбородок, рассматривает ее.

Маори. Посмотрите, какие беленькие, точно ангелочки.

Ада поражена всем происходящим, но никак не реагирует на реплику Стюарта. Воспользовавшись ее оцепенением, маори ворует у нее косынку и начинает примерять на себя.

Стюарт (настойчиво). Вы меня слышите?

Не дождавшись ответа, Стюарт вместе со своими людьми направляется к багажу,

Ада и Флора следуют за ними.

Стюарт. А что в этом большом ящике? Флора, видя смятение матери, берет на себя функции посредника.

Флора. Это пианино моей матери.

Стюарт. Слишком большое. Его придется оставить здесь. А остальное заберем.

Маори ведут себя как дети. Пока мужчины ходят вслед за хозяином, рассматривая ящики, женщины, разобрав палатку, пытаются примерить кринолин Ады.

Стюарт не без удовольствия разглядывает приданое. К нему подходит Бейнс.

Стюарт. Что ты о ней думаешь?

Бейнс. По-моему, она очень устала. Такая длинная дорога.

Стюарт. А по-моему, она очень упрямая. Любит настоять на своем.

Стюарт отдает распоряжение, и маори разбирают багаж.

Ада вырывает листок из блокнота, который висит у нее на груди, пишет слово "пианино" и быстро подает записку Стюарту.

Стюарт. Нет, нет, сейчас мы не можем его забрать.

Флора. Его нельзя оставлять, его нужно



забрать.

Стюарт. Я бы тоже хотел, но ящик слишком тяжелый.

Ада снова вырывает листок, что-то пишет и не глядя передает Стюарту.

Стюарт (прочитав записку). Вы хотите оставить все остальное и забрать только пианино?

Ада энергично кивает головой.

Флора. Мы не можем оставить это пианино...

Стюарт. Дискуссия закончена. Я, конечно, рад, что вы добрались...

Флора (бесцеремонно прерывая Стюарта). Мама говорит, что мы не можем оставить пианино.

Стюарт. Нужен транспорт. Так его не донести.

Маори с интересом наблюдают за разговором. Один из них, став рядом со Стюартом, с важностью копирует все его жесты.

Маори. Старый становится. Яйца высыхают, становится чувствительным. Наверняка ей уступит.

Стюарт смотрит в побледневшее от напряжения лицо Ады.

Стюарт. Я предлагаю вам приготовиться.

Переход будет трудным, и одежда здесь очень пригодится.

Ада покорно присоединяется к группе.

Нагруженные вещами маори медленно поднимаются вверх по холму, издали похожему на веселый цветной ковер. Ада останавливается и бросает прощальный взгляд на пианино, одиноко стоящее посреди песчаного берега. Накатывающие волны все ближе и ближе подбираются к нему. В глазах Ады застыла печаль, словно она прощается с живым существом, которое уже не надеется увидеть опять.

Лес. Группа под водительством Бейнса пробирается через чащобу, буквально утопая в грязи. Уставшие Ада и Флора присаживаются на поваленное дерево. Их тотчас окружают женщины из племени маори. Одна из них незаметно сдергивает с Ады косынку и кокетливо примеряет на себя. Другая бесцеремонно разглядывает блокнот, висящий на груди Ады. Та сидит не шевелясь, не зная, как ей реагировать на происходящее.

Маори, нагруженные тяжелыми вещами, останавливаются. Обеспокоенный Стюарт подходит к Бейнсу. Тот что-то спрашивает у



аборигенов.

Маори. Есть еще одна тропа – обходная, а здесь нам не пройти.

Ливень сплошной стеной обрушивается на путников и на поселок, по направлению к которому они двигаются.

Дом тетушки Мораг. Идут приготовления к бракосочетанию Ады и Стюарта. Тетушка Мораг и Несси помогают Аде облачиться в подвенечный наряд. Его натягивают прямо поверх домашнего платья.

Тетушка Мораг. Если не будет никакого торжества, тогда, по крайней мере, нужно сделать фотографию.

Флора садится на кровать и капризно надувает губы.

Флора. Мой настоящий отец был великим немецким композитором.

Женщины с удивлением воззрились на девочку. Ада поднимает брови и делает предостерегающий жест рукой.

Флора. Правда... Почему вы так смотрите на меня? Ну что я такого сказала? Я не хочу фотографироваться...

Насупившись, Флора бросает куклу, которую до этого вертела в руках, и замыкается в себе.

Улица. Дождь. Ада в подвенечном платье выходит на улицу. Несси держит над ней зонтик, но это не спасает невесту от ливня. По скользким доскам Ада пробирается к ширме с нарисованным пейзажем, на фоне которого их должны фотографировать. Там ее поджидает Стюарт. Садится рядом, снимает цилиндр, привычным жестом зачесывает волосы.



Фотограф. Ничего страшного, потом просохнете...

Раздаются мощные раскаты грома. Ада испуганно вздрагивает.

Дом тетушки Мораг. Воспользовавшись отсутствием Ады, тетушка подсаживается к Флоре.

Тетушка Мораг. А когда твои родители поженились?

Флора, округлив глаза, с энтузиазмом начинает рассказывать.

Флора. Они очень любили друг друга и поженились в маленькой церквушке в горах... в Пиренеях...

Тетушка Мораг. Никогда там не была...

Флора. Это очень поэтичные горы. О них часто пишут стихи, слагают песни. А потом произошел ужасный случай.

Тетушка Мораг. Какой?

Флора. Однажды моя мать и отец пошли гулять в лес. Разразилась страшная гроза. (За стенами дома гремит гром и блещут молнии.) Мои родители спрятались под деревом. В этот момент большая молния

ударила прямо в моего отца, и он сгорел дотла. (Лицо тетушки Мораг вытягивается все больше и больше.) С тех пор моя мать не произнесла ни слова.

Тетушка Мораг. Милая моя! Боже мой! Ужасная история! Значит, твоя мама онемела от шока. Ужас, какой ужас! – повторяет она, потрясенная рассказом девочки.

Возвращается насквозь промокшая Ада. Срывает с себя мокрый подвенечный наряд и бросается к окну. Ливень по-прежнему льет стеной. Ада смотрит в окно не отрываясь, но видит не убогие дома поселка, а свое пианино, брошенное на залитом водой берегу. Волны лижут его ножки, грозя унести с собой. Молнии, как клубок змей, вьются над океаном.

Дом Стюарта. Он стоит на отшибе, у самого края леса. Ада и Флора сидят, прижавшись друг к другу, и общаются с помощью жестов. Появляется Стюарт. Несколько мгновений наблюдает за женой, потом проходит в комнату. Флора поворачивается к приемному отцу лицом.



Стюарт видит, что нарушил интимную атмосферу. От смущения он задевает сумку Ады и роняет ее.

Стюарт. Мне нужно отлучиться на несколько дней. Мои земли расположены в разных местах. Приходится много ездить. А вы пока используйте это время, чтобы устроиться здесь как следует. А когда я вернусь, начнем все сначала.

Стюарт вопросительно смотрит на Аду. Движением ресниц она дает понять, что согласна.

Стюарт облегченно вздыхает и ретируется. Флора обнимает мать за шею и нежно гладит ее по щеке. В ответ на ласку Ада трется щекой о руку дочери.

Лес. Ада с дочерью выходят из дома. Обе тепло одеты – тяжелые пальто и ботинки, толстые юбки, капоры. Осторожно идут по деревянному настилу. Когда он кончается, Ада беспомощно оглядывается, поднимает доску, бросает ее в трясину, а потом отчаянно ступает прямо в грязь.

Перед хижиной Бейнса. Ада стучит в дверь. Появляется Бейнс, хмуро смотрит на непрошенных гостей. Ада протягивает ему заранее приготовленную записку. Бейнс, повертев ее в руках, возвращает назад.

Бейнс. Я не умею читать.

Ада жестами объясняет дочери, что она должна сказать.

Флора (состроив умоляющую гримаску). Пожалуйста, помогите нам добраться туда, где мы оставили наше пианино.

Бейнс (все так же хмуро). Я не могу этого сделать. У меня нет времени. До свидания.

Сказав это, он бесцеремонно захлопывает дверь, даже не взглянув на умоляющее лицо Ады.

Ада и Флора бродят вокруг хижины. Лучи солнца пробиваются через гущу деревьев. Тихонько ржет привязанная лошадь.

Как две нахохлившиеся птички, Ада с дочерью сидят под большим деревом, не сводя глаз с дверей хижины. Появляется Бейнс. Он переоделся, выглядит принаряженным. Снимает с крюка седло, кладет его на спину лошади. Ада с надеждой смотрит на Бейнса.

Берег океана. Лучи солнца окрашивают облака в золотисто-желтый цвет. Ада бежит к своему брошенному на произвол судьбы пианино. Нежно прикасается к клавишам. Играя свою любимую мелодию, она вся светится счастьем. Бейнс безучастно бродит вокруг.

Тепло. Флора скинула теплую одежду. В белой юбочке, кофточке с короткими рукавчиками и панталончиках она похожа на маленькую балерину, когда с водорослями в руках делает различные пируэты на мягком океаническом песке. Утомившись, Флора подсаживается к матери, и они играют в четыре руки. Бейнс ходит вокруг. Чувствуется, что постепенно игра Ады завладевает его сердцем. Он останавливается, время от времени бросая взгляды на счастливое лицо пианистки.

Флора занялась выкладыванием узоров на песке. У нее получилось не то геральдический знак, не то райская птица, а может быть, морской дракон.

Опускаются сумерки. Ада бережно закрывает крышку пианино и направляется к холму. На мокром песке остается дорожка следов. Ее догоняет Флора. Они идут, нежно обняв друг друга за талию. На значительном расстоянии от них следует Бейнс, стараясь ступать по дорожке, протоптанной Адой.

Дом Стюарта. Флора поет шотландскую песню. Ада играет на кухонном столе, на котором вырезана клавиатура. Флора берет фальшивую ноту. Ада поправляет ее, жестом указывая на нужную клавишу.

Стюарт останавливается в дверях, с удивлением наблюдая за происходящим. Увидев мужа, Ада поднимается из-за стола и отходит к стене, прижав к себе дочь.

Стюарт. Ада...

Флора. Здравствуйте.

Ада приветливо кивает мужу. Стюарт бросается к столу, откидывает кружевную скатерть и щупает вырезанные на столешнице клавиши.

В доме тетушки Мораг собрались сливки общества. Здесь и Стюарт и Бейнс. Неспешно струится беседа. Двое молоденьких туземок занимаются шитьем.

Тетушка Мораг. Почему они перестали

приходить к нам? Мы часто поем. Ведь они любят музыку... А сейчас мы готовим драматическую постановку.

Несси выступает вперед и кокетливо демонстрирует костюм для будущего представления. Тетушка властно прикрикивает на нее.

Стюарт. Что это значит, когда человек начинает играть на обычном столе, как на пианино? Странное дело. Это ведь не пианино, а просто вырезанная на столе клавиатура. Никакого звука нет...

Тетушка Мораг. Звуча нет... А откуда ему взяться?

На лице тетушки, обрамленном черной кружевной накидкой, застыло недоумение.

Стюарт. Она, конечно, немая. Но ведь дочь поет именно то, что она как бы играет. И хотя нет никакого звука, девочка его слышит. Вот загадка...

Служанки, занятые шитьем, затягивают песню. Тетушка, недовольная тем, что они мешают разговору, шикает на них. Девушки испуганно замолкают. "Печенье", – резко бросает тетушка Мораг Несси, и та приносит гостям тарелку с десертом.

Не прерывая беседы, гости пьют чай из изящных, расписанных золотом чашек.

Тетушка Мораг. С девочкой что-то не то. Она много рассказывает о своем отце, и каждый раз по-новому. За ней нужен глаз да глаз. Иначе все плохо кончится.

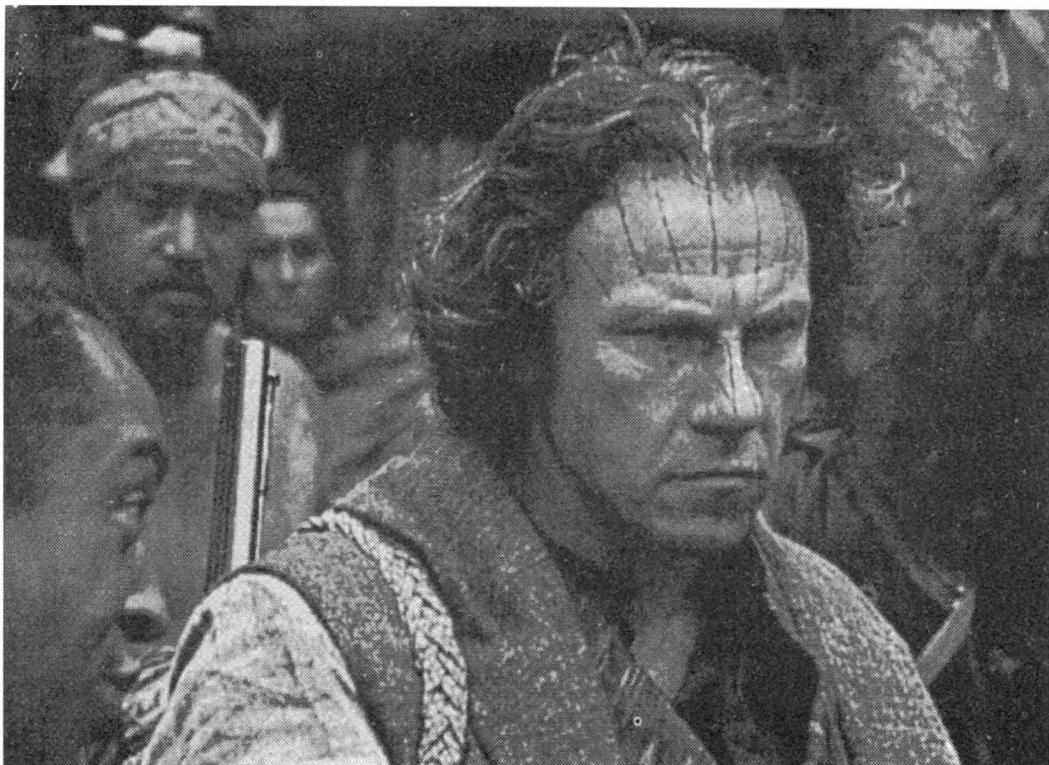
Тетушка нервно обмахивается веером. Стюарт сосредоточенно рассматривает чашечку с чаем. В углу комнаты, стараясь быть как можно незаметнее, сидит Бейнс с чашкой чая в руке, и хотя сам не участвует в разговоре, старается не пропустить ни слова.

Стюарт. Ваши опасения напрасны. Я бы так не беспокоился. Да и о чем беспокоиться!

Веер в руке тетушки трепещет, как крылья бабочки. Бейнс продолжает внимательно слушать.

Тетушка Мораг. Пока, может быть, и не о чем...

Стюарт. Хотя, если быть до конца честным, меня нервирует ее молчание. Ведь с дочерью она общается. Может быть, со временем все наладится. Нужно время, чтобы ко всему привыкнуть...



Тетушка Мораг (многозначительно поджав губу). Дорогой мой, со временем может произойти все что угодно, а пока она молчит.

Перед домом Стюарта. Он колет на дрова огромное бревно. Флора в белом передничке и белом чепчике весело бегаёт вокруг, укладывая дрова в поленницу и напевая песенку. К ним подходит Бейнс.

Бейнс. Ты слышал, что маори скоро будут продавать свои земли у реки?

Стюарт. У меня пока денег нет.

Бейнс. Я бы мог тебе помочь.

Стюарт прерывает работу и с удивлением смотрит на Бейнса. Тот немного смущен.

Стюарт. Как это?

Бейнс. Я дам тебе денег за пианино...

Стюарт. То, которое на берегу? (Стюарт заинтересованно смотрит на Бейнса и втыкает топор в землю.) Но ведь оно ее, да и много за него не получишь... Бейнс – любитель музыки! Вот бы никогда не подумал. Ты бы уж лучше танцевал, – замечает он иронически.

Бейнс смущен.

Бейнс. Мне бы хотелось научиться играть на этой штуке, а за уроки я буду ей платить.

В глазах Стюарта загораются алчные огоньки.

Стюарт. Но ведь много ты не дашь... пятьсот, шестьсот?

По лицу Бейнса видно, что он согласен на любую сумму.

Дом Стюартов. Все трое сидят за столом. Флора жестами докладывает Аде об услышанном разговоре. Ада вскакивает из-за стола и начинает быстро ходить по комнате. Жестами что-то объясняет дочери.

Флора (повернув к Стюарту рассерженное личико). Она очень разозлилась. Это ее пианино, и она не желает его продавать.

Стюарт. Но Бейнс хочет купить этот инструмент. Он просит давать ему уроки. Научи его, как ухаживать за пианино.

Ада топаёт ногами, хватается со стола чашку и швыряет об пол. Срывает с веревки белье и бросает на пол. Быстро пишет в



блокноте несколько слов и подает листок дочери, та передает его Стюарту.

Стюарт (читая записку). "Пианино мое. Оно принадлежит мне".

Взбешенный Стюарт ударяет кулаком по столу и опрокидывает чашку.

Стюарт. Так больше не может продолжаться. Мы одна семья. Каждый должен чем-то жертвовать. В том числе и ты, Ада. Ты будешь учить Бейнса. Это говорю я, твой муж.

Пораженная этой вспышкой, Ада опускается на стул, и ее удивленный взгляд так и застывает на двери, за которой скрылся Стюарт.

Лес. Маори тащат ящик с пианино. Неожиданно оно вырывается из рук и с громким стоном падает на землю. Испуганные аборигены бросаются врассыпную.

Хижина Бейнса. Приглашенный им слепой настройщик с любовью исследует инструмент. Его пальцы нежно ласкают клавиши и полированную поверхность. Ухо

чутко прислушивается к звукам.

Настройщик. Прекрасный инструмент. Я не много таких встречал. С ним нужно обращаться очень бережно. Запахи, ароматы! Оно, конечно, немного отсырело. Но ничего, ничего, приведем в порядок.

Бейнс, попивая чай, с любопытством наблюдает за настройщиком.

Лес. Ада и Флора сидят под деревом, неподалеку от хижины Бейнса. Флора дремлет. Ада погружена в печальные раздумья. В ее огромных черных глазах слезы.

Начинается дождь. Ада будит дочь, и они бредут к хижине Бейнса.

Перед хижинной Бейнса. Флора стучит в дверь. Ада стоит в некотором отдалении, понуриив голову.

Флора (обращаясь к Бейнсу). Мама говорит, что не может учить вас на расстроенном пианино... (Флора проскальзывает мимо Бейнса и касается клавиш.) Надеюсь, вы ничего тут не трогали!

О! Так ведь оно настроено. Мама, мама, пианино в порядке!

Ада, услышав звуки, быстро проходит в хижину и садится прямо к инструменту, даже не взглянув на Бейнса. Играет гаммы и упражнения для начинающих.

Бейнс (с ободряющей улыбкой). Красиво.

Ада играет, не делая пауз и демонстрируя Бейнсу возможности своей техники.

Дом Стюарта. Ада и Флора лежат в постели. Флора ласкается к матери, гладит ее по лицу, притрагивается к носу, губам.

Флора. Расскажи мне о моем отце...

Ада (жестами). Но ведь я рассказывала эту историю много, много раз. Он был учителем.

Флора. А как вы разговаривали?

Ада. В этом не было никакой необходимости. Я вкладывала ему мысли в голову.

Флора. А почему вы расстались?

Ада (жестами). Он испугался и перестал меня слушать.

Ада вскидывает руки и глубоко вздыхает. В этот момент она похожа на актрису театра Кабуки.

В дверях появляется Стюарт. Он добродушно улыбается.

Стюарт. Можно поцеловать вас на ночь?

Ада смотрит на мужа холодным, отчужденным взглядом. Флора делает вид, что спит. Улыбка сползает с лица Стюарта, и он понуро выходит из комнаты. Едва дверь за ним закрывается, мать и дочь принимают друг к другу и засыпают.

Перед хижинкой Бейнса. Флора пытается выгнать из-под крыльца Флинна, собаку Бейнса.

Флора. Эй ты, собака, выходи! Терпеть тебя не могу!

Ранит собаку острой палкой.

Хижина Бейнса. Ада играет на пианино. Бейнс задумчиво ходит вокруг. В отличие от импозантного Стюарта, Бейнс совсем некрасив, невысок ростом, да и татуировка, которой покрыты лоб и ноздри, не украшает его. Но он умен, добр и, хотя живет в лесу, по большей части общается с аборигенами,

обладает чувствительной душой.

Взгляд Бейнса падает на белую шею Ады, склонившейся над клавиатурой. Не в силах совладать с собой, он наклоняется и целует ее. От неожиданности Ада вскрикивает, вскакивает из-за пианино и бросается к выходу.

Бейнс. Ада, подожди! Я сейчас придумал, как ты можешь получить назад свое пианино. Ведь ты хочешь вернуть его? (Ада напряженно следит за губами Бейнса и едва заметно кивает.) Понимаешь, давай договоримся. Ты будешь пользоваться инструментом, а я в это время буду что-то делать с тобой. Одно посещение – одна клавиша. И в конце концов пианино станет твоим.

В этот момент лучи солнца заполняют комнату, высвечивая фигуру Ады. Она прекрасно поняла суть предложения. Показывает на кофточку – поднимает вверх один палец, показывает на юбку – прикасается к нескольким клавишам.

Бейнс с облегчением вздыхает.

Бейнс. Ладно, ладно, договоримся...

Ада возвращается к пианино. Когда она садится, широкая юбка кринолина подчеркивает гибкость ее талии, изящные пропорции фигуры. Бейнс не в силах оторвать взгляд от этой прелестной женщины.

Перед хижинкой Бейнса. Флора обнимает раненую собаку.

Флора. Малыш, тебе, наверное, больно? Ну прости, прости. Эта палка такая острая. Но больше она не будет тебя бить, и все заживет.

В доме тетушки Мораг полным ходом идет подготовка к праздничному представлению. Стюарт мастерит звезду. Учитель воскресной школы, пухлый мужчина с челочкой, хлопчет вокруг лампы, готовя сцену теневого театра, в котором будет представлена ужасная жизнь герцога Синяя Борода. К спине учителя прилажены ангельские крылышки. Он предлагает Несси прорепетировать сцену, в которой герцог-душегуб отрубает руку одной из своих жен. Несси отнекивается. Но когда на эту роль приглашают туземку Мере, Несси

соглашается и поспешно протягивает руку. Учитель ударяет по ней бутафорским топориком. Несси испуганно вскрикивает. Раздается дружный смех. Все смотрят на стену, куда проецируется изображение – топор рубит трепещущую женскую руку. **Учитель** (проводя пальцем по лезвию). Будет очень хороший эффект, особенно если удастся изобразить кровь.

Перед хижиной Бейнса. Прихрамывая, Флинн, собака Бейнса, бредет по лесу. За ним ползет Флора.

Флора. Флинн, Флинн, лежать!

Ада подходит к дверям хижины, снимает шляпку, тщательно приглаживает волосы и входит внутрь. Флора поднимается с земли и бросается вслед за матерью. Колотит в дверь хижины. Появляется Бейнс.

Флора. Я хочу поговорить с мамой.

Выходит Ада.

Флора. Мне надоело торчать снаружи. Я хочу в дом.

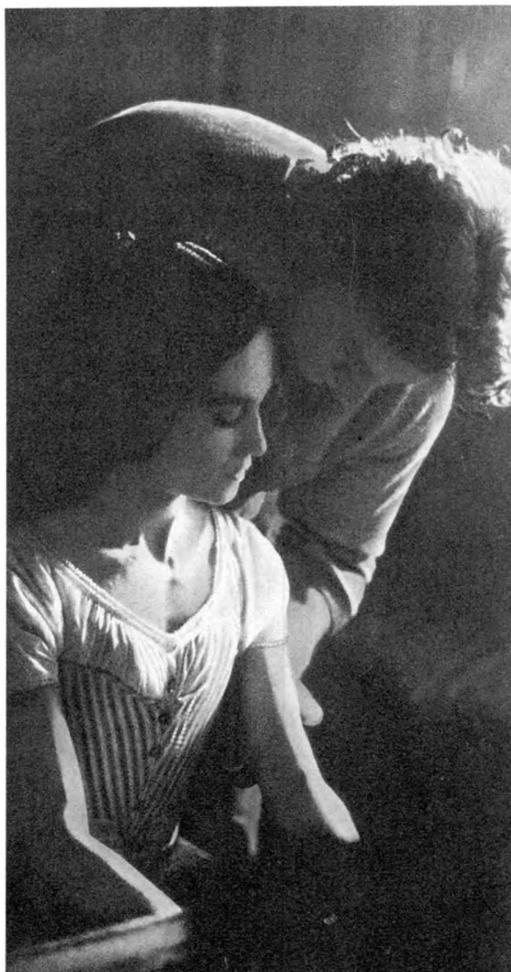
Ада (жестами). Нет, ты должна находиться здесь. Он очень застенчивый человек и только начинает учиться.

Ада берет дочь за плечи и отводит от двери. Топнув ногой, Флора обиженно отходит, потом садится на скамейку и начинает слушать музыку, несущуюся из хижины.

Хижина Бейнса. Пальцы Ады бегают по клавиатуре. Глаза закрыты. Тело едва заметно покачивается в такт музыке.

Бейнс сидит поодаль в своем кресле, целиком захваченный стихией музыки. Потом поднимается и, сложив руки на груди, медленно ходит вокруг пианино. Ада, очнувшись от музыкальных грез, уголком глаза тревожно наблюдает за Бейнсом. Тот подходит к роялю и, облокотившись, смотрит на вдохновенное лицо пианистки. Ада скромно опускает глаза.

Несколько дней спустя. Бейнс лежит на постели. На лице застыло тоскливое выражение. Откидывает полог, чтобы увидеть стул, на котором обычно сидит Ада. Но он пуст. Бейнс стягивает с себя рубашку и начинает старательно протирать крышку инструмента. Лучи солнца, проникающие



через маленькое окошко, золотят волоски на его обнаженном теле. Бейнс нежно гладит пианино, словно это живое существо.

Лес. Тетушка Мораг и Несси в сопровождении служанки Мере пробираются по деревянному настилу к дому Стюарта, который стоит у самого края леса.

Тетушка Мораг. Осторожнее, осторожнее.

Перед домом Стюарта. Он рубит во дворе дрова. Завидев тетушку с сопровождающими, радостно приветствует их.

Тетушка Мораг. Хочу дать тебе билеты на представление. Эти – на раннее, а эти – на более позднее.

Во дворе появляются Ада и Флора. Стюарт, забыв о гостях, нежно окликает

жену, та оборачивается к нему с милой улыбкой. Лицо Флоры, напротив, насуплено.

Стюарт. Как идут уроки? У него все в порядке? Получается?

Ада едва заметно кивает головой.

Тетушка Мораг с неодобрением наблюдает за общением супругов.

Тетушка Мораг. Что-то она все молчит и молчит? По-моему, твои слова на нее никак не действуют.

Ласковое выражение сбегает с лица Стюарта. Он тяжело вздыхает.

Стюарт. Тут надо действовать постепенно.

Ада и Флора поворачиваются и продолжают путь, все дальше углубляясь в лес. Флора заботливо придерживает юбку матери, чтобы та не испачкалась в грязи.

Хижина Бейнса. Ада подходит к пианино, берет первый аккорд. Бейнс, сидящий рядом в кресле, останавливает ее.

Бейнс. Подними юбку!

Ада делает вид, что не слышит, и продолжает играть. Но Бейнс не отступает. Ада чуть-чуть поддергивает юбку.

Бейнс опускается на колени, забирается под пианино и ложится на пол. Его голова почти касается педали, на которую давит нога Ады.

Бейнс. Подними выше юбку!

Ада заглядывает под пианино и встречается взглядом с Бейнсом. Понимая, что тот не отступит, она тяжело вздыхает и поднимает обе юбки. Взору Бейнса предстает конструкция кринолина и красные подвязки на черных чулках.

Ада закрывает глаза и продолжает играть.

Бейнс замечает маленькую дырочку на черном чулке, сквозь которую просвечивает тело, и прикасается к ней. Ада вздрагивает, но не прекращает музицировать.

Река. В заводи Бейнс стирает белье. Вокруг него расположились маори. Некоторые из них возлежат на склоненных стволах деревьев, образуя живописные группы, вроде тех, что так любил писать Поль Гоген. Детишки плещутся в воде, держась за пирогу. Аборигены настроены на игривый лад.

Женщина-маори. Тебе нужна жена. Нельзя жить одному.

Парень. То, что у тебя между ног, будет до конца жизни в плохом настроении.

Бейнс (смущенно). У меня есть жена.

Женщина-маори (обращаясь к молодежи). У вас яйца думают, а не голова. (К Бейнсу.) Расскажи нам о своей жене.

Бейнс. Есть у меня жена. Она в Англии.

Женщина-маори. Она, наверное, плохая, если ты не хочешь с ней повидаться. Тебе нужна другая женщина. Такое сокровище, как у тебя, не должно лежать ночью на животе.

Хижина Бейнса. Он сидит в кресле рядом с пианино, не отрывая взгляда от Ады.

Бейнс. Сними платье. Я хочу увидеть твои руки.

Ада очень внимательно смотрит на Бейнса и понимающе кивает головой, ее губы трогает горькая усмешка. Она снимает верхнюю часть своего черного платья и остается в корсете. Аккуратно вешает одежду на стул. Бейнс тоже снимает свою куртку.

Ада садится за пианино спиной к Бейнсу. Глубокий вырез на корсете обнажает ее по-детски хрупкую спину. Бейнс нежно прикасается к руке Ады, та мгновенно отдергивает ее.

Бейнс. Ты получишь две клавиши.

Ада продолжает играть. Натруженная рука Бейнса нежно ласкает спину, подбирается к ее белой шее. Внешне Ада остается совсем бесчувственной, но мелодия, которую она исполняет, говорит, что в ее душе смятение.

Церковь. Репетиция праздничного представления.

Тетушка Мораг и Несси наряжают Флору в костюм ангелочка. Она показывает им некоторые жесты на языке глухонемых. Несси с готовностью их повторяет.

Тетушка Мораг. Надо же, чтоб у человека была такая судьба!

Несси. Причем до самой смерти.

Тетушка Мораг. Да, до самой смерти! Ужас, ужас!

Однако Флора не согласна с собеседницами.

Флора. Да нет! Если сказать по правде, то мама считает, что многие люди говорят отвратительные вещи. Им бы лучше помолчать.

Тетушка Мораг. Какое странное мнение!

Флора (бесцеремонно перебивая своих собеседниц). А я с ней согласна!

Лес. Бейнс и Стюарт стоят перед вождем маори Нихе. Стюарт в новом костюме и шляпе выглядит очень rispetабельно. Бейнс исполняет роль переводчика.

Вождь Нихе. У реки – пещеры. Там похоронены наши предки. Они лежат в нашей земле.

Стюарт. Что он говорит?

Вождь Нихе. И вы хотите, чтобы мы продали кости наших предков? Никогда ни за какую цену не продадим.

Стюарт (показывая цену на пальцах). Двенадцать, двенадцать...

Молодой абориген выходит из-за спины вождя и смачно сплевывает в сторону Стюарта.

Бейнс (шепотом). Цену набивает. Покажи им ружья.

Стюарт сдергивает одеяла, в которые упакованы ружья, и глазам туземцев предстает целый арсенал, но и это не может переубедить упрямого вождя.

Нагруженные так и не пригодившимися ружьями, Бейнс и Стюарт поднимаются в гору.

Стюарт. И зачем им эта земля? Так и будут на нее молиться... Все равно ничего за нее не получат. Они ведь даже не понимают, что значит их земля. Бейнс, ты же обещал мне помочь получить ее.

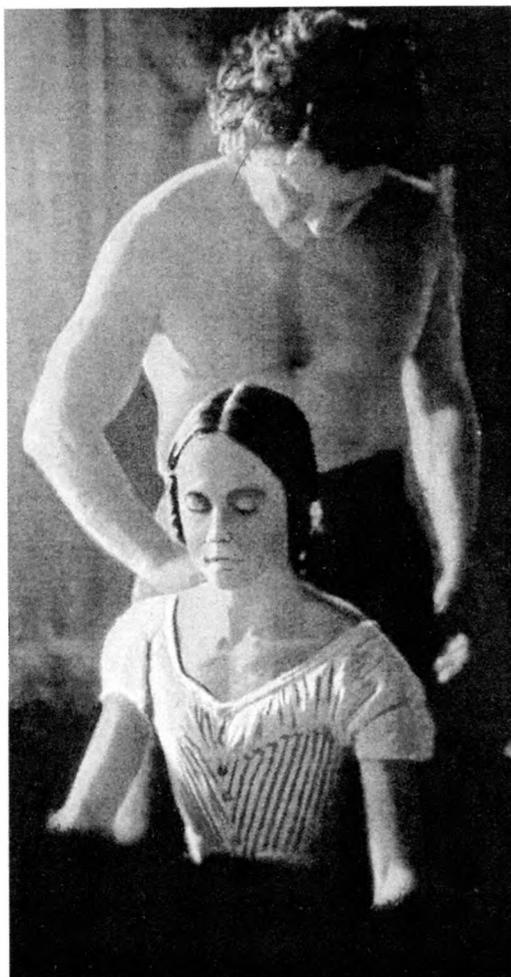
Бейнс. Я же старался...

Стюарт неожиданно останавливается и резко меняет тему разговора.

Стюарт. Ада говорит, что у тебя неплохие успехи на пианино. Хотелось бы послушать.

Бейнс смущен и старается поскорее замять разговор. Стюарт смотрит на него с нескрываемым удивлением.

Хижина Бейнса. Ада за пианино. Бейнс сидит неподалеку в кресле, держа в руках ее кофточку. Ада играет мелодию, которую сочинила сама. Она исполняет эту тонкую,



трепетную музыку всякий раз, когда хочет сказать миру об охватившем ее смятении.

Бейнс слушает с закрытыми глазами, покачиваясь в такт музыке. Прижимает к лицу кофточку Ады, вдыхает ее аромат. Ада оборачивается и протягивает руку за кофточкой, а потом резко вырывает ее из рук Бейнса и начинает одеваться. Ее взгляд выражает презрение и гнев. Очнувшись от грез, Бейнс вскакивает с кресла, хватая Аду за хрупкие плечи, сдергивает корсаж и пытается поцеловать. Тянет ее к кровати. Ада цепляется за стены.

Бейнс. Ада, четыре клавиши! (Ада показывает пять пальцев.) Но почему? Я ведь просто хочу полежать рядом с тобой и больше ничего. Ну ладно, хорошо. Пять так пять.

Ада поправляет корсаж, стягивая его на



грудь. Бейнс ложится на постель. Его возбуждение ослабло, и он смотрит на Аду с мягкой, примирительной улыбкой. Хлопает ладонью по постели, приглашая лечь. Ада тяжело вздыхает и ложится, отвернув лицо. Бейнс опускает плечики корсажа, нежно прикасается губами к шее Ады, целует ее в ухо, внимательно прислушивается, надеясь уловить хоть малейший отклик на свои чувства. Но Ада лежит неподвижно. Пытаясь привлечь ее внимание, Бейнс стучит по краю кровати. Ада вскакивает, подходит к пианино, прикасается рукой к клавишам, надеясь продолжить музицирование. Бейнс решительно закрывает крышку пианино. Ада надевает кофточку и, едва сдерживая слезы, поспешно покидает хижину.

Дом Стюарта. Флора поет шотландскую песенку, в то время как мать заплетает ей косу. Через окно видно, как Стюарт запрягает лошадь, чтобы ехать в поселок на представление. Время от времени он поглядывает на жену и дочь.

Перед церковью. Звонит колокол. Со всех сторон собираются люди. Кто-то приезжает в повозке, кто-то идет пешком,

но и тем и другим приходится преодолевать непролазную грязь. Мужчины поднимают на руки девочек, одетых в белые костюмы, и передают друг другу, чтобы они не испачкали своих нарядных платьев.

Церковь. Идут последние приготовления к спектаклю. Девочек гримируют перед выходом на сцену. В зрительном зале полным-полно зрителей. Часть зала заняли аборигены. Подносят дополнительные стулья.

Появляется Бейнс. По случаю праздника он одет в новый жилет и брюки. К нему подбегает парочка местных щеголей-насмешников.

Щеголь. Вы посмотрите, кто пришел. Наш музыкальный мистер Бейнс собственной персоной. Может быть, сыграешь нам что-нибудь, трень-брень, а, Джордж?

Тетушка Мораг берет Бейнса за руку и увлекает за собой, спасая от насмешек.

Тетушка Мораг. Очень хорошо, что ты перевез пианино к себе. Бог знает, что могло с ним случиться там, у океана, – говорит она со значением.

Бейнс замечает Аду, идущую в сопровождении Стюарта. На ней роскошное атласное платье бордового цвета с открытыми плечами, эффектно подчеркивающее ее красоту. Ада оживлена, с интересом оглядывается вокруг. Бейнс устраивается неподалеку от нее. Щеголи не оставляют его в покое.

Щеголь. Джордж, сыграй нам польку. А мы потанцуем.

Стюарт морщится от досады и приглашает Бейнса сесть ближе. Но Ада быстро кладет руку на свободный стул рядом с собой, давая понять, что он занят, и одновременно бросает на Бейнса страстный, вызывающий взгляд.

Начинается представление. На сцене появляются девочки, изображающие ангелочков. Бейнс замечает, как улыбающийся Стюарт берет жену за руку. На лице Ады появляется неопределенная улыбка, она краем глаза поглядывает на Бейнса. Тот срывается с места и уходит из зала.

Ада удовлетворенно улыбается, увидев

бегство Бейнса.

Исполнив свою сцену, дети откланялись и спустились в зал к своим родителям. Флора заняла место рядом с матерью.

Началась вторая часть представления, рассказывающая о злодействах герцога Синяя Борода. На сцене появилась Несси в роли молодой супруги.

Рассказчик. Она взяла свечи и пошла в подвал, и тут она увидела весь этот кошмар – бедняжек, истекающих кровью.

Декорация представляет подвал, на стенах которого висят головы убитых женщин. Несси входит за прозрачный занавес, где ее поджидает герцог.

Герцог. Я здесь... А где моя женушка?

Несси (в ужасе). Муж мой, какой сюрприз!

Герцог. Ты узнала мою тайну. Ты самая молодая, самая сладкая из всех моих жен! Приготовься умереть!

Герцог заносит над Несси свой топор. Та трепещет от страха, падает на колени, умоляя пощадить ее.

Флора в испуге прижимается к матери.

В рядах аборигенов нарастает смятение. Двое из них о чем-то возбужденно переговариваются. И в тот момент, когда герцог заносит над Несси топор, молодой маори вскакивает со своего места, взбирается на сцену и набрасывается на герцога с пикой.

Молодой маори. Сейчас ты у меня узнаешь, что почем... Вот воткну тебе в задницу эту штуку. Что придумал!

Маори полосует декорации. Несси визжит. В зале начинается паника. Порядок удается восстановить, хотя и с трудом. Постепенно публика начинает расходиться.

Тетушка Мораг представляет некоему ответственному лицу, прибывшему из города, актрис, занятых в представлении. "Убитые" жены Синей Бороды, выстроившись в ряд, кокетливо улыбаются.

Тетушка Мораг. Эта мисс Рид, мисс Пальмер, мисс Мур... Очень, очень мило с вашей стороны навестить нас!

Хижина Бейнса. Ада садится за пианино. Берет первый аккорд. Кашлянув, оборачивается, вопросительно смотрит на Бейнса. Под грузом тягостных раздумий тот сидит, опустив голову.

Бейнс (поднимая голову). Делай, что хочешь, играй, что хочешь...

Ада начинает играть патетическую и бравурную музыку. Оборачивается к Бейнсу. Но кресло, в котором он обычно сидит, пусто. Ада поднимается и осторожно идет по комнате, поглядывая по сторонам. Приближается к кровати, заглядывает за полог и вдруг, испуганно вскрикнув, отшатывается. Полог раздвигается, и взору ее предстает обнаженный Бейнс.

Бейнс. Я хочу, чтобы мы легли вместе без одежды. (Ада смотрит в пол, покусывая пальцы.) Сколько это будет стоить?

Ада тотчас вскидывает обе руки и показывает десять пальцев.

Бейнс (с горькой усмешкой). Да, десять клавиш...



Бейнс откидывает полог, садится на кровать и с поникшей головой ждет, когда к нему подойдет Ада.

Перед хижинкой Бейнса. Флора играет сама с собой, напевая песенку. Внимательно прислушивается. Тишина. Из хижины не раздается ни единого звука.

Хижина Бейнса. Ада стоит посреди комнаты и медленно снимает с себя многочисленные юбки, наконец добирается до кринолина, отбрасывает его от себя. Тщательно разглаживает простыню, садится на нее, придает лицу чопорное выражение и даже успевает по привычке пригладить волосы. Подходит Бейнс, обнимает Аду за ноги, пытается привлечь к себе. Она покорно ложится рядом.

Перед хижинкой Бейнса. Флора припадает к замочной скважине. Раздается звук поцелуев. Сильная мужская рука берет тонкую женскую руку и кладет себе на талию.

Флора устраивается поудобнее и не отрываясь наблюдает за происходящим в хижине.

Лес. Флора играет с туземными ребятишками. Поодаль сидят три матроны из племени маори и ведут неспешную беседу, изредка поглядывая на детей.

Детская игра не лишена налета эротизма. Флора со значением прижимается к дереву, целует его вытянутыми губами. Некоторые из маленьких маори, томно закрыв глаза и издавая сладострастные звуки, трутся о деревья своими телами.

Стюарт, наблюдающий за детьми, не выдерживает, подбегает и, схватив Флору за руку, тянет за собой.

Стюарт. Никогда больше не играй в эти грязные игры. Ты не должна быть такой, как они. Даже не приближайся к этим бесстыжим.

Три матроны, цокая языками, осуждающе наблюдают за происходящим.

Лес. Плантация Стюарта. Флора, одетая в фартучек, с ведром воды подходит к деревьям и мочалкой моет те места, где будут сделаны надрезы для сбора каучукового сока.

Флора. А я знаю, что мистер Бейнс не играет на пианино.

Стюарт (с удивлением оборачиваясь на девочку). Ты пропустила одно дерево.

Флора возвращается назад, не переставая болтать.

Флора. Она не дает ему уроки. Она просто играет, что ему нравится, а иногда ничего не играет.

Стюарт. Когда следующий урок?

Флора (тяжело вздохнув). Завтра.

Лес. Ада и Флора идут по знакомой дороге к хижине Бейнса. Подобрав юбки, Ада почти бежит вверх по холму и вдруг останавливается как вкопанная. Несколько маори несут ее пианино. Один озорно колотит по клавишам, другие горланят песню.

Хижина Бейнса. Ада вбегает внутрь и, даже не сняв шляпку, начинает взволнованно ходить туда-сюда, что-то объясняя жестами. Она движется так стремительно, что Флора не успевает переводить за ней.

Бейнс поднимается от очага, возле которого он сидит с женщиной из племени маори.

Бейнс. Я возвращаю тебе твоё пианино. Все! Достаточно! (Ада оттягивает ленточку шляпы, завязанной под подбородком, словно та душит ее.) Наша договоренность делает из тебя шлюху, а из меня – одержимого. Я хотел пробудить в тебе чувства, но ты неспособна на это.

Ада гневно вскидывает голову. Бейнс возвращается к очагу, где сидит женщина-маори. Ада смотрит на любовника пылающим от гнева взглядом.

Бейнс. А теперь уходи! Я сказал – уходи!

Ада поворачивается и стремительно исчезает из хижины. Бейнс провожает ее взглядом, исполненным глубокой тоски.

Лес. Ада догоняет маори, несущих ее пианино. Замечает Стюарта, бегущего навстречу.

Стюарт. А почему здесь пианино?

Флора. Он вернул его нам...

Стюарт пытается остановить аборигенов, но у него не получается.

Стюарт. Нет. Здесь что-то не то. Мне



это совсем не нравится, – бормочет он обеспокоенно.

Оставив женщин в чаще леса, бросается к хижине Бейнса.

Перед хижинкой Бейнса. Вокруг расположились маори. Они не позволяют Стюарту войти. Тогда он обегает хижину, находит окошко и, отбросив занавеску, окликает Бейнса.

Тот с трудом приподнимается на постели. Он выглядит совсем больным.

На лице Стюарта застыло беспокойство.

Стюарт. Не знаю, что тебе наболтали, но ведь она хорошо играет на пианино и может тебя научить.

Бейнс (отбрасывая с лица черные кудри). Я бо-льше не хочу учиться.

Стюарт (со все возрастающей тревогой). Но я не могу вернуть тебе деньги.

Бейнс. Не надо платить. Я возвращаю пианино безо всяких условий. Просто так.

Стюарт. Но я совсем не уверен, что хочу получить его назад.

Бейнс. Я возвращаю его не тебе, а твоей жене.

Стюарт. А-а, понимаю! (Заметно успокоившись.) Ладно! Надеюсь, она это оценит.

Едва Стюарт отходит от окна, как попадает в толпу рассерженных маори. Они бросают в него пуговицами.

Маори. Забери свои пуговицы... Можешь засунуть их себе в задницу... Негодяй... Мы не дети. Нас не обманешь.

Стюарт. Но почему? Ведь все по-

честному, – говорит он, прижав к себе большую банку с пуговицами.

Один из молодых маори выскакивает из толпы, выхватывает из рук Стюарта банку и бросается наутек. Отбежав на приличное расстояние, он выкрикивает какие-то насмешки в адрес незадачливого плантатора.

Дом Стюарта. Ада берет аккорды, проверяя настройку инструмента. Флора тщательно протирает полированную поверхность. В проеме двери появляется Стюарт. Ада продолжает брать аккорды, не обращая на мужа никакого внимания.

Стюарт (обращаясь к Флоре). Может быть, сыграешь что-нибудь?

Флора (послушно садясь за инструмент). А что сыграть?

Стюарт. Какую-нибудь песенку...

Флора (капризно надув губы). Да не знаю я никаких легких песенок.

Стюарт. Тогда играй, что умеешь...

Флора затягивает старинную шотландскую песню, которую незадолго перед этим разучивала с матерью. Ада, сложив руки на груди, кружит вокруг пианино, даже не удостоив мужа взглядом. Потом открывает дверь и выходит на воздух. Стюарт напряженно следит за женой.

Стюарт. Ничего не понимаю, в чем тут дело... Теперь эта штука у нас в доме, а она не играет. (К Флоре.) Играй хоть ты...

Флора вновь затягивает шотландскую песню. Стюарт, облокотившись на пианино, отбивает такт.

Перед домом Стюарта. Ада, сцепив руки за спиной, не отрываясь смотрит на дорогу, которая ведет к хижине Бейнса. Поднимается ветер. Папоротники в лесу приходят в движение, издавая странный шелестящий звук.

В доме Стюарта. Ада обедает. Положив в рот кусочек, безо всякого аппетита пережевывает его. Вертит вилкой, словно пишет в воздухе какое-то послание. Потом подходит к роялю, касается клавиш тем самым движением, каким Бейнс ласкал ее шею. Начинает играть все ту же романтическую мелодию, которую сочинила сама. Взгляд падает на дверь. Ада прерывает

игру, подносит пальцы к губам, некоторое время сидит неподвижно. И вдруг, сорвавшись с места, бежит вверх по холму, подобрав юбки. Флора виснет на матери, пытаясь остановить. Ада резко отталкивает дочь от себя.

Ада (жестами). Иди назад и не смей бежать за мной. (Флора не отступает.) Иди и делай уроки.

Девочка уже не владеет собой. Темная волна ярости накрыла ее.

Флора. Я все видела! Уроки! Как же! Черт, черт побери вас всех! Прогонять меня! Я знаю, как отомстить ему! Воткну в нос железку!

Стюарт, идущий по лесу в сопровождении аборигена, пытается перехватить девочку.

Стюарт. А где твоя мать? Куда она пошла?

Флора корчит зверскую гримасу и, ничего не ответив, убегает в лес.

Хижина Бейнса. Тот пластом лежит на кровати. Заслышав скрип двери, поднимается навстречу Аде.

Бейнс. Что тебя привело сюда? Ты что-то забыла? Я ничего не находил...

Ада молчит, уставясь в пол. Бейнс заправляет рубаху в брюки.

Бейнс. Твой муж что-нибудь узнал? (Ада отрицательно мотает головой.) Пианино не повредили?.. Хочешь сесть? А я сяду.

Ада наблюдает за тем, как Бейнс устраивается в кресле, в котором часто слушал ее игру. Необыкновенная грусть исходит от всей его поникшей фигуры.

Бейнс. Я несчастлив, потому что хотел тебя всем своим существом, но ничего не получилось. Теперь я болен, не могу есть, спать. И зачем ты пришла сюда? Ведь у тебя нет ко мне никаких чувств.

Бейнс смущенно улыбается, на глазах превращаясь в застенчивого юношу. Делает над собой усилие, стараясь казаться сильным.

Бейнс. Ты должна уйти. Иди... уходи!

Ада выслушивает монолог, внешне оставаясь абсолютно холодной. Это выводит Бейнса из себя. Резким движением он открывает дверь.

Бейнс. Убирайся, – говорит он раздельно, по слогам.

Ада глотает слезы, но остается стоять на месте. Потом подходит к Бейнсу, отвешивает ему пощечину и начинает колотить изо всех сил своими маленькими кулачками. Оседает на пол. Все ее хрупкое тело содрогается от рыдания. Бейнс опускается рядом. Ада бросается к нему, покрывает поцелуями лицо и шею. Обливаясь слезами, прижимает его к себе.

Перед хижиной Бейнса. Мимо проходит Стюарт, нагруженный кольями для ограждения плантации. Страстные стоны и поцелуи, доносящиеся из хижины, останавливают его. Он припадает к щели.

Хижина Бейнса. Ада уже сняла все свои юбки. Бейнс страстно ласкает ее бедра.

Перед хижиной Бейнса. Стюарт потрясен увиденным. Прислонившись к стене, он жадно ловит ртом воздух. В этот момент к нему подбегает собака и начинает лизать руку. Стюарт с удивлением смотрит вниз, потом брезгливо вытирает руку о стену хижины.

Хижина Бейнса. Раздевшись, Ада грациозно ложится на постель. Бейнс с величайшей осторожностью обнимает ее хрупкое тело.

Перед хижиной Бейнса. Через щель Стюарт видит, как Бейнс овладевает его женой, как страстно она отвечает на его поцелуи и ласки. Боясь быть застигнутым врасплох, Стюарт забирается под хижину и оттуда продолжает подглядывать за женой и ее любовником.

Хижина Бейнса. Ада с любовью смотрит в лицо Бейнса, страстно прижимаясь к нему всем телом.

Ада начинает одеваться, застегивает крючки корсета, пристегивает кринолин. Доверчиво протягивает Бейнсу руку, чтобы тот помог застегнуть рукав.

Бейнс (с грустью). Ты опять уходишь, а я остаюсь в своем ничтожестве. Что ты будешь делать дальше? Придешь еще? Я хочу знать, что ты думаешь? Это хоть что-то значит для тебя?

Ада замечает на полу пуговицу, поднимает ее, но она выскакивает из рук и через щель в полу падает прямо на Стюарта, все еще лежащего под домом.

Бейнс. Я буду скучать по тебе, Ада. Ты любишь меня?

Ада подходит к зеркалу, долго разглядывает себя, по привычке приглаживая волосы.

Бейнс. Ада, скажи, ты любишь меня? – не отступает Бейнс.

Вместо ответа она подходит к нему и покрывает страстными поцелуями его лицо и тело, тем самым ввергая Бейнса в немалое смущение.

Бейнс. Приходи ко мне завтра. Я буду тебя ждать.

Дом Стюарта. Сам он рассматривает гербарий. Шум возни из соседней комнаты отвлекает его. Прижавшись к стене, Стюарт наблюдает за происходящим. Ада в ночной сорочке, распустив свои длинные волосы, кружится по комнате. Флора со щеткой в руках прыгает вокруг матери.

Флора. Ну постой, мама. Мне до тебя не дотянуться.

Опрокидывает мать на кровать, прикасается к ее волосам, испуская страстные стоны, которые слышала в хижине Бейнса. Ада в истоме раскинулась на кровати. Подыгрывая дочери, она страстно дышит. Флора заливается радостным смехом.

На лице Стюарта, так и не решившегося нарушить идиллию, мелькает какая-то мысль.

Лес. Ада бежит по холму, высоко подобрав юбки. Из-за дерева выходит Стюарт и преграждает ей путь. Ада останавливается. Кажется, она окаменела от страха. Однако, ловко увернувшись от мужа, она продолжает бежать по направлению к хижине Бейнса.

Стюарт догоняет жену, ловит ее за талию, пытается обнять и привлечь к себе. Ада опять уворачивается и цепляется за ствол тонкого дерева, но Стюарт оказывается сильнее, и ему удается повалить жену на землю. Он задирает ей юбки. Ада не прекращает борьбы, глядя в лицо мужа с нескрываемым

отвращением. Стюарт ослабляет натиск, и Аде удается отползти на безопасное расстояние. Но муж опять настигает ее. В это время раздается истошный вопль Флоры. Ада с гневом отшвыривает руку Стюарта и поднимается навстречу дочери.

Флора. Мама, мама, они ломают твоё пианино!

Дом Стюарта. Четверо маори из всех сил колотят по клавиатуре пианино. Один из них снял резной пюпитр с явным намерением прихватить его с собой.

Несколько часов спустя.

Флора нацепила ангельские крылышки на свое темное домашнее платье и деловито расхаживает по комнате. Стюарт снаружи заколачивает окна досками.

Ада, прислонившись к стене, безучастно наблюдает за происходящим. Зато Флора принимает во всем живейшее участие. Она подбегает к окну, еще не заколоченному Стюартом.

Флора. Сюда прибеги, папа.

Стюарт приколачивает последнюю доску, и в комнате воцаряется полумрак. Затем задвигает снаружи засов.

Флора видит, что мать легла на постель и любуется на себя в зеркало, потом прижимается к нему губами, словно целует лицо другого человека.

Флора кивает на заколоченные окна. "Ты не должна была туда ходить", – говорит она назидательно и серьезно.

"Да?" – безразличным жестом откиляется мать.

Флора. Если хочешь, мы можем сыграть в карты.

Ада отворачивается от дочери. Карты падают на пол.

Девочка с недоумением смотрит на спину матери, которая не хочет с ней играть. Ада лежит, бессмысленно уставившись в стену.

Ночь. Стюарт просыпается от громких звуков музыки. Испуганно протирает глаза. Ада в ночной рубашке сидит за пианино и играет что-то патетическое. Рядом с ней Флора.

Стюарт зажигает керосиновую лампу и проходит в комнату жены. Флора машет

рукой перед лицом матери. Та никак не реагирует.

Флора. Смотри. Она спит. С ней уже было такое. Дедушка рассказывал, что однажды ее нашли на дороге в Лондон. Она шла во сне. Дедушка сказал, что такое бывает. Нужно только следить за ней.

Стюарт с любопытством и страхом смотрит на жену, игра которой становится все патетичнее. Вместе с Флорой они отводят Аду к кровати.

Несколько часов спустя. Ада прижимается во сне к дочери. Обнимает ее, гладит тыльной стороной ладони. Очнувшись ото сна, садится на постели. С недоумением оглядывается.

Проходит в комнату, где спит муж. Гладит его лицо, проводит пальцем по губам, глазам, шее. Стюарт просыпается и потрясенно смотрит на жену. В ответ она одаривает его робкой улыбкой. Вкладывает руку в его большую ладонь. Поднимает рубашку Стюарта, гладит его грудь. Стюарт учащенно дышит. Приподнимается, чтобы обнять Аду, но та в испуге отшатывается.

Несколько дней спустя. Тетушка Мораг и Несси в сопровождении двух служанок входят в дом Стюарта. Ада безучастно сидит в углу. Флора занята рисованием. Служанки с интересом рассматривают ее кукол.

Входит Стюарт с охапкой поленьев. Тетушка поспешно закрывает дверь.

Тетушка Мораг. Нужно беречь тепло. Ты третишь слишком много дров, чтобы твоя жена не замерзла и могла играть.

"Да, очень много дров", – как эхо повторяет Несси.

Тетушка Мораг. Почему твоя жена никуда не выходит? Да, ты, наверное, уже слышал? Джордж Бейнс совсем спятил. Говорят, он собрался уезжать на континент. Это все из-за аборигенов. Он слишком много общается с ними. Ходит к ним в лес, пьет, курит. Они плохо на него влияют. Уж лучше ему уехать. Конечно, мы к нему привыкли, но с его отъездом мало что изменится. (Тетушка многозначительно кивает на Несси.) Конечно, кое у кого были на Джорджа определенные виды.

При упоминании имени Бейнса Несси

прикладывает к глазам платочек и громко всхлипывает. Тетушка бросает на Несси уничижительный взгляд.

Тетушка Мораг. Поплачет, поплачет и перестанет. Женские слезы недорого стоят. (К Стюарту.) Говорят вы собрались путешествовать?

Стюарт. Да, уже скоро отправляемся.

Тетушка Мораг. Надеюсь, это не опасно.

Ада внимательно следит за разговором. Когда он устремляется в другое русло, она покидает гостиную, проходит в комнату, садится за фортепиано. Начинает играть что-то невыразимо печальное.

При первых звуках служанки замирают, прижав к груди кукол. Стюарт, забыв про гостей, весь превращается в слух. В его глазах мелькает грусть. Тетушка Мораг с изумлением воззрилась на Стюарта. Таким она его не видела никогда.

Ада играет, почти уткнувшись головой в клавиши, чтобы гости не заметили ее слез.

Лес. Тетушка Мораг в сопровождении Несси и служанок важно шествует по тропинке. Испытав потребность справить нужду, присаживается под большим развесистым деревом. Сопровождающие тотчас достают одеяла и со всех сторон закрывают хозяйку. Она не перестает философствовать.

Тетушка Мораг. Это пианино не выходит у меня из головы. Она играет как-то странно. Выше одеяло, выше! Нет, воистину она странное создание, даже очень странное! (Раздается журчание.) Вот ты, Несси, играешь, как положено, и это мне нравится. А с ней никогда не знаешь, чего следует ждать... Ой, что это?

Раздается шум. Несси с визгом бросается наперерез противнику. Из кустов выпархивает птица.

Несси. Это всего лишь голубь, тетушка.

Тетушка Мораг. Все равно, пойдете отсюда.

Тетушка быстро закапывает носком туфли следы содеянного и устремляется вперед.

Дом Стюарта. Ада стоит у постели мужа. Тот спит на животе. Ада начинает гладить его спину. Расстегивает пуговицу на



панталонах, приспускает их. Стюарт в испуге хватается за свои панталоны, не давая их снять. Он лежит, отвернув от жены свое пылающее лицо, на нем – невыразимая мука. Вскатывается с постели, приводит себя в порядок.

Стюарт. Как мне хочется дотронуться до тебя! Неужели я тебе так противен?

Ада смотрит на мужа серьезно и внимательно, но не дает никакого ответа.

Несколько часов спустя. Утро. Ада с дочерью лежат в постели, как всегда, прижавшись друг к другу. Лучи солнца падают на их лица, и они просыпаются. Стюарт срывает доски с окон, давая понять, что заключение Ады подошло к концу. Комната наполняется солнцем. С радостным криком Флора выскакивает на улицу и начинает гонять кур.

Ада стоит у зеркала и причесывает волосы. Стюарт возвращается в дом.

Стюарт. Надо же как-то жить, Ада... Я решил верить тебе... Мне нужно съездить на плантацию... Ты хочешь видеть Бейнса?

Ада отрицательно качает головой. Из

грудь Стюарта вырывается вздох облегчения. Он садится рядом с женой, но обнять ее не решается.

Стюарт. Может быть, со временем ты полюбишь меня?

Ада ничего не отвечает и смотрит куда-то вбок. Стюарт решительно поднимается и покидает дом.

Ада берет круглое зеркало, внимательно изучает свое лицо. Затем переводит взгляд в окно. Нагруженный тяжелыми кольями для ограждения плантации, муж скрывается вдаль.

Ада быстро подходит к пианино и, подумав мгновение, ловко вытаскивает одну из белых клавиш. Зажигает свечу, нагревает шило и начинает выжигать на костяной поверхности послание Бейнсу. Изящная вязь букв складывается во фразу: "Дорогой Джордж, ты похитил мое сердце. Ада Макграт". Заворачивает клавишу в салфетку и перевязывает ленточкой.

Перед домом Стюарта. Флора, с приложенными за спиной ангельскими крылышками, занимается со своими куклами. Она купает их в тазу.

Флора. Подумаешь, немножко прохладно. Нужно потерпеть.

Ада подает ей сверток. Флора принимает его с радостной улыбкой.

Ада. Отнеси это Бейнсу. Это принадлежит ему.

На лице Флоры мелькает разочарование, она мотает головой, отказываясь принять сверток.

Флора. Я не должна этого делать.

Ада (жестами). Отнеси это ему.

Флора не соглашается и, отложив сверток в сторону, продолжает заниматься своими куклами.

Ада рывком поднимает дочь с земли, вкладывает сверток в руки и подталкивает к дороге.

Лес. Флора привычно вступает на дорожку, которая ведет к хижине Бейнса, но, подумав секунду, возвращается назад и вступает на тропу, по которой ушел Стюарт.

Флора весело бежит по холмам, напевая свою любимую песню. За ее спиной трепещут ангельские крылышки. В отдалении

слышатся раскаты грома. Низко проносятся облака.

Флора без труда находит Стюарта. Вместе с четырьмя аборигенами он расчищает площадку и вбивает колья.

Флора протягивает сверток Стюарту.

Флора. Она велела отнести это мистеру Бейнсу. Но мне же нельзя туда ходить... (Флора выжидательно смотрит на приемного отца.) Мне самой развязать?

Стюарт. Не надо...

Выхватывает сверток, разворачивает, читает, отшвыривает клавишу далеко в траву.

Маори, сидящие поблизости, чувствуют что-то необычное в поведении хозяина. Настороженно переговариваются.

А Стюарт уже несетя вниз по холму, размахивая топором. Флора едва поспевает за ним. В какой-то момент она теряет отца из виду, потерянно кружась на одном месте. Молодой маори находит в траве клавишу, с любопытством разглядывает ее, давит на молоточек, прикладывает к уху.

Молодой маори. Потеряло голос. Теперь не поет.

Дом Стюарта. Ада сидит за столом и читает книгу. В комнату, размахивая топором, врывается обезумевший от ярости Стюарт. Он вонзает топор в стол, а потом, оглянувшись вокруг себя, – в пианино. Ада хватается мужа за талию и пытается оттащить от инструмента.

Стюарт. Ты предала меня, предала! Зачем ты это делаешь?

Стюарт валит жену на стол, а потом швыряет ее о стену.

Новая безумная идея овладевает Стюартом. Он хватается топор и вытаскивает Аду на улицу.

Перед домом Стюарта. Идет проливной дождь. Ада цепляется за висящую простыню, но Стюарт продолжает тащить ее волоком к большому пню, на котором обычно рубит дрова. Ада сопротивляется изо всех сил, даже пытается укуситься мужа, но силы неравны.

Поставив жену на колени и зажав голову между ног, он кладет ее руку на пень.

"Ты любишь его, любишь?" – в ярости вопит он.

Замахивается топором и отрубает жене палец. Кровь брызжет на белый фартучек Флоры, невольной свидетельницы этой ужасной сцены.

“Мама!” – визжит девочка.

Ада стоит, сложив по привычке руки на груди, и кровь льется ручьем из ее отрубленного пальца. Дождь смывает грязь с лица. Она делает несколько шагов по направлению к тропе, ведущей к хижине Бейнса, но, поскользнувшись, падает без сил прямо в грязь.

Стюарт подбегает к остолбеневшей от ужаса девочке и подает ей отрубленный палец, завязанный в платок.

Стюарт. Отнеси это Бейнсу и скажи, если они попытаются встретиться, я отрублю ей еще один палец, а потом еще один.

Флора останавливается возле матери, неподвижно сидящей в грязи, но грозный окрик Стюарта заставляет ее бежать.

Хижина Бейнса. Флора сидит на полу, заливаясь горькими слезами. Женщина-маори, живущая в хижине, приводит Бейнса. Тот опускается перед девочкой на колени, гладит по волосам, надеясь успокоить.

Бейнс. Что случилось?

Флора подает ему платок.

Флора. Не надо, не смотри туда... Это он сделал.

Бейнс разворачивает платок и видит отрубленный палец.

Флора пулей выскакивает из хижины. Бейнс догоняет ее, поднимает на руки.

Бейнс. Где она? Тише... Где она?

Флора. Она упала...

Бейнс. Что ты ему сказала?

Женщина-маори отбирает Флору у Бейнса.

Женщина. Она всего лишь маленькая девочка...

Бейнс. Я ему череп снесу!

“Нет, не надо”, – визжит Флора.

Бейнс в бессильном отчаянии бьет кулаком по дереву. Дождь продолжает идти сплошной стеной.

Дом Стюарта. Ада в беспомощности лежит на постели. Ее лицо покрыто капельками пота. Волосы прилипли ко лбу. Рука перевязана белой тряпичей. Рядом стоит

Стюарт и не сводит глаз с лица жены.

Стюарт. Ты не можешь быть с ним. Я, конечно, перешел грань. Но я был вне себя, потому что люблю тебя. Просто я подрезал тебе крыло. (Стюарт присаживается на край постели, прикасается рукой ко лбу.) О! Да у тебя жар!

Поправляет одеяло, нога Ады обнажается до самого лона. Стюарт осторожно гладит ногу жены, а потом, припав к ней, страстно целует. Начинает расстегивать ремень на брюках. В этот момент к Аде возвращается жизнь – вздрагивают ноздри, губы сжимаются произнести какие-то слова. Ада с усилием открывает глаза. На ее бледном лице они кажутся не просто большими, а неправдоподобно огромными. Пристальный взгляд этих горящих глаз останавливает Стюарта, и он в смущении отступает назад. Поспешно застегивается. “Тебе лучше?” – растерянно бормочет он.

Ада смотрит на него не отрываясь. Ее черные глаза гипнотизируют Стюарта. Он пододвигается ближе, подставляет ухо к ее губам.

Стюарт. Что?

По его напряженному лицу видно, что он изо всех сил старается понять то, что внушает ему Ада. Затем берет фонарь, ружье и выходит из дома.

Лес. Ночь. Освещая себе путь фонарем, Стюарт пробирается к хижине Бейнса.

Хижина Бейнса. Стюарт поднимается по ступенькам. Возле порога лежит женщина из племени маори. Стюарт переступает через нее и проходит в комнату.

На веревке висят клетчатое платье и нижняя юбка Флоры. На табуретке стоят ее мокрые ботинки. С вещей девочки все еще капает вода. Сама Флора спит в постели рядом с Бейнсом. Стюарт прикасается стволом ружья к голове Бейнса. Тот просыпается.

Стюарт. Твое лицо все время стояло у меня перед глазами. Как я ненавидел тебя. Так мне, по крайней мере, казалось до этой минуты. А теперь что я чувствую? Ни-че-го! Я посмотрел на себя твоими глазами. Боишься меня?

Стюарт отходит и позволяет Бейнсу сесть

на постели. Потревоженная Флора сладко потягивается во сне, но не просыпается.

Стюарт. Ты понимаешь, что я слышу ее?

Бейнс. Она заговорила?

Стюарт. Нет! Я слышу не слова! Я слышу ее мысли! (Показывает на голову.) Они здесь, у меня в голове. Ты ведь никогда не слышал ее?

Бейнс отрицательно качает головой. В глазах Стюарта загорается торжествующий огонек. В этот момент он похож на сумасшедшего, ослепленного безумной идеей.

Бейнс. Ты напрасно обвиняешь Аду. Во всем виноват только я.

Стюарт. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Так вот! Сегодня она сказала: "Я боюсь своих желаний. За что бы я ни взялась, все получается не так. Не держи меня. Мы должны расстаться с тобой. Бейнс увезет меня отсюда. Он сможет спасти меня. Только он один". Я хочу, чтобы она уехала. Пусть она уедет!

Флора продолжает спать, никак не реагируя на объяснение мужчин.

Стюарт. Как бы я хотел проснуться, и чтобы все случившееся оказалось только дурным сном.

Перед хижинкой Бейнса. Флора полощет в лесном ручье свои ангельские крылышки, с которыми не расстается с момента выступления в церковном спектакле. Вода в ручье такая чистая, что на дне виден каждый камешек.

Перед домом Стюарта. Ада появляется в проеме двери. У нее белое, как мел, измученное лицо. Рука покоится на перевязи. Ада болезненно морщится от дневного света. За ее спиной показываются лица тетушки Мораг и Несси. Аборигены суетятся вокруг дома, разбирая багаж.

Бейнс, одетый по-европейски – сюртук, цилиндр, галстук, – стоит поодаль, прижав к себе Флору. Увидев мать, та делает движение навстречу ей, но Бейнс удерживает девочку.

Лес. Нагруженные вещами маори движутся по направлению к океану. Ада останавливается. К ней подходит Бейнс и,

сняв цилиндр, нежно целует в губы.

Берег океана. Ада сидит на одном из сундуков. Флора одевает на мать шляпку, тщательно завязывая под подбородком ленты.

Маори, шлепая прямо по воде, переносят в каноэ вещи.

Маори (Бейнсу). Из-за пианино каноэ может перевернуться.

Бейнс (благодарно отмахиваясь). С ним все будет в порядке. Оно должно балансировать.

Маори. Только безумный может взять на борт этот гроб.

Бейнс. Да нет! Оно придаст устойчивость.

Общими усилиями маори подталкивают каноэ к воде. На мокром песке остается ровный, как от рельсы, след. Женщина, последнее время жившая в хижине Бейнса, идет рядом и поет прощальную песню. Каноэ достигает воды и начинает стремительное движение.

На каноэ. Аборигены дружно гребут, горланя песню. Флора, свесившись за борт, наблюдает за ритмичным движением весел.

Бейнс подходит к Аде, ласково пожимает ей руку. Ада жестами что-то внушает дочери.

Флора. Она говорит, что пианино нужно выбросить за борт.

Бейнс. Да нет! Все нормально. Мы справимся.

Маори. Она права. Этот гроб погубит нас всех. Пусть море похоронит его.

Бейнс (показывая Аде клавишу, которую она недавно послала ему). В городе мы его починим. Все будет в порядке, ты снова сможешь играть.

Ада жестами продолжает настаивать.

"Да она не хочет его!" – в ярости кричит девочка.

Бейнс. Ну хорошо. Выбросьте пианино за борт.

Маори обвязывают фортепиано веревкой. Здоровой рукой Ада касается поверхности воды, искоса наблюдая за происходящим.

Аборигены наваливаются на пианино, и оно исчезает в воде. Ада следит за тем, как стремительно разматывается веревка. Ставит на нее ногу. На лице – выжидательное

выражение, смесь любопытства и страха. Образовавшаяся петля захлестывает ногу Ады, и пианино утаскивает ее за собой в глубь океана. Видя, как хрупкое тело женщины исчезает за бортом, люди на каноэ цепенеют от ужаса.

Несмотря на многокилограммовый груз, привязанный к ее ногам, из-за бесчисленных юбок Ада погружается в воду медленно. Как парашютистка, она словно парит в воде, плавно опускаясь на дно морское.

Но очнувшись от безвольной инерции погружения, Ада начинает борьбу за жизнь. Скидывает башмачок, вокруг которого затянулась петля и начинает медленно подниматься вверх. Выныривает на поверхность, делает глубокий вдох. Несколько маори подхватывают женщину и плывут с ней к каноэ. Бейнс бережно принимает Аду на борт, прижимает ее к себе.

Ада лежит на дне каноэ и глубоко дышит. Бейнс склоняется над ней, стараясь заглянуть в глаза.

Бейнс. Что же это?

Внутренний монолог Ады.

Удивительно, но воля к жизни победила. Если получилось так, то что же... Судьба выбрала эту возможность из сотни других. Теперь я учу играть на фортепиано в городе. Джордж изготовил мне серебряный пальчик. Правда, он щелкает, когда ударяешь по клавишам, но учить можно.

Рука Ады бежит по клавиатуре. Серебряный палец, укрепленный с помощью черной бархатной повязки, не мешает ей играть.

Ада в светло-сером платье с цветочным рисунком ходит по комнате и повторяет английские слова. Ее лицо закрыто черной косынкой.

Внутренний монолог Ады.

Теперь я учусь говорить. Пока голос плохо слушается меня. Но это пройдет. А пока мне немножко стыдно за себя.

Ада. Death, death, death*... wa, wa, wa, ba, ba, ba, ha, ha, ha...

Флора в воздушном белом платье крутит в саду сальто-мортале.

Появляется Бейнс, прижимается к стене. Он одет в respectable городской костюм. От лесного бродяги не осталось и следа. Когда Ада проходит мимо, повторяя вслух английские слова, он ловит ее руку и привлекает к себе. Откинув с лица черную косынку, начинает целовать. Ада поднимает к нему лицо, освещенное застенчивой улыбкой. Бейнс так осторожно сжимает Аду в своих объятьях, словно боится причинить боль ее хрупкому телу.

Внутренний монолог Ады. Ночью я думаю о моем пианино, которое лежит в своей океанической могиле. Иногда я сама как бы проплываю над ним. Вокруг колышутся водоросли, проплывают стайки рыб. .

Ада в широких юбках парит над своим пианино.

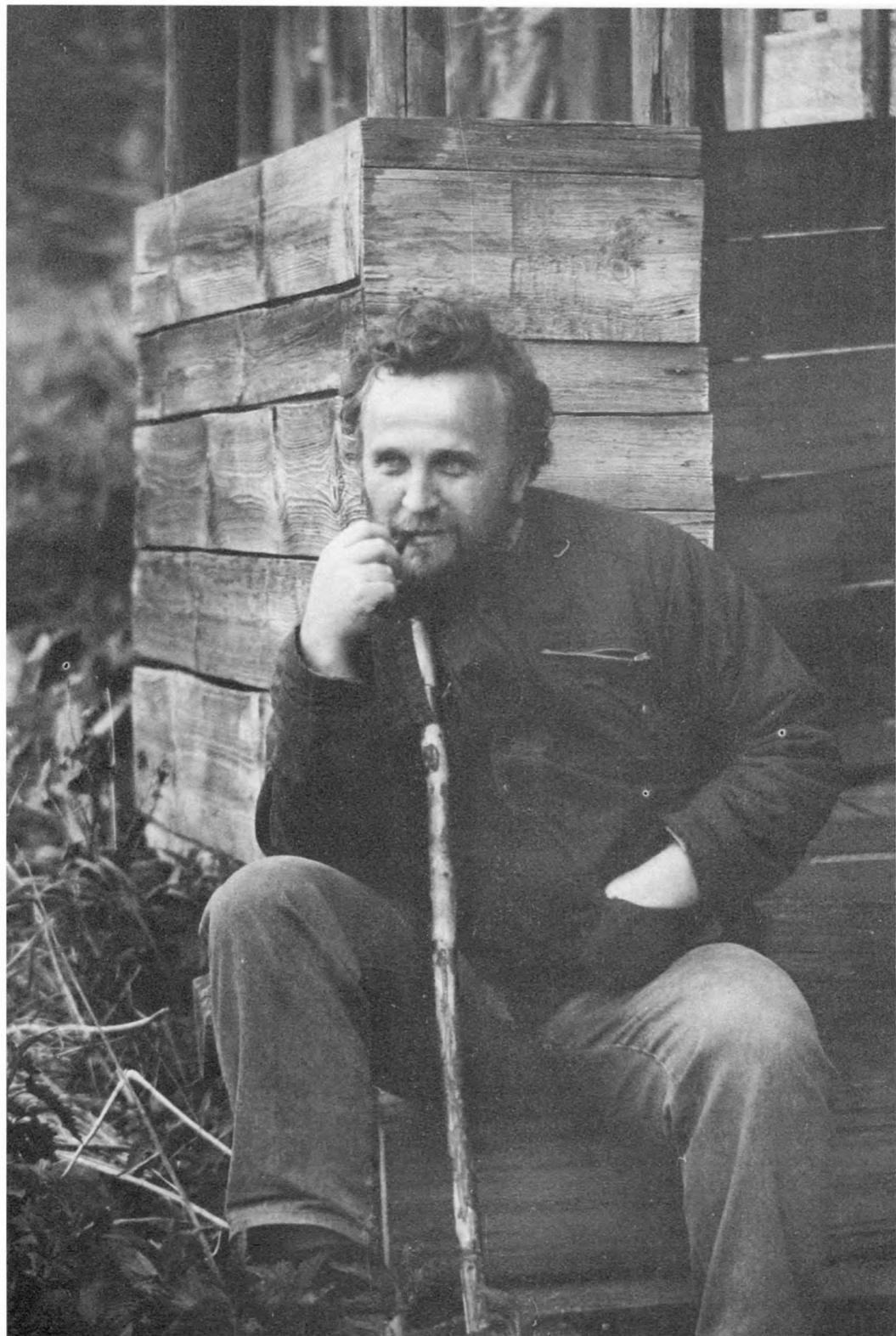
Внутренний монолог Ады. Внизу так тихо. Вот оно, настоящее молчание. Вот тишина, в которой не раздается ни единого звука. Холодная могила глубоко-глубоко в море.

Голубизна сгущается, принимает густой аквамаиновый оттенок и постепенно превращается в черноту.

На черном фоне надпись: "Посвящается Эдит".

**Литературная запись по фильму
Гарены Красновой.**

* Смерть, смерть, смерть.



Валерий Залотуха

МУСУПЬМАНЧИН

НИКОЛАЙ ИВАНОВ – АБДАЛЛА – Евгений Моронов
 ФЕДОР ИВАНОВ – Александр Балуев
 СОФЬЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА ИВАНОВА – Нина Усатова
 ВЕРКА – Евдокия Германова

КРЕСТНЫЙ – Иван Бортник
 НЕИЗВЕСТНЫЙ – Александр Песков
 ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ – Петр Зайченко
 ОТЕЦ МИХАИЛ – Сергей Тарамаев

Солнце росло и багровело, падая за взгорок, под которым, вдоль берега реки, уютно и тихо расположилась деревня.

Асфальтовая, в выбоинах, дорога поднималась от деревни в поля круто вверх, и круто вверх, догоняя косые солнечные лучи, ехал от деревни человек на велосипеде. Ехал и пел – громко и радостно:

– *Воскликните Господу вся земля!*

Служите Господу с веселием, идите

Идите перед лице Его с восклицанием!

Он был в кирзовых сапогах, старых суконных брюках и выцветшей клетчатой рубашке.

Он был бородат, а длинные волосы убраны сзади под черную шапочку-скуфейку.

Он смотрел рассеянno вперед и улыбаясь пел псалом:

– *Познайте, что Господь есть Бог,*

Что Он сотворил нас и мы – Его

Его народ и овцы паствы Его.

Ехать в гору было трудно, очень трудно, гораздо легче было бы идти пешком и вести велосипед рядом, но, напрягаясь до предела сил, так что жилы вздулись на лбу и шее, стоя на педалях, нажимая на них поочередно всем телом, он продолжал подниматься вверх и продолжал петь прерывающимся голосом, но по-прежнему радостно:

– *Входите во врата Его со славословием,*
Во двory Его – с хвалюем.

Славьте Его, благословляйте имя Его,

Ибо благ Господь: милость Его вовек

И истина Его в род и род.

В тихом, сумеречном деревенском доме, где мирно тикали ходики на стене, кроваво светила герань на окне, пьяно всхрапывал на кровати здоровенный матерый парень, где шли по телевизору “Вести” да постукивала педаль мягко жужжащей прялки, сидела за вечерней покойной работой тетка Соня, большая, с крупными, тяжелыми от болезни ногами, в круглых очках без дужек, на резиночке.

Телевизор, маленький старый “Рекорд”, работал за компанию, и тетка Соня подняла на него глаза, когда на экране возникла Светлана Сорокина и стала рассказывать очередную весть:

– Среди трагических событий, которые, увы, стали для нас обыденными, все же случаются события по-настоящему радостные. Мы только что получили репортаж из Джелалабада, где состоялась передача представителям российских властей бывшего солдата Советской Армии Николая Иванова, попавшего в плен в Афганистане и пробывшего в неволе долгих семь лет.

Пошел сюжет. Бородатый моджахед и наш толстый генерал жали друг другу руки и не улыбались. На мгновение появилось лицо передаваемого... Худой неподвижный мальчик с широко раскрытыми глазами, одетый в национальную афганскую одежду.

Продолжая тянуть шерстяную нить, тетка Соня подняла глаза на экран, когда там по-армейски бодро говорил генерал:



– Мы проделали огромную работу по обнаружению и вызволению из плена нашего бывшего война. Не пожалели, как говорится, ни сил, ни средств. И вот бывший гвардии рядовой Николай Иванов на свободе и в скором времени вернется на Родину, в Россию.

И еще раз появилось лицо бывшего пленного. Оно жестко, глаза широко раскрыты и неподвижны.

– Колюшка... – прошептала тетка Соня.

И стала вдруг заваливаться набок, хватаясь за прялку, и повалилась вместе с ней, упала на пол с тяжелым и опасным стуком...

Он идет по асфальтовой дороге, которая сверху вливается в деревню. Он в той же национальной афганской одежде. На плече – небольшой рюкзак с притороченным маленьким свернутым ковриком. Каблуки грубых армейских ботинок стучат по асфальту. Лицо его жестко, взгляд широко раскрытых глаз неподвижен.

Он входит в деревню. У крыльца одного из домов стоит пожилая женщина с прутком в руке. Она смотрит на него из-под ладони, взмахивает руками и бежит к нему.

Он идет все быстрее, потому что спуск

все круче, и вокруг него уже несколько женщин. Они семят рядом, дотрагиваясь до него, говорят что-то, улыбаются и плачут в голос, но их не слышно. Раз! Два! Три! И, как в сказке, он оказывается у ворот своего дома.

Окруженный с трех сторон людьми, Коля стоял прямо и неподвижно перед воротами своего дома. Глухая калитка со скрипом отворилась, и появился Федька, его старший брат, заспанный, голый по пояс, в старых трикотажных штанах, босой. Его мощный торс и крепкие руки были обильно татуированы. Улыбаясь, он смотрел на брата так, будто расстались они вчера, максимум позавчера. Перебивая друг друга, бабы кричали, улыбаясь сквозь слезы:

– Федь! Приехал!

– Мать зови!

Та, которая встретила Колю первой, все пыталась об этом рассказать.

– А я вышла цыпляток глянуть, наседка-то у меня такая гулена, такая гулена! Гляжу, а он идет... О-ой, мамушки! Коль, говорю, это ты или не ты? А вдруг, думаю, не он это?

Но ее не слушали.

Федька протянул руку и заговорил



сипловатым голосом, какой нередко бывает у эзков со стажем.

– А мы завтра ждали. Телеграмма на завтра ж была...

– Мать-то дома? – перебивали его бабы.

– Сось! Да где ты есть-то?! Колька вернулся!

– В огороде она, – объяснил Федька. – Бегит, я видал... Здорово, братан, – и он вдруг крепко обнял Колю и прижал к себе.

Глядя на них, бабы пуще завсхлипывали.

– Обнимает... А ведь как бил до армии-то, как бил...

– Родная кровь... Свое берет...

– Правда, правда... – вытирали слезы бабы.

– Они тебе про отца-то сказали? – спросил Федька брата. – Повесился батя. На той неделе три года будет.

– Ко-о-лю-ю-шка-а-а! – донесся из-за забора протяжный, берущий за душу вопль.

Калитка распахнулась, и одетая в рванье для работы в огороде мать кинулась к сыну, но споткнулась о порожек и полетела вперед и упала – тяжело, нелепо и страшно. Все, кроме застывшего, окаменевшего Коли, бросились к ней, помогая подняться, но тетка Соня не поднималась, а билась о землю и кричала одно:

– Ко-о-лю-ю-шка-а-а!

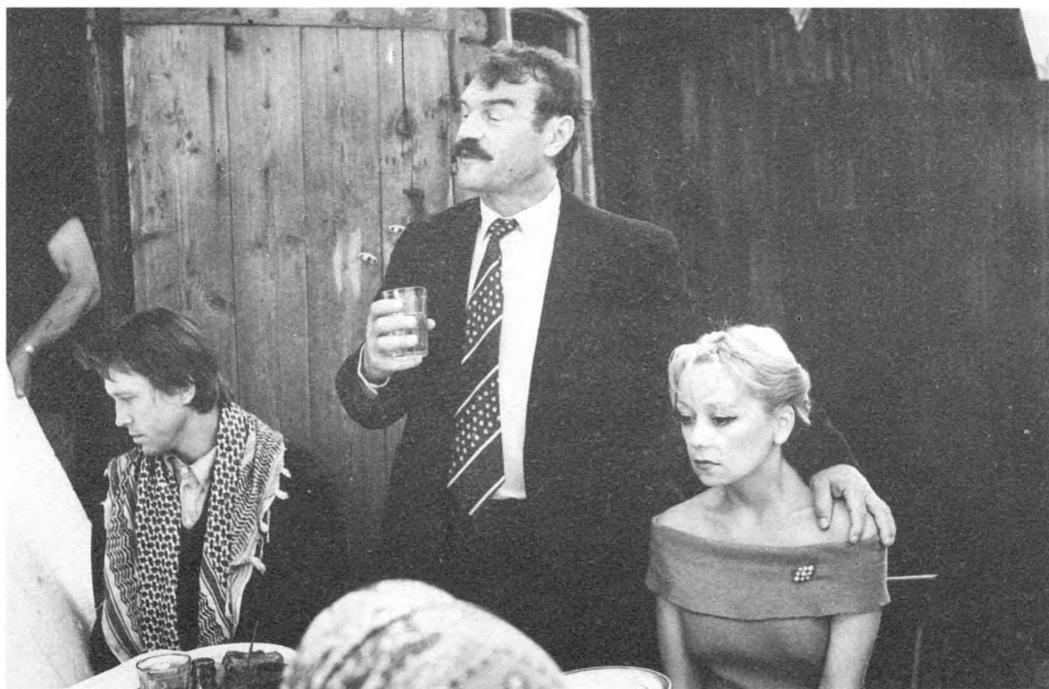
– Мама, – прошептал он.

У Ивановых праздновали встречу. Было шумно и пьяно. Коля сидел во главе стола. Справа от него – тетка Соня, нарядная, в накинутах на плечи красивейшем восточном платке, чуточку хмельная, с заплаканными счастливыми глазами. Слева сидел Федька, крепко пьяный, задремывающий, в новой кожаной куртке. Прямо над ними на стене висели две большие фотографии в черных деревянных рамках: на одной – Колин отец, на другой – сам Коля, солдат-новобранец.

Коля сидел неподвижно, почти как на фотографии. Еда перед ним была не тронута, рюмка не пригублена.

– А часы, что отцу привез, Федьке не давай. Не давай, не давай, сынок, – пропьет. Как бы куртку не пропил, спрятать надо будет. – Тетка Соня шмыгала носом и безостановочно говорила. – А я тут падать все стала, иду-иду и упаду, помру, наверно, скоро, думаю. Оно бы ладно, да как на Федьку хозяйство оставить? А теперь ты вернулся, сынок, теперь и помереть не жалко!

Медленно проехав по деревне, напротив дома Ивановых остановился грязный “жигуль” с московским номером. За рулем



его сидел неизвестный молодой человек, высокий, широкоплечий, в черных очках.

У окон дома роилась ребятня. На лавочке перед забором пьяные мужики дымили самокрутками и громко спорили. Укрывшись за кирпичной кладовой, подростки торопливо опоражнивали упертую с праздничного стола бутылку.

Наблюдая все это, неизвестный усмехнулся, достал из "бардачка" пачку "Кэмела" и зажигалку, закурил и продолжил наблюдение.

– Колюня! – кричал и тянулся к виновнику торжества Колин крестный, дядя Ваня, мужичок шаповатый и забубенный. – Я же все-таки крестный твой! Я тебя вот на этих самых руках держал, когда крестили! Поп у нас был, отец Поликарп, бывало, как выпьет, и – "По коням! Шашки наголо, пики к бою!" Во поп был! Буденновец! Так ты ему, Коль, всю рясу тогда обмочи! Он, помню, сказал еще: "Этот басурманин будет!" А ты вот какой стал! Русский солдат! Герой! Жилин и Костылин! Огонь, воду и медные трубы прошел! Эх, дай-ка я тебя поцелую!

Он потянулся к Коле, но задел дремлющего Федьку, и тот проснулся, вскинулся.

– Ну ты, чайка соловецкая, – угрожающе заговорил он, поднимаясь.

– Да ты чего, Федь, это ж я, – стал взволнованно объяснять Колин крестный.

– Иван это, ну! Федь! Неужто и сегодня драться станешь! – крикнула сердито женщина с дальнего конца стола.

Федька растерянно вертел головой.

– Ну обознался человек, бывает! – вступилась за Федьку женщина, которая первая встретила Колю.

Но Федька уже все понял. Он указал пальцем на Колю и угрожающе заговорил, обводя всех тяжелым пугающим взглядом:

– Это мой братан! Кто его пальцем тронет... Я пятый раз на зону пойду, а за брата моего... – взгляд его добрался до брата. – Понял, Колян? Сразу мне говори! Убить не убью, но покалечу! – Он сел в тишине, подумал и повторил убежденно: – убить не убью, но покалечу.

На большой скорости к дому подъехал роскошный "джип", и из него торопливо выбрался военный, подполковник, и сидевший за рулем гражданский – полноватый, в черном костюме, начальнического вида.

Неизвестный в "жигулях" опустил голову, чтобы не привлекать к себе их внимания, но



они торопились, почти бежали к дому.

– Ну, здравствуйте, землячки! – громко возгласил начальник, входя первым.

– Павел Петрович! – раздалось сразу в нескольких местах.

И многие стали подниматься и тесниться, предлагая гостям сесть рядом.

– Узнал? – успела шепнуть сыну тетка Соня. – Предсельсовета нашего был. А теперь в районе самый главный. Голова!

– Ну где он? – Павел Петрович нашел глазами Колю и стал пробираться к нему, здороваясь по пути с земляками. – Ну, здравствуй, афганец ты наш родной! – он обнял Колю, и громко хлопая его по спине, негромко укорил: – Ты б уж переоделся в наше, Николай. А то как душман, честное слово. А теперь прошу налить! –скомандовал Павел Петрович.

Пока ему наливали в чистую посуду, и не самогонку, а водку, он шутиливо погрозил тетке Соне пальцем.

– Ох, тетя Сонь, тетя Сонь! Не захотела в Москву ехать, сына встречать!

– Да куда ж я поеду, колода старая... – развела руками тетка Соня. – Я его как по телевизору увидела, так и кувыркнулась! Прялку вон сломала. Померла б там,людям на смех... А Федьке тоже нельзя, он

поднадзорный...

– Ладно, ладно, – успокоил ее Павел Петрович, принимая угодливо протянутую рюмку.

Военком сел напротив Коли и буравил его своими маленькими неподвижными глазками. Ему тоже предложили рюмку, но он решительным жестом отказался, не сводя с Коли глаз.

– Сейчас Борис Алексеевич, наш военком, сообщение сделает, а потом я тост скажу, – сообщил Павел Петрович и приготовился слушать.

Стало тихо. Военком поднялся, кашлянул в кулак и, продолжая буравить Колю взглядом, проговорил негромко и многозначительно:

– Николай Михайлович, отдохнете, а на будущей неделе милости просим в военкомат. Будем вручать вам медаль...

К дому торопилась девушка в ярком коротком платье, умудряясь на бегу смотреться в зеркальце и даже подкрашивать губы.

Захмелевшие подростки кричали ей что-то похабенькое, но она не обращала внимания.

– А вот и невеста... из теста, – с легким



сарказмом прокомментировал неизвестный в "жигулях" и, помолчав, прибавил жестко: – а жених из дерьма...

Павел Петрович говорил тост. Его слушали, пожалуй, все, кроме семьи Ивановых: Федька спал, положив голову на стол, а тетка Соня, вытирая концом платка частые слезы, тихо рассказывала Коле свое:

– Захожу в дом, а он висит... На крюке вон... Просила все Федьку вытащить, да ему недосуг... И не так уж выпимши был...

– Что нужно, чтобы возродить наши края? – громко и торжественно говорил Павел Петрович. – Образно говоря, необходимы три компонента, три составляющие части!

– А уж как ждал он тебя, как ждал... Бывало, сяду поплакать, а он: "Не смей! Не смей живого оплакивать! Живой наш Коля! Живой и вернется".

– Первое – это земля! Земли у нас... – говорил Павел Петрович.

– Девать некуда!

– Одни пустыри! – поддержали его за

столом.

Народ задумался и, задумавшись, смутился.

– А ты чего ж, сынок, не ешь ничего, не пьешь? – беспокоилась тетка Соня.

– Софья Пантелеймоновна, – обиженно развел руками Павел Петрович.

– Дай сказать-то!

– Наговоришься еще со своим сыночком! – слегка покорили ее женщины.

Тетка Соня закивала и закрыла ладонью рот.

– Второе – это.. – Павел Петрович поставил на стол рюмку и вытащил из кармана бумажник.

– Деньги! – первым догадался Колин крестный.

– Ясное дело!

– Без них никуда.

– Деньги, да не всякие! – Павел Петрович вытащил из бумажника пачку тысячерублевых и, покосившись на спящего рядом Федьку, продолжил: – Не вот эти вот бумажки!

– Бумажки, как есть бумажки!

– Что на них купишь-то? – народ был согласен с оратором, хотя смотрел на тысячные вполне дружелюбно.

Павел Петрович спрятал их обратно в бумажник и достал из соседнего отделения стодолларовую.

– Вот – деньги! – он поднял купюру над головой.

– Зеленая...

– Трояк, что ль?

– Сама ты – трояк! Доллар!

– Не доллар, а сто! Видишь вот – однушка и два нуля.

– Эх ты! Это ж сколько на наши будет?

– Сколько, сколько... Мильен!

– Дай, Петрович, поглядеть, а то не видал ни разу! – протянул руку Колин крестный.

Павел Петрович поморщился, но все ж отдал, и денежка пошла по рукам, ее разглядывали, гладили, нюхали даже, словом, обсуждали.

– И есть люди, есть! Я недавно из Москвы, встречался там... Наши люди. Готовы в наши земли вложить настоящие деньги!.. Эй, а где доллары?

– И молчишь все, сынок, молчишь.. – шептала тетка Соня, глядя горестно на сына. – Скажи хоть словечко-то...

Коля напрягся вдруг, задумался, словно

вспоминая слова.

– Я... вернулся... – тихо сказал он.

А за столом заволновались. Сто долларов пропали. Люди смотрели друг на друга, хмурили брови, пожимали плечами. Некоторые выворачивали карманы. На лице Павла Петровича возникло смятение, но он мотнул сокрушенно головой и улыбнулся:

– Узнаю землячков!

– Узнаешь?! – вскочил Колин крестный.

– Узнаю!

– Раз узнаешь, тогда забирай! – он вынул из-под тарелки и протянул купюру Павлу Петровичу.

Все засмеялись.

– А третье, главное, это, конечно, люди!

– продолжил Павел Петрович облегченно. – Только не вы...

– Да уж мы-то старье...

– На свалку пора...

– И не я... А ты, Николай! За тебя! – и Павел Петрович выпил рюмку до дна.

Сильно качаясь, к “жигулям” направился пьяный парень, и, не дожидаясь его, неизвестный завел мотор, и машина сорвалась с места.

Плясали. Половицы ходили ходуном. В комнату влетела девушка в ярком платье.

– Верка! Давай плясать! – закричал Колин крестный.

Приплясывая в такт с гармонью, она прошла к столу, оттопырив мизинчик, взяла стакашек с водкой и поприветствовала Колю как бы между прочим:

– Здравствуй, Коль, с приездом.

И лихо опрокинув стакашек, пустилась в пляс.

В крохотном закутке за занавеской на маленьком и старом персидском коврике стоял на коленях Коля и совершал намаз. Половицы от топота пляшущих ходили ходуном, но он не замечал. Взвизгивала гармонь, орались частушки, но он не слышал, а шептал:

– Бисми ллахи р-рахмани р-рахим... – и клал поклоны.

Занавеска вдруг отодвинулась, кто-то заглянул сюда и тут же скрылся. Топот затих, музыка сбилась и замолкла, и кто-то заткнулся на полуслове. Стало совсем тихо.

– Ал-хамду лилахи рабби-л-алямина, –

доносился из-за занавески шепот.

И тогда медленно отодвинулась занавеска, словно занавес в театре. И, замерев, все потрясенно смотрели на молящегося мусульманина Колю. А он никого не видел, продолжая молиться:

– Ат-тахийат ли ллахи ва с-салават ва т-таййибат. Ас-саламу алайка н-набиййу ва рахмату ллахи ва баракату.

Деревня была погружена еще в рассветный туман, но уже не спала. Где-то хлопал кнут и неразборчиво матерился пастух. Во дворах отворялись ворота и калитки, и хозяева выгоняли скотину в стадо.

Крестный остановил лошадь напротив дома Ивановых, соскочил с телеги, заставленной молочными бидонами, и потрусил к воротам.

– Мам... – доносился со двора утренний похмельный Федькин бас. – Ну, мам, ну налей сто грамм, а?.. Мам, ну я знаю, что есть, ну налей... Ну, мам...

Тяжело шаркая, по двору ходила тетка Соня, но голоса в ответ не подавала.

Крестный вздохнул, открыл калитку и с ходу деловито спросил:

– Сонь, молоко-то сдавать будешь?

– Не знаешь разве, не доится корова, – раздраженно бросила тетка Соня.

– Да не, я так спросил...

– Мам, ну, мам, ну налей, – продолжал кланяться Федька.

На голое тело его был наброшен короткий рваный пиджачок. Федьку похмельно знобило.

– Сонь, а ты слыхала, что в Кулебякино случилось? – вновь заговорил крестный. – Там одна баба мужику своему похмелиться утром так же вот не дала. А было! Умолял, на коленях стоял: “Умираю, Нюр, налей!” Нюрка ее зовут. “Нет!” А он тогда раз – и готов! Она думала, шутит. А он серьезно. Скорая приехала, говорят: хоть бы пятьдесят грамм ему – и жил бы человек! Так это не все... Она теперь под следствием... Судить будут.

Тетка Соня остановилась напротив крестного.

– Ты лучше у него спроси, куда он куртку дел, которую Колька ему привез...

Федька и крестный переглянулись. Стало ясно, что похмелиться не выгорит.



– Бисми ллахи р-рахмани р-рахим
кул хува ллаху ахад
Аллаху ас-самад
лам йалид ва лам йолад
ва лам йакун лаху куфуван ахад.
Начинался новый Божий день.

Уже подходя к магазину, тетка Соня услышала громкий и насмешливый голос соседки Шурки:

– А Абдула-то наш, Абдула...

Тетка Соня приостановилась, прислушалась, но слов было не разобрать. Громкий коллективный смех подстегнул ее, и она буквально ворвалась в магазин. Смех оборвался, стоящие у окон бабы стыдливо-рассеянно посматривали по сторонам.

– Здорово, Сонь! – первой нашлась Шурка.

Продавщица Валя положила перед ней четыре буханки хлеба.

– Чего смотришь, Сонь? – обиженно заговорила продавщица. – Забирай давай, да я магазин закрываю, “Мария” скоро начинается.

– Ой, правда, “Мария”, – бабы за спиной тетки Сони засуетились, засобирались.

– Ты ж шесть уже давала, – негромко напомнила тетка Соня.

– Давала-давала, сегодня хлеба мало привезли. Две буханки на человека, вон читай.

– Так нас же трое...

– А по документам двое. Пускай твой Абдула сперва пропишется да справку из сельсовета принесет...

Наступила тишина. Тетка Соня обвела всех взглядом. Бабы прятали насмешливые глаза.

– А хоть бы и Абдула... – заговорила тетка Соня. – Да вы на своих гляньте. Они-то кто? Твой, Шур, Костик что ли? До десятого класса ссался, в армию не сгодился, в стройбат и то не взяли. Да он и в тюрьме под нарами спит, все в деревне знают. А ты, Кать, что лыбишься? До сорока лет своего грудью кормишь, ни дня в жизни не работал... Или твой бессемянный? Ты все внуков ждешь, а он и спать с бабой не ложится, она сама мне рассказывала. Кто ваши-то? А мой денег привез, подарки. И не пьет, не курит, и работает – спины не разгибает, ему и прописаться съездить

Они сидели на лавочке перед домом, курили самосад.

– Настоящая Америка, – похвалил табак крестный.

– А то... – согласился Федька.

– А куртка?

– Продал одному за бутылку. Да я пойду сегодня вечером заберу...

Крестный сплюнул, раздавил окуроч.

– А Колька где?

– Где-где, молится...

– Молится всё?

– Да мне что, пускай молится...

– Ясное дело – пускай, жалко что ль...

Лошадь двинулась, звякнув бидонами.

– Ишь ты, – крестный вскочил и побежал к ней.

За большой рекой вставало солнце. Коля молился на высоком крутояре – над рекой, над полями, над деревней. Тот же старый персидский коврик был растелен на мокрой от росы траве. Никого рядом не было, и можно было не шептать, а молиться в голос.



некогда, и медаль получить. А ему, Валь, через медаль, между прочим, льготы положены! Без ограничений мне хлеб будешь давать, поняла? Вот вам и Абдула!.. Что, прикусили языки-то? Ну вот и засуньте их себе в задницу!

Швырнув на прилавок деньги и покидав буханки в сетку, тетка Соня вышла, громко хлопнув дверью.

Колино лицо было покрыто слоем пыли, видно было, что он устал, но глаза улыбались. Он сидел на передке телеги и правил лошадью, сзади погромыхивал плуг с комьями земли на лемехе.

– Эй, шеф, тормози! – крикнула выскочившая из-за угла дома Верка.

Она подбежала, с мальчишеской легкостью вспрыгнула на телегу, уселась рядом.

– До дому довезешь? – спросила она, глядя насмешливо.

Коля улыбнулся в ответ и кивнул.

– Но! – прикрикнула Верка на лошадь. – Чего-то тебя не видно совсем. Коль, а Коль, чего молчишь-то?

– Я... тебя... вспоминал... – Коля сказал это медленно и тихо, как что-то очень для себя важное.

И Верка глянула вдруг растерянно.

– Вспоминал, вспоминал... – пробормотала она, замолчала и вдруг нашла, что спросить. – Эй, а правда тебя там Абдулой звали? – Она смотрела лукаво и насмешливо. – Абдула?

– Абдалла, – улыбаясь, поправил Коля. – Это значит раб Божий.

– Ой, тормози! – крикнула Верка.

Они уже проехали ее низкий покосившийся домишко.

– Пока! – махнула она рукой и пошла к дому не оглядываясь.

А Коля, не оглядываясь, поехал дальше.

Верка вдруг остановилась, обернулась.

– Коль! – позвала она.

Он не слышал.

– Колька! – крикнула она.

Коля не оборачивался.

– Абдалла!

Коля резко обернулся, останавливая лошадь, и смотрел удивленно и радостно. Верка бежала к нему.

– Это... – заговорила она, глядя то куда-то в сторону, то себе под ноги. – Скажи матери, я сегодня ночью на ферме дежурю. За комбикормом приходите. Два мешка...

Коля ввел лошадь во двор своего крестного.

– Крестный! – позвал он, закрыв ворота. Но увидел, что на двери дома – замок, и пошел в огород. Крестный торчал на другом конце, Коля улыбнулся и быстро пошел к нему, но вдруг остановился и замер, не веря своим глазам. Крестный искал мины. Он осторожно ступал по меже и тыкал часто в землю стальным шупом, приделанным к жерди. Был он сосредоточен и серьезен. Коля хотел окликнуть его, но не решился и двинулся к нему, осторожно ступая след в след.

Крестный вдруг замер, положил на землю жердь, присел и стал осторожно разгребать землю. Коля вытянул шею, но в глазах его было больше страха, чем интереса. Но вдруг на губах его возникла улыбка. Крестный держал в руках банку под жестяной крышкой, в которой плескалась прозрачная жидкость. Крестный встал, оглянулся, посмотрел на Колю взглядом серьезным и почти трагическим.

– Дура баба... Разбить ведь мог...

Был вечер. Коля сидел в углу на табуретке и разбирался в поломанной прялке. Федька собирался на дело с энтузиазмом вора со стажем. Тетка Соня помогала ему.

– Если так дело пойдет, к осени свадьбу играть придется! – шутил Федька. – Отдадим, мам, его за Верку-то? За два мешка комбикорма! А что? Калым!

Тетка Соня нахмурилась, махнула рукой.

– Еще чего... Прошлый год геологи тут у нас работали, терли ее все, кому не лень. Домой к ней ходили. Бабка за занавеской, а она... Деньги, говорят, брала. Ты-то сидел тогда, не знаешь...

– Чего там знать-то? Проститутка – она и есть проститутка...

Федька собирался развить тему, но Коля его перебил:

– Нефть искали?

– Кто? – не понял Федька.

– Геологи.

– Не нефть, а эти, как их... – тетка Соня наморщила лоб, вспоминая.

– Алмазы, – недовольно подсказал Федька.

– Нашли?

– А то! Тут через десять лет одни шахты да карьеры будут, – отвечал Федька уверенно.

– Не знаю, чего они там нашли, а я всю

жизнь ковыряюсь, и хоть бы один... Поглядеть бы на него, какой он...

Федька развеселился, засмеялся хрипло, с кашлем.

– Ну ты, мам, даешь! Они ж глубоко, это ж бурить надо!

– Бурить... – недовольно повторила тетка Соня и обратилась к Коле: – Сынок, а ты чего не собираешься?.. Пока дойдете...

– А я не пойду, мам, – тихо ответил Коля, отодвигая прялку.

– Как?.. – опешила тетка Соня.

– Я не пойду воровать, – спокойно повторил Коля, глядя матери прямо в глаза.

– У кого воровать-то? – пожал плечами Федька. – У колхоза? У государства этого? Да оно из нас все соки... У него украсть – на том свете зачтется... – Федька сплюнул с досады.

Тетка Соня опустила на табуретку напротив Коли и, горестно и виновато глядя на него, заговорила:

– Сынок... Колюшка... Это ж комбикорм... У нас вон корова никак не раздоится... Нехорошо, ясное дело, нехорошо, ну а жить-то нам надо?

– Я не пойду.

– Ты! Щенок! – подскочил Федька. – Тебя поймают – ничего не будет! А меня поймают – срок намотают! Во, мам, я говорил, этот мусульманин нам еще покажет, мы с ним еще нахлебаемся!

И Федька заходил по комнате, скрипя зубами и сжимая и разжимая кулаки.

– Я с тобой пойду, – вздохнув и поднимаясь, подытожила тетка Соня.

– Да куда ты пойдешь! – заорал Федька. – По двору еле ползаешь...

– Ничего, докултыхаю, – тетка Соня уже одевалась.

Федька вновь подскочил к брату, поднес к его носу вплотную здоровенный кулачище с четырьмя вытатуированными на нем перстнями.

– Говори последний раз, пойдешь или нет?.. – захрипел он.

– Нет...

– У-у-у! – Федька взвыл, развернулся на пятке и врезал кулаком по косяку двери так, что, кажется, дом зашатался.

Было утро.

– Колян! – строго прокричал Федька из окна вслед отъезжающему от дома на

велосипеде брату. – Гляди, чтоб там велик не сперли!

Коля кивнул, не оборачиваясь.

Коля крутил педали и улыбался. В небе пели жаворонки. В огородах работали люди. Было хорошо. Всем было хорошо.

Город был пыльным, буднично-унылым.

Коля въехал во двор военкомата, где не было ни души, оставил велосипед у стены и вошел внутрь здания.

Он шел по длинному полутемному коридору и дергал за ручки всех подряд дверей, но все они были заперты. Было тихо и почему-то даже жутковато.

Дверь впереди вдруг распахнулась от удара ногой, и Коля вздрогнул от неожиданности. В освещенном проеме стоял, широко расставив ноги и сцепив за спиной руки, военком. Он резко вдруг повернулся и пошел вглубь кабинета. Коля двинулся за ним.

А во дворе военкомата в это время появился щуплый белобрысый подросток. Насвистывая, он подошел к велосипеду, лениво на него взобрался и не торопясь поехал с военкоматского двора.

Подросток не оглядывался и не видел, как, чуть погодя, за ним двинулся “жигуль”, за рулем которого сидел неизвестный в черных очках.

Коля вошел в кабинет. Военком стоял лицом к окну, широко расставив ноги и сцепив за спиной руки.

На краю стола лежали медаль и удостоверение.

Военком не двигался и молчал. Коля переступил с ноги на ногу, помялся и медленно, нерешительно взял медаль и удостоверение и положил их в карман брюк. Посмотрев на военкома, он кашлянул, напоминая о себе, но тот продолжал стоять неподвижно, как изваяние. Коля вздохнул и пошел к двери.

– Стой! – окликнул его военком тоном часового.

Коля остановился. Военком резко повернулся и, громко стуча подкованными сапогами, подчеркнуто прямо подошел к столу и сел на свой стул. Коля смотрел на него.

– Сядь! – приказал военком тем же тоном. Коля подошел и сел напротив.

Военком наклонился, выпрямился, поставил на стол опорожненную на две трети бутылку водки и два граненых стакана, налил в них поровну.

– Давай! – он поднял стакан.

Только теперь Коля понял, что военком пьян.

– Я не пью, – сказал он.

Военком понимающе кивнул, взял Колин стакан и, перелив водку в свой, выпил его до дна – медленно и мучительно.

Несколько секунд он молчал задохнувшись и, выдохнув наконец, поднял на Колю красные страдающие глаза.

– Ну что? – заговорил он, хмуря лоб. – Как дальше жить будем? Я спрашиваю, – перешел он вдруг на крик, – я спрашиваю, как дальше жить будем?! – и он с силой грохнул кулаком по столу так, что пустая бутылка подпрыгнула, свалилась на пол и с жалобным звоном покатилась куда-то в угол.

Коля молчал. В его глазах не было страха, а были, скорее, сочувствие и интерес. Военком кричал не на Колю и не на кого-то конкретного, а на того, кого не знал, и потому кричал.

– Не знаешь? – военком перешел на шепот. – Ну вот и я не знаю... – теперь он улыбался и, склонив голову к столу, заглядывал снизу в Колины глаза. – А помнишь, как мы на параде шли? На Красной площади... Ты не шел, а я шел. “Здравствуйте, товарищи артиллеристы!” “Здравия желаем, товарищ Маршал Советского Союза!” “Поздравляю вас с пятьдесят третьей годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции!” “Ура-а! Ура-а! Ура-а!” Вся планета, вся планета замирала, когда мы “ура” кричали... А ты знаешь, что у нас этой весной сорок три процента набор... Сорок три! А из них тридцать – недотыки дефективные... Значит, тринадцать осталось, чертова дюжина. Ну, эти навоюют, эти защитят! От кого? Да от кого угодно! Эстонцы эти, чудь белоглазая, пойдут завтра, и мы за Урал побежим и будем там сидеть, дрожать, лапки задравши! Нас ведь сейчас голыми руками, голыми руками бери – и не пискнем. Была армия – и нет армии! Была страна – и нет страны... Был... и нету...

На пустынной дороге “жигуль” резко обогнал велосипедиста и, взвизгнув тормозами, перегородил ему путь. Подросток остановился, ступив одной ногой на асфальт, и испуганно смотрел на идущего к нему неизвестного в черных очках. Тот шел спокойно. Цокали подковки на каблуках его ковбойских сапог. Он подошел к подростку и коротко и брезгливо ударил ладонью по щекам дважды и приказал:

– Поставь туда, где взял.

Военком нервно ходил по кабинету. Остановился, закурил папиросину, глубоко затянулся и вдруг закашлялся – тяжело и пьяно. Когда кашель отпустил, он поднял на Колю полные слез глаза:

– А этот... застрелиться не мог... Просто застрелиться! Опозорил, на весь белый свет опозорил! – военком плакал. – Это же хуже, чем в русско-японскую, хуже, чем финны нам врезали... Это же честь. Честь! У офицера нет ничего дороже чести! Сперва честь! Потом Родина. Потом жизнь... – И, стоя рядом с Колей, военком вдруг медленно опустился перед ним на колени. – Не медаль тебе, а расстрелять! Перед строем... Это было бы лучше. Для всех лучше. И для тебя...

И вдруг военком погас, из него ушла куда-то его ярость и все, что только что било из него фонтаном. Опершись о пол ладонью, он тяжело поднялся, вытащил из кармана галифе большой смятый платок, стал вытирать слезы и громко сморкаться.

Коля поднялся и пошел к двери.

– Стой! – вновь окликнул его военком.

Коля остановился, повернулся. Он тоже выглядел измученным. Военком быстро подошел к нему, обнял вдруг крепко и поцеловал в губы. Посмотрел в глаза, опустил голову и пробормотал виновато:

– Прости, сынок...

Коля вышел из военкомата и сел на велосипед, стоявший точно на том же месте.

– Та-ак, – протянул неизвестный, вытащил из-под мышки пистолет системы “ТТ”, положил рядом с собой на сиденье и повернул ключ зажигания.

Но машина не завелась. Еще и еще раз повернул, но безрезультатно. Коля уезжал все дальше и дальше.

– Та-ак, – повторил неизвестный, успокаивая себя.

Громко и зло хлопнув дверью номера, широко и быстро шагая, неизвестный шел к дежурной, которая сидела напротив лестницы и пила чай.

– Так! Дайте мне стакан! – потребовал неизвестный у дежурной.

Серая, жалкая, в каком-то больничном халате, она смотрела снизу жалобно и испуганно.

– Нет у нас стаканов, гражданин, я же вам уже говорила...

– А чашки?

– И чашек нет... Сами видите, из чего пьем.

И она показала, из чего пила она – из майонезной баночки.

– Так, – сказал неизвестный, глядя на стол в своем номере, голосом серым, унылым. Там стояла бутылка коньяка, открытая банка килек в томате, был нарезан сыр и хлеб. Чуть в стороне стояла пустая майонезная баночка. Неизвестный вдруг схватил ее и в бешенстве, изо всей силы швырнул о стену. Она разлетелась на множество мелких осколков, усеяв ими кровать и пол.

Это его успокоило. Быстро и деловито он взял бутылку, сорвал на ходу пробку и вдруг вылил половину коньяка в раковину. Поставив бутылку на стол, неизвестный осмотрел подушку, оторвал от нее завязку, достал из кармана зажигалку, открыл ее, помочил завязку в бензине, обвязал ее вокруг бутылки посередине и поджег. Внимательно и терпеливо он смотрел на пламя, и когда огонь почти догорел, быстро сунул бутылку под струю холодной воды. Цокнув, бутылка разделилась надвое. Неизвестный бросил горлышко в мусорную корзину, а в руке его был теперь стакан с коньяком. Чистым, аккуратно сложенным платком неизвестный обтер край стекла и отхлебнул коньяк.

Он уже выпил и закусил, а теперь ходил взад-вперед по номеру и читал книжку, читал и хохотал. Хохотал так, что не удержался и плюхнулся на кровать. Почувствовав задом осколок стекла, неизвестный вытащил его из-под себя, бросил на пол и перестал вдруг смеяться, окаменел. На колене его лежала книжка. Это был “Новый Завет” – дешевое миссионерское издание с изображением креста на обложке.



Тетка Соня разложила на траве полотенце и теперь выставяла на него выпивку и закуску. Деревенское кладбище было небольшим и даже уютным – среди берез и елей.

Федька налил в стакашек водку и поставил на ухоженную могилку, тетка Соня положила конфеты, печенье и яйца.

В молчании Федька налил водку еще в два стакашка и один протянул матери.

– Давай, мам...

– погоди, а Кольке? – остановила его тетка Соня.

– А он не будет, – равнодушно ответил Федька.

– Ну как это, отца не помянет? Наливай, наливай, – скомандовала мать.

Федька усмехнулся и, налив в третий стакашек, протянул его брату. Коля молча взял его.

Тетка Соня громко и горестно вздохнула:

– Ну, давайте помянем отца... Радость у нас, отец... Говорил ты, Колька вернется, вот он и вернулся! А ты вот... – слезы набежали на ее глаза, но она проглотила их, запив водкой.

Федька выпил свою, когда мать еще говорила, а Коля не поднес даже и к губам и хотел было поставить, но мать остановила:

– Нет уж, нет, сынок, выпей, помяни отца...

– Я не буду пить, мама... – спокойно ответил Коля.

– Я же говорил, – усмешливо вставил Федька. – Я этих мусульман знаю, повидал на зоне. Он еще из отдельной посуды будет питаться, вот увидишь. Ему с нами запаadlo... Вот я сейчас сало буду есть, а его стошнит, гляди, – Федька сунул в рот ломоть сала и стал есть, чавкая и кривляясь...

Но Коля на него не смотрел. Он смотрел на мать, и глаза его умоляли не продолжать.

– погоди, сынок, – продолжила как-то сразу захмелевшая тетка Соня. – Думаешь, я не понимаю ничего? Думаешь, совсем толкушка бестолковая? Мы когда комбикорм этот чертов с Федькой приперли, я всю ночь потом проплакала. Не из-за тебя, сынок, не из-за обиды... А из-за жизни этой чертовой!.. стыдно ведь! всю жизнь ворую и всю жизнь – стыдно! стыдно! А не воровали б – не выжили! Отец в лесничестве работал, лес воровал, так и построились. И кровать, на которой вас родила, тоже из ворованных досок! Жизнь такая, что поделаешь... Ну а это-то? – она указала на рюмку. – Скажешь, у вас в Афганистане водку не пьют, обычай мол такой. Уважаю! Вообще б ее, заразы,



не было – одно горе от нее, но на поминках три рюмки выпить требуется. Тоже обычай. Только наш. Ты их уважаешь – хорошо! Ну так и нас уважь!..

Коля молчал. Голова его была опущена, и рука с рюмкой стала опускаться – он хотел поставить рюмку на полотенце, но тетка Соня вдруг резко и зло стукнула его снизу по руке, и водка выплеснулась Коле прямо в лицо. Федька хрипло засмеялся.

– Что, стерпел твой Аллах? – спросил он.

Коля вытер лицо, поднялся и быстро пошел к кладбищенским воротам.

– Я с тобой поговорю сегодня, понял! – пообещал ему в спину Федька.

Коля сидел на ступеньке крыльца, выстругивал ножом какую-то деревяшку, видно, для ремонта прялки, потому что сама сломанная прялка стояла рядом. Когда он услышал, как во двор вошел Федька, напевающий эзковскую песенку, то руки у него сами по себе опустились.

Федька был пьян, но выпито им было ровно столько, сколько нужно для прибавления силы, злой и не чувствительной к боли, ни к своей, ни к чужой, и ни капли сверх того, когда эта сила начинает идти на убыль. Подойдя близко и улыбаясь, он сказал почти дружелюбно:

– Встань, что ли... Или вас там не учили старших братьев уважать?

Коля поднялся.

– А нож нам не нужен пока, – Федька взял нож из безвольно опущенной руки брата и отбросил в сторону. – Ну что, начнем? – спросил он и резко, коротко и точно ударил Колю в печень.

Коля глотнул воздух, вытянулся, побледнел, по лицу его пробежала судорога, по шее катнулся кадык – он с трудом сдерживал накатившую вдруг рвоту. Федька смотрел на Колю с интересом естествоиспытателя.

– Ну что, попал? – спросил он и сам же ответил удовлетворенно, – попа-ал!

Коля резко отвернулся к стене.

– Э, не сюда! – воскликнул Федька, схватил Колю за шкуру и потащил в огород.

Коля стоял, согнувшись, обессиленный рвотой, Федька за его спиной деловито и задорно поглядывал по сторонам. Глянув на землю, он удивился:

– А ты чего, Колян, траву там жрешь? А я думал – молишься! Ну ладно, давай, – он помог брату выпрямиться и вдруг резко и сильно ударил его ребрами ладоней по почкам.

– Ай! – вскрикнул Коля, прогибаясь и хватаясь за поясницу.

– Тихо! – приказал Федька, схватив его пятерней за горло.

Во дворе скрипнула калитка, и осторожно, чтобы не расплескать воду, вошла тетка Соня с тремя ведрами – два висели на коромысле и одно, поменьше, с длинной веревкой – в руке.

Федька шел навстречу, обнимая и поддерживая почти не стоящего на ногах брата.

– Во, мам! Видала? – закричал Федька весело. – С нами пить не стал, а сам нажрался! Обблевался весь, как свинья!

Тетка Соня переводила удивленный и встревоженный взгляд с одного сына на другого, ничего пока не понимая.

– Дай, мам, холодненькой, – Федька взял у нее маленькое ведро, попил через край и протянул брату.

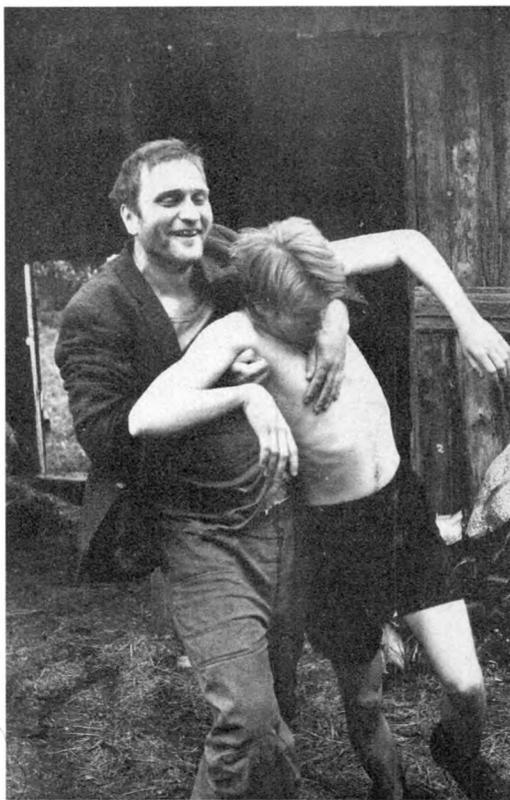
– На, мусульманин, пей! – сказал он насмешливо и дружелюбно.

Коля взял ведро и долго пил, проливая воду на грудь.

Федька смотрел на него с неподдельным интересом.

– Во, мам, дает! – подмигнул он матери.

Остатки воды Коля вылил себе на голову.



Федька загыгыкал, и тетка Соня улыбнулась – она начинала верить, что Коля действительно пьян. Федьку так разобрал смех, что он даже согнулся в поясе, и когда Коля вдруг сильно и плотно насадил ему на голову ведерко, он не сразу понял, что произошло.

– У! – прогудел он глухо, выпрямился и поднял руки, чтобы снять ведро.

Но Коля уже вырвал с треском из забора штакетину и, размахнувшись, из-за головы, двумя руками, что было сил, обрушил ее на братаву голову. Федька не упал, но сильно присел в коленях. Второй удар был сбоку, справа, и Федька на полусогнутых, боком, по-крабьи заторопился влево. Но такой же удар слева остановил его и вернул на то же самое место, где случился удар сверху.

– Коля! – закричала тетка Соня, сбрасывая на землю коромысло и ведра, и кинулась к нему.

Коля отбросил кол и виновато посмотрел на мать.

Мотая головой, с трудом Федька стащил с головы помятое ведерко и теперь стоял с



– Водка, спирт? – поинтересовался Колин крестный, наливая жидкость в стакан.

Федька не ответил.

– В Мукомолове, слышал, четверо от спирта каюкнулись? – спросил Колин крестный и выпил залпом, задохнулся от спирта, крикнул и одобрил: – Райское наслаждение!

– Убить не убью, но покалечу, – мрачно сказал вдруг Федька.

– Да ну его, Федь, связываться!.. – попробовал он успокоить Федьку.

– А может, и убью, – предположил Федька. – Но тогда уж точно зеленкой лоб намажут...

– А то?! И надо тебе?

Федька повернулся к Колиному крестному.

– Дядь Вань... Если увидишь, что я его убивать начал, кричи: “Федька – вышка!” Понял?

– Да ну его к черту, Федь! – в сердцах воскликнул Колин крестный. – Он же одичал там! Дикий! Одно слово – мусульманин!

И он замолк вдруг, прислушался. И Федька тоже прислушался. Издалека, с крутояра доносился сюда жалобный и призывный распев утренней молитвы.

– Бисми ллахи р-рахмани р-рахим
Ал-хамду лилахи рабби-л-алямина
р-рахмани р-рахими
малики йауми д-дини.

Коля постелил коврик на мокрую от росы траву и истово, страстно молился, кричал слова молитвы в голос, жаловался Аллаху, призывал его к себе в помощь. И над бескрайними русскими просторами неслись чужие слова чужой молитвы:

– Ийка на’абуду ва ийака наста’ину
ихдына с-сырата-л-мустакыма
сырата ллазина ан’амата алайхим гайри
л-магдуби алайхим ва ла д-даллин.

В убогом гостиничном номере сидел на кровати, откинувшись к стене и неотрывно глядя на противоположную стену, неизвестный. Там была приклеена маленькая, вырванная из газеты, фотография Коли в момент передачи его нашим властям. Не отрывая взгляда, неизвестный протянул руку к тумбочке, выдвинул ящик, в котором рядом лежали Евангелие в мягкой обложке и пистолет “ТТ”

ободранной рожей и налитыми кровью глазами и сжимал кулаки. Но, опережая, Коля подбежал к нему, на ходу занеся кулак за спину, и ударил точно в середину лица. Федька взмахнул руками и, опрокинувшись, исчез в зарослях смородины.

Утренний туман рассеивался. Федька сидел на лавочке у своего дома. Рядом стояла бутылка, а в ней немного водки, и стакан. Федька был хорош: лоб, щеки, уши были в частых вертикальных царапинах, а нос цветом и размером напоминал приличную помидорину. Федька был мрачен. Звякнули в тумане бидоны – Колин крестный остановил лошадь, подошел деловитой походкой, будто не замечая ни бутылки, ни Федькиного носа, ни самого Федьки, сел рядом и заговорил заинтересованно:

– Ты заметил, ездит один на “жигулях” в темных очках... Высматривает все...

– Менты... Меня секут, – равнодушно махнул рукой Федька и предложил почти раздраженно: – Наливай, чего сидишь... Только мне оставь.

в мягкой подмышечной кобуре. Неизвестный медленно поднял пистолет, держа его левой рукой, выцелил Колю и стал медленно давить на спусковой крючок...

Глухо прогремел выстрел. Коля вздрогнул. Где-то закричали, снимаясь, вороны. Коля стоял у берега реки с сеткой, натянутой на проволочный круг, – он ловил рыбу.

– Испугался, раб Божий? – услышал он вдруг с противоположного берега речки Веркин насмешливый голос. – Это дачники ворон пугают. Ну что, много наловил?

Она выглядывала улыбаясь из-за густой листвы, одетая в телогрейку и брезентовые брюки, на ногах ее были высокие резиновые сапоги, а на руках – черные резиновые перчатки.

Коля заглянул в мокрую холщовую сумку на груди и смущенно признался:

– Мало...

– Да ее тут всю потравили! Иди, отдохнем!

И пока Коля шел через быструю воду к ней, она рассказывала смеясь:

– Тут три года назад, без тебя, зимой, такое было! Там какой-то завод заразу в воду выпустил, и рыба вся сюда, в нашу речку как поперла! Сплошняком шла! Мешками тащили! Рыбнадзор понаехал, милиция! Мы ее в снег прятать! Всю зиму рыбу лопали, до тошноты...

В кустах заливались соловьи. Верка и Коля сидели на траве под деревом. Рядом стояла корзина с крапивой, а сверху – серп.

– Фу, запарилась! – Верка расстегнула телогрейку, под которой была лишь прилипшая к телу белая футболка, сквозь которую были отчетливо видны маленькие налитые груди и розовые соски.

Верка протянула сигареты, но Коля помотал головой и отвернулся. Верка закурила, выпустила дым и прокомментировала ситуацию:

– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, так, да?

Она засмеялась, но Коля ее не слышал, улыбался.

– Эй, раб Божий! – окрикнула его Верка. – Ты чего?

– Соловьи, – объяснил Коля.

– Знаешь, как твой крестный говорит, когда поют они? Пули льют. А их там, в

Афгане, не было, что ль?

– Были, но не пели. Они же здесь гнездятся...

– А, понятно... Вот и нам бы так, да? Только чтоб вообще сюда не прилетать...

Слушай, а как будет по-афгански соловей?

– Такого нет языка, афганского.

– Ну ты там на каком калякал?

– На фарси.

– На фарси, на марси, вот я и спрашиваю.

Как – соловей?

– Буль-буль.

– Как-как?

– Буль-буль.

– Буль-буль! – повторила Верка и залилась смехом, даже на спину упала. – Буль-буль! А как будет – сигарета?!

Коля вздохнул и нахмурился. Он не хотел переводить это слово. Верка заметила это и забеспокоилась.

– Чего, дыма не переносишь? Так бы сразу и сказал.

Ловким щелчком она отправила окурочек в речку, и он поплыл в быстрой воде.

– Слушай, а как будет – вода?

– Об.

– А... земля?

– Замин.

– А... глаза?

– Чашм.

– А руки?

– Даст.

– А губы?

– Лаб.

Верка лукаво улыбнулась.

– А как сказать – я тебя люблю?!

Коля покраснел вдруг и опустил глаза. Верка засмеялась, глядя на него, но тоже смутилась.

– Коль, ну ты – красная девица, в натуре! Я просто коллекционирую. Гляди, я по-английски знаю: “Ай лав ю”, да? По-французски: “Же ву зем”, по-немецки: “Их либе дих”... И по-татарски, у меня подружка татарка: “Мин сун яратам”. Коль, Коль, а по-китайски знаешь как? Не знаешь? “Сунь и вынь”... – Верка захихикала.

– Колька! – донесся с высокого берега зычный голос тетки Сони. – Есть иди! Ну ее, эту рыбу, на хер!

Они сидели рядом в грязном, гулком, почти пустом кинотеатре. Сеанс еще не начался. Лузгая семечки, в зал входили

подростки и косились на Верку – кроме нее, женщин в зале не было. Сзади в последнем ряду сидел неизвестный в черных очках.

Верка грызла семечки, сплевывала шелуху на пол и без умолку говорила.

– Слышь, Коль, а я б никогда не подумала, что ты можешь Федьку отмудохать. Никогда! А с чего вы завелись-то? А то в деревне разное говорят...

Коля нахмурился и отвернулся.

– Ладно-ладно, пожалел... – засмеялась Верка. – Пожалел, да? Он тебя тут не жалел. Он меня, знаешь, как доставал? Один раз встретил около клуба ночью... “Верка, дай!” А я говорю: “С какой стати? С какой стати я тебе давать должна?” “А ты с моим братом Коляном ходила?” Я говорю: “Ну, ходила...” “Он в Афгане без вести пропал – значит ты теперь моя по закону”. А я говорю: “Я такого закона не знаю...” Он говорит: “Все равно дашь, куда ты денешься”. А я говорю: “Ты... я скорее пьяному скотнику у себя на ферме дам, чем тебе”.

Свет уже погас, шли титры фильма.

– Девушка, можно потише, – предельно вежливым тоном попросил сзади мелкий мятый мужичонка.

Верка резко обернулась и деланным противным голосом ответила:

– Сам заткнись, понял!

Повернувшись к Коле, она продолжила свое повествование:

– А он говорит: “Что?!” А я говорю: “Что слышал. Таких, как ты, от Москвы до Ленинграда раком не переставить”. Ну, в общем, еле вырвалась... Ладно, давай кино смотреть, – она повернулась к экрану – вся внимание.

Картина была не наша. Что-то из старинной жизни.

Коля не смотрел на экран, а косился на Верку. Когда она молчала, она была так хороша. Ее ладонь лежала на подлокотнике, светясь в темноте и маня. Коле очень хотелось взять ее ладонь в свою, но он не решался.

– Гля-гля, щас трахаться будут! – прошептала Верка и сжала Колину ладонь.

Она оказалась права. Старинные наряды были сброшены, и смачные звуки любви загуляли по гулкому, пыльному залу.

– Круто, да? Я уже третий раз смотрю! – поделилась Верка.

Коля опустил голову, на лбу его

выступила испарина.

– Вер, пойдем отсюда, – попросил он, не поднимая глаз.

– Да ты чего? – удивилась Верка.

– Если хочешь, смотри, я тебя на улице подожду, – предложил он.

Увлечшись фильмом, неизвестный проглядел, когда они вышли из зала.

И теперь он метался у кинотеатра, высматривая их среди множества людей, идущих по воскресной улице.

Они шли по людной улице к набережной.

– А ты что, в кино там не ходил? – допытывалась удивленная Верка.

– А там нет кино... Это маленький кишлак в горах...

– А что ты там делал?

– Работал... Книги читал... Бобо Амриддин объяснял мне Коран.

– Кто?

– Дедушка Амриддин...

– А ты у него в рабстве был, да? Он тебя купил, в деревне говорили.

– Не купил, а выкупил. Меня расстреливать вели, а он на осле мимо ехал.

– На осле? – Верка засмеялась. – А зачем ты ему был нужен?

– У него сына убили.

– Кто? Наши?

– Да. Его звали Абдалла...

Гремел гром, сверкали молнии, и лил проливной дождь. Верка и Коля бежали по деревне, мокрые до нитки, жалкие и смешные, и, взглядывая друг на друга на ходу, хохотали. Это была еще не их деревня, а соседняя, где на краю стояла деревянная церковь. Калитка была открыта, и они вбежали за ограду, поднялись по ступенькам под просторный навес крыльца. Верка тихо смеялась, отжимая одной рукой волосы, а другой отлепляя от тела прилипшее платье. Коля сел на лавочку, оробев вдруг. Из открытых дверей храма доносилось пение. Это был хор, небольшой и состоящий исключительно из высоких старушечьих голосов, немножко смешных. И пели они тоже немного смешно – по-застольному вытягивая окончания фраз.

Мелко семеня, к церкви бежала, укрывшись мешковиной, старушка.

– Во, гляди, шпарит! – с азартом

прокомментировала Верка. – Это еще что! Зимой на работу идешь утром, мороз тридцать градусов, темно, снегу навалит, а они ползут... согнутся и ползут... Даже зло берет! Ну, сидели бы дома в тепле, помирать ведь скоро...

Старушка остановилась у открытой двери, перекрестилась, сняла с головы мешковину и вошла в церковь.

У Верки вдруг загорелись глаза.

– Слушай, пошли поглядим, а? Ну пошли, чего ты? – она тянула Колю за руку, неуверенного, даже испуганного. – Тут поп, а с него умираю! Знаешь, кто? Мишка Матвеев, он с твоим Федькой в одном классе учился. А теперь поп, представляешь!

Они остановились сразу, как вошли, и первой их увидела стоящая к ним лицом псаломщица. И глядя удивленно на Колю, она вдруг стала сбиваться и замолчала. И хор вдруг запел раздрызганно и замолк. Стоящие к ним спиной старушки стали оглядываться и, глядя на Колю, перешептываться.

Отворилась алтарная дверь и, по-домашнему деловитый и озабоченный, вышел батюшка – полноватый, лысоватый, с добрыми глазами. Мельком глянув на Колю и Верку, он посмотрел удивленно на псаломщицу и запел красивым сильным голосом. Псаломщица подхватила, за ней выстроил голоса хор, прихожанки повернулись к алтарю, крестясь, – служба продолжилась.

Ночь Верка тихо вышла из своего дома, прошмыгнула через улицу, пригибаясь, побежала огородами к речке, быстро перешла узкий и опасный мосток, страшась ночи, промчалась по неширокому полю и остановилась, запыхавшаяся, у небольшого озера за древними и словно живыми в темноте ветлами.

Глянув по сторонам, она быстро разделась догола и, сутулясь и осторожно ступая, пошла к воде. Ойкнула, опустив ногу в воду, поежилась и решительно кинулась вперед. Быстро доплыв до середины, она вдруг приподнялась над водой, подняв руки, и быстро пошла ко дну. Однако скоро вода вытолкнула ее наверх. Набрав в легкие воздух, она повторила свой маневр с тем

же результатом. А в третий раз хлебнула воды, закашлялась и запаниковала, чуть не начав тонуть.

– Мамочка... – пробормотала Верка сдавленно и испуганно.

И по-собачьи поплыла к берегу.

Она бежала обратно, одеваясь на ходу.

– Черт! Дура! Вот дура-то! Чуть не утонула! Дура – дура и есть. Черт...

Федька был после бани – распаренный, потный, довольный. Он стоял в проеме двери и смотрел на брата насмешливо и снисходительно. Коля стоял на табуретке под злосчастным крюком и пытался его вытащить.

– Слышь, – заговорил Федька, – оставь его. Может, тебе еще пригодится. Иди в баню-то...

Коля спрыгнул с табуретки, стал собираться в баню.

Федька выпил в несколько глотков литровую банку молока, громко рыгнул и, кривясь в усмешке, спросил:

– А ты чего это в баню вместе со мной не ходишь? Залупу обрезанную прячешь? Не жалко было! А?

Коля будто не слышал, продолжая собираться.

– А знаешь, как тебя бабка Маня назвала? Христопродавец! Таких, как ты, четвертовали раньше. Эх, Колян, Колян, был парень как парень, русский, нормальный, а стал... чучек, чурка с глазами... Воешь на всю округу "Ала-мала". Над нами уже вся деревня смеется... – Федьку заводило то, что Коля никак не реагировал на его слова, и он все больше наливался злостью. – Эй ты, Абдула, слышь? Вот и сидел бы там, в своем чуркистане!.. Нам ведь вдвоем с тобой здесь не жить! Ты еще не понял?

Коля уже шел к двери, уже открыл ее, когда Федька сказал последнее:

– И тебе не поможет твой вонючий Аллах...

Коля бросился назад, вцепился с разбега в брата, и они повалились на пол...

А в магазине, между тем, было полно баб и среди них тетка Соня. Все слушали женщину, которая первой встретила вернувшегося Колю.

– Я же говорю – дочка книжку читала, а мне рассказывала, – обиженно говорила она,



обращаясь к смеющейся продавщице.

– Ну ладно, а дальше-то что было? – торопили ее бабы.

– Дальше, – не заставила она себя уговаривать, – дальше приходит Мосальберто...

Продавщица снова засмеялась:

– Да не Мосальберто, тетя Дунь!

– А кто ж, Мосдиего, что ли? – обиделась рассказчица.

– Дон Альберто!

– Тьфу ты! – плюнула тетя Дуня.

Тут уже все засмеялись, но распахнулась дверь, и в проеме остановился Колин крестный, почему-то закрывая ладонью один глаз. Увидев тетку Соню, он закричал с угрозой:

– Сонька! Лясы точишь? А сыновья там насмерть убиваются!

Напротив дома Ивановых, который сотрясался от ударов изнутри, собрался народ. Бабы качали головами и прижимали ладони ко рту. Мужики курили и переговаривались. В одном из окон зазвенели стекла и начала трещать рама – кажется, Федька вдавливал в нее Колю.

– О-о-ой! О-о-ой! – привывая, тетка Соня вбежала в дом и попыталась вклиниться между окровавленными, в разорванных в

полосья рубахах сыновьями, но кто-то из них двинул ее локтем, и она отлетела в сторону, упала тяжелым кулем и осталась лежать неподвижно.

– Ой, мать родную убили! Соньку убили! – заголосила какая-то баба, но братья ее не слышали.

Стекла одного из окон вылетели вместе с рамой, а следом вылетела тумбочка. Мужики покачивали головами.

– Мужики, совести у вас нет! Разнимите! Убьют же друг дружку, братья ведь! – совестила их тетя Дуня. – Вань!

– Я уж разнимал, – отказался крестный и показал подбитый свой глаз.

– Разнимешь, а Федька зарежет потом, – высказался стоящий рядом мужик.

– А этот лучше что ль? Хаджи-Мурат настоящий, – сказал Колин крестный.

– Эх! – махнула рукой тетя Дуня и двинулась к дому.

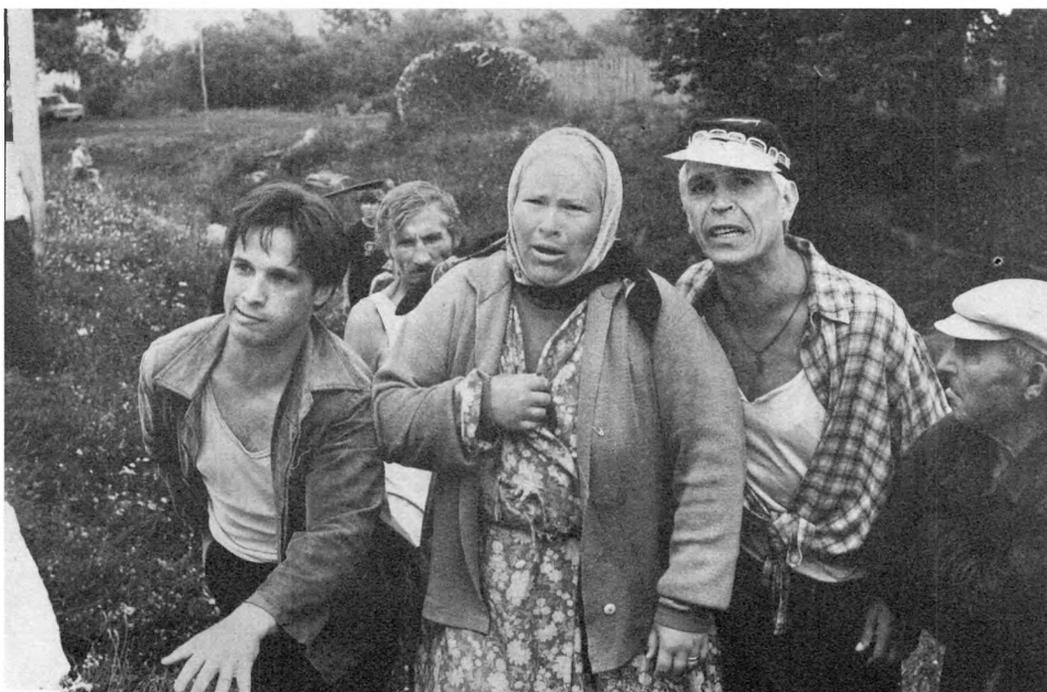
Колин крестный схватил ее за руку:

– Кричи “Вышка”, поняла? “Вышка” – кричи, тогда перестанут.

– Вышка, вышка, – повторяла тетя Дуня кивая и устремилась к дому.

Но, вбегая в дом, споткнулась, замялась, вспоминая слово, и закричала истошно:

– Башня!



Как был, в разорванной одежде с разбитым лицом, Коля спал, съжившись от ночной прохлады, лежа на сосновой хвое, в маленькой сосновой рощице, что росла на крутояре рядом с местом его молитв. Коле снился плохой сон. Ему снилось, что на него ползет танк. Он не видел танка, но слышал его. Слышал, как, перекатываясь, гремят и скрежещут стальные звенья гусениц, как, чадя, выстреливает сожженной соляровкой мотор. Коля открыл глаза. Звуки не пропали. Он сел. Танк приближался, он двигался прямо на него. Коля испуганно вскочил, завертел головой. И только теперь увидел. Это был гусеничный трактор с включенными фарами. Из него выскочил мужик с топором и, выбрав сосенку поровней, поглядывая воровато по сторонам, стал ее рубить.

На Колином лице возникло смятение и беспомощность. Он побежал к деревне.

Окна всех домов были темны. Кроме Веркиного. Там даже музыка играла – рок, по телевизору. Коля постоял под окном, прислушиваясь, и постучал. Постучал еще, громче. Занавеска отодвинулась. Веркины глаза сделались круглыми.

– Кто, Верк? – услышался в доме старушечий голос.

– Кто-кто... Хрен в пальто! – крикнула Верка раздраженно и побежала открывать.

Коля вошел за ней следом в дом. Здесь, на свету, были видны синяки на его лице. Верка разглядывала его разбитое лицо. Коля отвернулся.

– Ничего, ты б Федьку видел... – успокоила она. – Я пришла, а он под одеяло спрятался, думал ты... Боится! Все! Кончилась Федькина власть!

– Можно я у тебя переночую? – Коля обессиленно опустился на табуретку.

Был он бесконечно усталым, измученным. Занавеска над печкой зашевелилась и отодвинулась. Там лежала на боку древняя старуха и с интересом смотрела на Колю. Он поднялся, улыбнулся, проговорил приветливо:

– Здравствуйте, бабушка!

Бабушка смотрела на Колю неподвижно и удивленно.

Верка подскочила к печке и крикнула старухе в лицо:

– Ба!

– А? – откуда-то издали отозвалась старуха.

– Помрешь когда?! – привычно срифмовала Верка и задернула занавеску.



Глянув на Колю уже совсем другими глазами, она пожала плечами и сказала тихо:

– Ночуй, конечно. Хочешь, на полу, а хочешь... – она показала на свою высокую железную кровать.

– Я на полу...

– Да где хочешь, хоть в курятнике, – согласилась Верка. – Все равно завтра скажут, что я тебя... – и, глянув с раздражением на орущий телевизор, дернула за шнур.

В комнате было темно. Коля лежал на полу и смотрел в потолок. Верка лежала на кровати и смотрела на Колю.

– Коль, – зашептала она, – можно я с тобой ляжу?.. Полежу, и все... Мы же с тобой до армии лежали так, и ничего не было...

Коля не отвечал. Верка поднялась. Она была в коротенькой белой комбинации. На цыпочках она подошла к нему, легла рядом под серое суконное одеяло.

– Помнишь? – спросила она.

Голос ее дрожал.

– Да...

– Колька, Колька, знаешь, как я жалела, что ты меня до армии не взял! – зашептала Верка, подаваясь к нему, но не решаясь дотронуться. – Ты не думай, Коль, я ждала тебя, еще как ждала! А потом... Фигня одна получилась... Но разве это главное, правда, Коль? Не в этом же дело! Я же все равно тебя... А потом... когда из военкомата приехали, сказали, что ты без вести пропал... Что тут было! Я тоже в город поехала, напилась, думаю: пропади все пропадом! Ну и пошло, поехало...

Неподвижно и не мигая Коля смотрел в потолок.

– Да не так уж их и много было, мужиков этих, если разобраться. Коль, а денег я не брала, никогда не брала, не верь!

– Спи, Вера, – попросил Коля, громко вздохнув.

– Спи, – повторила Верка и тоже вздохнула. – Дай мне руку... Ну дай, не бойся... Холодная, как лед... Ну, а ты-то там? Небось танец живота тебе исполняли? Были у тебя там телки-то?

Коля молчал. Верка приподнялась, внимательно глядя в его глаза.

– Колька! – зашептала она. – Так ты мальчик еще? Маленький мой... Миленький мой, Коленька... – она обняла его, прижалась всем телом.

Коля лежал неподвижно и не моргая.

– Маленький мой, миленький мой... – шептала Верка, часто целуя его щеку и ухо.

– Нет! – крикнул вдруг Коля.

Вскочил и зажег свет. Был он смешной, всклокоченный, в майке и черных трусах.

– Ты чего? – спросила вдруг Верка испуганно и обиженно.

Коля сел на табуретку.

– Я не хочу так... Понимаешь, не хочу – так... – сказал он с мольбой во взгляде.

Верка села.

– А как?.. Все так... – она пожала плечами.

– Я хочу... чтобы мы... поженились...

– Поженились? – не поверила своим ушам Верка.

– Мы поженимся, и тогда у нас будет... это... – продолжал Коля, не глядя на Верку, а глядя куда-то вверх. – А потом от этого будут дети, и ты будешь растить их. А я вас буду кормить. Я буду ходить на работу и приходиться с работы. А вы будете провожать меня и встречать.

Верка медленно закрыла глаза, но



ресницы часто дрожали, потому что наружу пробивались слезы.

– А когда они вырастут и у них будут свои дети, а мы станем старыми, старший сын возьмет нас к себе. И от него мы будем ездить ко всем остальным, и все будут уважать нас... и любить...

– И похоронят рядом? – сдавленным чужим голосом спросила Верка.

– Конечно! – воскликнул Коля. – Ведь мы и на том свете вместе будем.

– А это видел! – закричала вдруг Верка, вскакивая и показывая Коле руку от локтя. – Меня в ад! Я туда давно записалась!

Стуча голыми пятками о половицы, она подбежала к кровати, села, бросила ладони на широко расставленные ноги и смотрела на Колю насмешливо-вопрошающе.

– Аллах милостив, милосерден... – тихо проговорил Коля.

– Заколебал – Аллах, Аллах! – снова закричала Верка, вскакивая. – Это у вас Аллах! А у нас Бог! Христос! И еще там святые всякие! Понял? Абдула...

Коля улыбнулся и тихо, спокойно заговорил:

– Аллах – это только имя. Имя Бога... Бог один... А имен у него много...

– Много... А какое ж – настоящее? –

Верка была удивлена.

– А настоящего имени пока никто не знает... А когда оно откроется, Его позовут, и Он придет... И тогда все станет по-другому... Хорошо... Правильно... Понимаешь?

Верка удивленно и растерянно спросила:

– А... когда это будет?

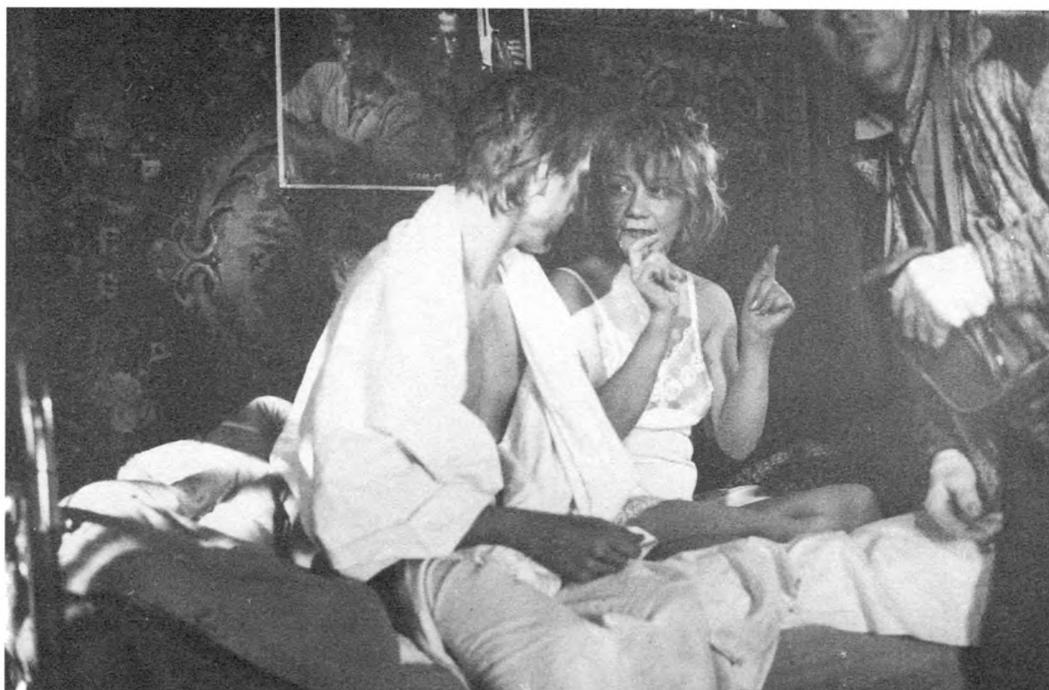
– Этого тоже никто не знает... Но это будет. Обязательно будет.

Был полдень, и было жарко. Незнакомый остановил машину у крохотного озера, в котором однажды ночью купалась Верка, а теперь плескались у берега двое детей. Впрочем, они уже накупались до посинения и теперь вылезали из воды. Это были девочка и мальчик, и неизвестный смотрел на них с улыбкой. Девочка нахмурилась, сказала что-то мальчику. Тот надел очки и, натягивая на ходу джинсы и яркую футболку, направился к машине. Судя по всему, это были столичные дети, привезенные к бабушкам и дедушкам на каникулы.

– Отвернитесь, пожалуйста, – вежливо попросил мальчик.

– Не понял? – удивился неизвестный.

– Ей трусы надо выжать, – серьезно объяснил мальчик.



– А! – неизвестный торопливо отвернулся.

– Вы делаете очень много ошибок, – строго и серьезно сказал вдруг мальчик, глядя в затылок неизвестного.

– В каком смысле? – вновь удивился неизвестный.

– Не поворачивайтесь! – потребовал мальчик. – Черные очки не скрывают вас, а, наоборот, привлекают внимание. И если не можете менять машины, меняйте хотя бы номера.

– Все! – звонко крикнула девочка.

Неизвестный медленно повернулся, снял очки и ошалело посмотрел на мальчика. Тот был серьезен и строг.

– Вы в каком чине?

– Ну, майор, – обижено и виновато ответил неизвестный.

– А ведете себя, как лейтенант.

– Все! – звонче и громче повторила девочка.

Она уже шла от озера к полю.

– Подумайте, майор, подумайте, – сказал мальчик и побежал к девочке.

– Если вздумаете здесь купаться, будьте осторожны! Это – Бучило! – крикнула вдруг девочка. – Тут глубина немеренная, столько народу потонуло, ужас! Тут даже церковь

утонула, она на дне стоит...

Мальчик подтвердил правоту слов девочки кивком головы.

– Она на середине стоит. Кто до нее, до маковки достанет, тот заново родится. Но пока никому не удавалось – только тонули.

Мальчик вновь кивнул.

Дети уходили. Неизвестный хлопнул себя ладонью по лбу и захохотал.

Неизвестный закрыл одежду в машине, разбежался и красиво, ласточкой, вошел в воду. Вынырнув на середине, он набрал воздух в легкие и вновь скрылся под водой. Его не было долго, слишком долго, и если бы кто-то стоял сейчас на берегу, то наверняка бы запаниковал, но на берегу никого не было, кроме пестрой коровы, забредшей по колено в воду. Он выскочил на поверхность пробкой, дыша громко и лихорадочно, и вновь скрылся под водой. Теперь он вынырнул скорее, кашляя и хрипло дыша, лег на спину и поплыл к берегу, отдыхая. У берега неизвестный вывернул из ила большой белый камень и тяжело, с напряжением поплыл на середину Бучилы. Сделав несколько частых и глубоких вдохов, он пошел на дно с камнем в руках...



– А-а-а! – закричал он победно, выныривая и держа в поднятой руке ком черной донной грязи. Увидел стоящую у берега корову, швырнул в нее и попал, корова испуганно побежала прочь – с черной отметиной на боку.

В доме Ивановых картина наблюдалась почти идиллическая. Коля сидел на кухне у окна и ремонтировал прялку.

Федька в большой комнате смотрел по телевизору какую-то чушь, время от времени заинтересованно вертя головой – мать накрывала праздничный стол. Принаряженная, она сновала из комнаты в комнату, будто ноги у нее никогда не болели, и то и дело поглядывала в окно.

Но жданного гостя все же проглядела – в сенях послышались шаги. Тетка Соня ахнула, всплеснула руками, а в дом уже входил батюшка, отец Михаил, тот самый, которого Коля видел в церкви. Глянув на божницу, он перекрестился, поклонился и, улыбаясь, поприветствовал всех:

– Здравствуйте!

Тетка Соня кинулась к нему, поцеловала руку, и он быстро, почти торопливо, благословил ее.

Коля стоял у окна. Он выглядел растерянным, испуганным даже. Улыбаясь, попшел к нему, протягивая руку.

– Здравствуйте... Такое рассказывают про вас, что идти было страшно. А увидел – и не страшно совсем, а наоборот.

Коля быстро вытер ладонь о штаны и пожал протянутую руку.

– А я им не стала говорить! – объяснила суетящаяся рядом тетка Соня. – А то, думаю, сбегут еще, испугаются!

– Кто испугается? – вопрошал, входя в кухню и потирая ладонь о грудь, улыбающийся Федька. – Здорово, Миш! – поприветствовал он батюшку и громко хлопнул ладонью о протянутую ладонь.

– Федька! – зло шлепнула его по затылку тетка Соня. – Какой он тебе Миша?

– А чо? – довольно улыбался Федька. – На одной парте сидели? Сидели! Списывать давал? Давал! Он, мам, всему классу давал списывать!..

Батюшка смущенно улыбался и часто, коротко кивал:

– Грешен, грешен...

Все они сидели за накрытым столом, который украшал, задрав ноги, вареный петух.

– А я думаю, чего мать колготится? Петуха

зарубила. И все молчком! – делился радостными мыслями Федыка.

Словно фокусник в цирке, тетка Соня выхватила откуда-то из-за спины бутылку водки и поставила ее на стол.

– Во! – Федыка обрадованно цапнул ее и взялся открывать.

– А мне нельзя, – сказал вдруг со вздохом сожаления батюшка.

– Как?! – растерялась тетка Соня. – Я у бабок спрашивала – нет никакого поста сейчас.

– Нашла у кого спрашивать, – гыгыкнул Федыка. – Эти бабки в семнадцатом, небось, Зимний брали! Да, Миш?

– А среда сегодня, Софья Пантелеймоновна, – не слушая Федыку, объяснил батюшка с виноватой улыбкой. – Среда и пятница – дни постные. В среду Иуда предал Христа, в пятницу распяли Спасителя.

Опустив глаза, тетка Соня виновато покачала головой, но одновременно ловко выхватила у Федыки бутылку, и та бесследно исчезла за ее спиной.

Глядя на петуха, все ели залитую постным маслом толченую картошку. Федыка погрузился. Нарушая тягостную тишину, тетка Соня засмеялась вдруг, стыдливо прикрывая ладонью рот.

– Чай вприглядку пила, было... Мать кусочек сахара на блюдечко положит – вот такусенький – а мы глядим на него и пьем... Сладко – куда там! А чтоб петушатина вприглядку... Лучше я его унесу от греха подальше.

Но Коля отломил вдруг петушиную ногу и стал есть. Тетка Соня испуганно взглянула на попа, а Федыка подмигнул батюшке.

– О-хо-хо, – вздохнула тетка Соня. – Он же батюшка у нас... Иной раз и не верится... Проснешься, думаешь: правда иль нет?.. Правда...

– К Господу дорог много, Софья Пантелеймоновна, – успокаивающе сказал батюшка и обратился к Федыке: – А ты что ж, Федор, в храм ни разу не зайдешь?

– А я говорю – иди! Говорю – в аду гореть будешь, пожалеешь тогда, что не ходил! – вставила тетка Соня.

– Ты-то много ходишь, – огрызнулся Федыка на мать и усмехнулся, глядя на попа. – А я это... ада не боюсь... Я на зоне и в чугонолитейном работал и на кислотном,

меня этим делом не испугаешь.

– А что для тебя хуже, когда тело болит или когда душа? – продолжал отец Михаил.

– Тело – что... гвозди глотал... А душа, когда занает, это у-у-у...

– Так тело-то твое в земле останется, а душа страдать пойдет... Души там страдают, души!

– Да? – Федыка опешил и задумался.

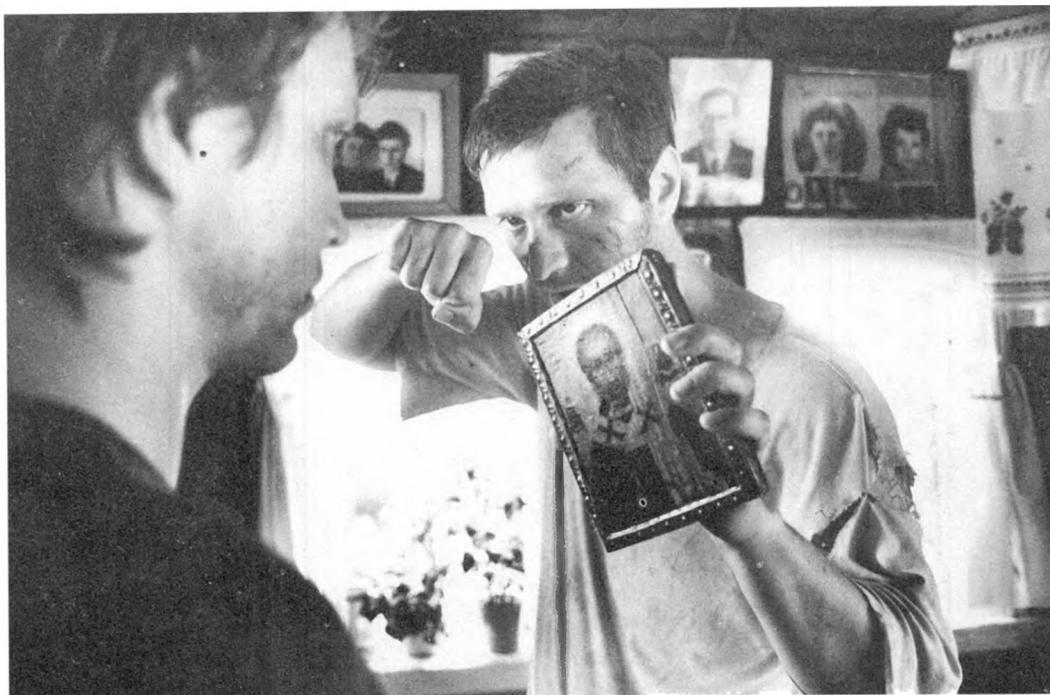
– Так что приди в храм-то, приди.

– Да вот еще беда, батюшка. Дерутся они у меня, смертным боем дерутся! – в голосе тетки Сони появилась плачущая интонация. – Может, ты им чего скажешь, батюшка, или сделаешь чего? Я вот помню, перед войной еще, маленькая была, а помню, два брата были, двойняшки: Колька один тоже, а другой Петька. Кукушкины! Дрались, ой дрались! Прямой дорогой к братоубийству шли. И позвала ихняя мать попа. Ну, батюшку... Тот стро-огий был, не в пример тебе, заходит, да с порога ка-ак гаркнет: “На колени!” Они так и повалились! Он с божницы икону снимает – Николая Угодника: “Целуйте!” Поцеловали. “А теперь – целуйтесь!” Поцеловались. Кулаком им погрозил и ушел. Веришь, батюшка, после того пальцем не тронули друг дружку. Пальцем! Потом их на войне побил обоих...

Тетка Соня с надеждой взглянула на попа, перевела взгляд на сыновей.

Во все время ее рассказа отец Михаил сидел неподвижно, смотрел на свои смиренно лежащие на столе руки. Он вздохнул и тихо заговорил, будто сам удивляясь рассказываемой истории.

– Жил очень давно, полторы тысячи лет назад, святой. Макарий Египетский. В пустыне жил, в пещере. Великой святости был человек. И услышал он во время молитвы голос: “Макарий! Ты еще не сравнялся в святости с двумя женщинами, которые живут в таком-то городе”. Пошел Макарий в тот город, отыскал тех жен, стал спрашивать их. А они ему отвечают: “Мы грешны и живем в суетах мирских”. Но преподобный не преставал вопрошать их, говоря: “Ради Бога, откройте мне ваши добрые дела!” Наконец, сказали старцу женщины: “Нет в нас добрых дел, одним лишь не прогневаем мы Бога: с поступления нашего в супружество за двух братьев, вот уже пятнадцать лет мы живем так мирно, что не только не заводили между собой



ссоры и вражды, но и одна другой слова еще неприятного не сказали”.

Батюшка замолк, поднял глаза и, улыбаясь, обвел всех взглядом:

– Вот как важна Богу мирная и согласная жизнь в семье... А мне пора, – он поднялся.

Глянув из-за плеча в окно, где на улице мать провожала попа, суетливо семеня рядом и что-то рассказывая, Федька повернулся к брату и с усилием изобразил на лице улыбку.

– Ну что, мириться будем?

Он снял с божницы икону Николая Чудотворца, старую, в железном окладе, и громко поцеловал изображение святого.

– Целуй теперь ты...

Федька протягивал икону к Колиному лицу, наступал, и, глядя на нее испуганно, Коля пятился.

– Целуй, чего ты?.. Тезка ж твой! Чего боишься? А-а, боишься! А ты все равно поцелуй! Ну, целуй же, целуй, морда! – заорал Федька и свободной правой рукой, вынеся ее из-за иконы, ударил Колю в лицо.

Коля опрокинулся на спину, Федька навалился сверху, уселся и стал с силой натирать Колино лицо железом оклада, размазывая слезы, сопли и кровь.

Коля лежал неподвижно, не сопротивляясь.

Коля тихо скулил и всхлипывал. Лицо его было закрыто квадратом перевернутой иконы. Медленно сняв ее, Коля поднялся, вытерев на ходу о рубаху, поставил икону на место.

Всхлипывая и шмыгая носом, он вышел во двор, поднял с земли топор с неотмытой на лезвии петушиной кровью.

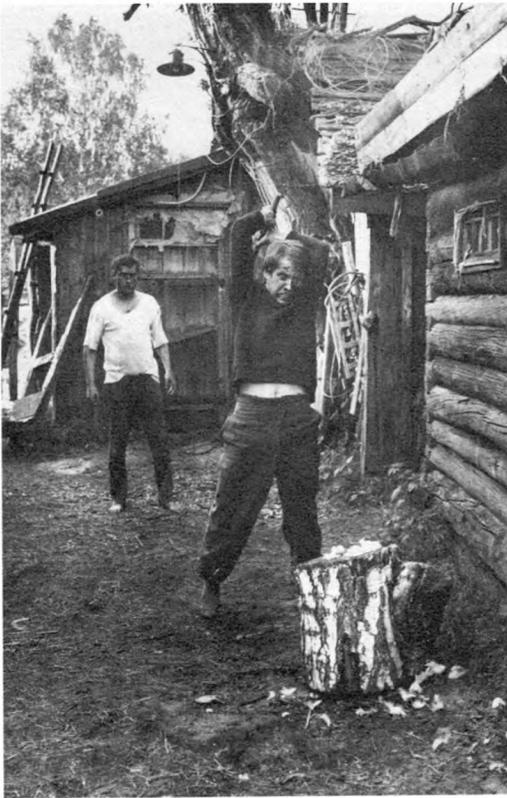
Федька стоял к нему спиной в уборной, не закрыв за собой дверь. Видя только его затылок, Коля направился к нему.

– Коля! – окликнул его из-за спины материн встревоженный голос. – Далеко ты с топором-то?

Коля остановился.

– Дрова... колоть... – глухо отозвался он не оборачиваясь и, размахнувшись что было сил, ухнул топором по колоде, намереваясь, видно, расколоть ее с одного раза.

Лезвие вошло глубоко, но колода, конечно, колоться не собиралась. Коля попытался выдернуть топор, но сил явно не хватало, и он дергал бессильно, словно прикованный к топору и к колоде. Тетка Соня обошла его, встала напротив и пристально посмотрела в лицо. Потом подняла глаза к



– это еще хуже. Со страху скорей зарежет... “Молись”, – батюшка сказал. А больше ничего...

– Мам, а я прялку сделал! – похвастался Коля, чтобы не говорить больше о неприятном.

– Руки у тебя золотые, сынок, – похвалила его тетка Соня. – И голова светлая. И здоровьем Бог не обидел. В нашу породу ты, в Коровинскую. А Федька – в отца, кровь дурная. А то... А ведь все равно сын он мне! Пропавший человек, некудышный, а мне его от этого еще жальче! А пьянка эта проклятая, она ведь болезнь – так? По телевизору даве тоже говорили – болезнь!.. – тетка Соня вздохнула. – Знаешь, сынок, ты меня прости, но уезжать тебе отсюда надо... – сказала вдруг она и даже зажмурилась.

Коля перестал доить, руки его опустились.

– Куда, мам, уезжать? – тихо спросил он.

Тетка Соня открыла глаза и стала дергать за дойки, и молоко снова зацyrкало в ведре.

– К дяде твоему, в Рязань, к отцову брату. Помнишь дядю Юру? Хоть пятнадцать лет не разговариваем, приревновал отец ко мне, сама поеду, упрошу. Он мастером на комбайновом. И на работу устроит, и квартира у них большая... А хочешь – в Москву? наших там, как собак нерезаных. Может, в общежитии где поселят?.. В большом городе и с верой твоей легче будет – затеряешься... А может... к дедушке Амридину своему – обратно? Я гостинцы соберу... И передашь от меня низкий поклон и материнскую благодарность... Сынок? Ну чего ты?

Коля сидел, опустив голову, понурившись. Тетка Соня взяла его безвольную руку и надела на запястье красивые японские часы, щелкнула браслетом.

– Федька нашел, пропить собирался. Еле отобрала.

Они сидели, не двигаясь, глядя глаза в глаза, слушали, как часто и громко тикают часы, все чаще и громче.

Часто и громко тикают часы, все чаще и громче. Бежит, бежит Коля вверх по дороге от деревни – по той самой дороге, по которой он сюда пришел: раз-два-три, как в сказке. Быстро бежит, быстрее и бежать нельзя, бежит, а остается на месте. Не может убежать. Снова как в сказке...

небу, перекрестилась и прошептала:

– Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, прости мою душу грешную!

Был вечер. Тетка Соня вошла в хлев, постояла, прислонившись к притолоке, посмотрела на Колю, который сноровисто доил корову, пристроилась рядом на чурбачке, положила сыну голову на плечо. Коля посмотрел удивленно и ласково. Тетка Соня улыбнулась усталыми любящими глазами. И Коля улыбнулся в ответ, сказал тихо:

– Дедушка Амридин говорит: “Рай находится под ногами ваших матерей”.

– Правильно говорит, – согласилась тетка Соня. – А мне отец Михаил наказал беречь тебя...

Коля удивленно покосился на мать.

– Как, говорю, беречь, батюшка? – продолжала тетка Соня. – Я, говорю, и так глаз ночами не смыкаю, слушаю, не крадется ли к нему Федька с ножиком... Возьмет и зарежет...

Коля улыбнулся:

– Не зарежет...

– Э-э, сынок, что боится он теперь тебя

Смеркалось. На темнеющем небе проявилась большая круглая луна.

Неизвестный остановил машину, выключил двигатель, прислушался. Из-за густой сосновой посадки доносился Колин голос – арабский речитатив.

Неизвестный усмехнулся, вышел из машины, тихо прикрыв за собой дверцу. Глянув по сторонам, он побежал к посадке, пригибаясь, а добежав до нее, остановился, вытащил из-под мышки пистолет, взвел курок. Он уже видел в просвете меж деревьев сгибающуюся в поклонах Колину спину, когда вдруг услышал гул мотора и свист вертолетных винтов. Зеленый армейский вертолет летел низко над рекой и летел прямо сюда, на него, точнее – на Колю. Долетев до края крутояра, вертолет завис в воздухе и стал снижаться.

– Та-ак! – удивился неизвестный, спустил курок, сунул пистолет в кобуру и, пригибаясь, побежал к машине.

Коврик под коленями трепыхался, сиюсья улететь и унести с собой Колю. Он сжался, зажал ладонями уши и смотрел на страшную машину, ничего не понимая. Колеса коснулись земли, и сразу открылась дверца, и изнутри вывалился металлический трап. Неловко, задом, по нему стал спускаться полный мужчина в черном костюме. Для верности он держался за трап обеими руками, и так как третьей руки у него не было, он сжимал в зубах за ручку большой черный “дипломат”.

Когда он твердо стал на ноги, в темноте люка появилась чья-то рука и прощально помахала. В ответ человек тоже стал махать, радостно, с чувством, двумя руками, забыв, видимо, что в зубах у него дипломат. Трап спрятался, дверь закрылась, и, прибавив шума и ветра, вертолет резко пошел вверх. А человек все продолжал прощально махать.

Коля поднялся, сделал к человеку два шага. Тот повернулся. Это был Павел Петрович. Он взял “дипломат” в руку и улыбнулся:

– Добрый вечер, Николай! – пожал он руку все еще растерянному Коле. – Не испугался? А я тебя еще с неба увидел. Хотел сначала в деревню к матери залететь, а потом думаю – перепугаю народ, переполюшу старых. Знаешь, кто там? – он указал на удаляющийся вертолет. – Люди,



которые могут все! Практически, это уже не люди – боги. С их помощью будем поднимать наши края. Вот летали, смотрели земли... Да! Посидим? – Павел Петрович по-хозяйски уселся на Колин коврик, положив “дипломат” на колени. – А ты, значит, культ здесь отправляешь? Хорошее место! Знаю. Знаю-знаю! И не осуждаю! И если вдруг станут притеснять – сразу мне говори! У нас равенство всех конфессий, верь хоть в бога, хоть в черта, лишь бы государству вреда не было. Я ведь и сам, грешным делом, в церковь захаживать стал. И ты знаешь – хорошо! Нагрузки снимаются... Психотерапия такая своеобразная. Молитву выучил “Отче наш”... Сейчас “Символ веры” штудирую. Ну, знаешь там: “Верую во Единого Бога...” А, ну ты же... – Павел Петрович глянул на Колю с сочувствием, как на увечного, и продолжал: – На колокол пожертвовал определенную сумму. Да... На исповедь, правда, не хожу. Что он, поп, прокурор что ли? Почему я должен ему все выкладывать? Да... Конечно, не думалось, что так все повернется, но раз уж повернулось... Как говорится, был Павлом,



стал Савлом! Или наоборот?.. Ха-ха! Но вера народу нужна! И ты молодец, Николай. Хотя, конечно... – вновь с сожалением вспомнил Павел Петрович. – Ну, ничего! Бог-то все равно один? Один, скажи? Ну, один? – требовал подтверждения Павел Петрович.

– Один, – подтвердил Коля.

– Ну вот! – удовлетворился Павел Петрович. – Нет, Бог есть, это теперь как дважды два... Сыр есть, появился значит и Бог... Шутка.

Павел Петрович замолчал вдруг, задумался, посмотрел по сторонам, поднял глаза на луну и, доверительно глянув на Колю, признался:

– Но, сказать по правде, я его себе не представляю! Нет – и все! Вот черта или там сатану, как он там бал правит – это пожалуйста!.. А... Ну и ладно! – Павел Петрович хлопнул ладонями по “дипломату”. – Ты еще не закончил? Тогда я пойду, не буду мешать. По пути в Бучиле искупаюсь. Там сейчас вода – те-еплая...

Коля растерянно смотрел Павлу Петровичу вслед. Тот шагал широко, размахивая свободной рукой – хозяйски и радостно.

Павел Петрович свернул к озерку, широко шагая и распевая голосом Поля Робсона:

– Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я дру-угой...

Низкая луна наливалась красной медью. Бережно поставив на землю “дипломат”, он быстро разделся и, оставшись в широких цветастых трусах, трижды звонко хлопнул по своему обширному животу.

И вдруг заволновалась красноватая гладь Бучилы, забурлила посредине, вздыбилась вода, и, разрывая ее, появилось и стало расти что-то круглое. Павел Петрович не поверил глазам своим и, хмыкнув, улыбнулся. Это круглое росло, поднималось, оно было голым, но по краям росли волосы, в грязь и водорослях. Потом стал появляться лоб, толстый и безмятежный. Павел Петрович хмыкнул во второй раз, но улыбка на его лице пропала. Но когда в воде загорелись два красноватых глаза цвета луны и стали приближаться к поверхности, Павел Петрович сделал шаг назад, и колени его от страха подогнулись. А тот все выростал, поднимаясь над водой. У него были большие щеки, мясистый в оспинах нос, короткая губа верхняя и презрительно отвисшая нижняя. За покатыми плечами шла волосатая грудь с жирными мужскими сиськами, огромный живот и в гуще волос – неприкрытый торчащий срам. Он улыбался,

обнажая редкие зубы, и, медленно подняв руку, покачал ею, приветствуя Павла Петровича. У него не было рогов, лишь две небольшие мясистые шишки по краям лба, а хвоста и копыт и подавно не было. Это не был черт. Это был сам сатана. Русский сатана. Он был огромен и отвратителен.

– А-а-а-а! – прорвало побелевшего от ужаса Павла Петровича.

Он подхватил “дипломат” и, раздирая рот в крике, побежал обратно через поле к спасительным деревенским огням – через речку, по мостку. Но там поджидала его новая беда – хрустнула доска, подвернулась нога, и, взмахнув руками, Павел Петрович полетел в воду, а “дипломат” раскрылся вдруг, и из него вылетели во множестве какие-то кирпичики...

– Ат-тахийат ли ллахи ва с-салават ва т-таййибат

Ас-саламу алайка аййуха н-набиййу ва рахмату ллахи

ва баракатуху...

Совершая утренний намаз, Коля открыл на мгновение глаза, замер и замолчал. По дороге от деревни к месту впадения маленькой речки в большую реку бежали, словно одержимые, люди. Удивленно и встревоженно глянул Коля на реку, но никакого кораблекрушения и никакого тонущего не увидел, только рябь на воде, будто кто высыпал там в большом количестве резаную бумагу.

Коля встал с колен и побежал вниз, к людям.

Навстречу ему неслась подвода, полная народу с баграми, сачками и мешками в руках. Лошадью правил Колин крестный.

– Садись, крестник! А то не успеешь! – крикнул крестный, придерживая лошадь.

Но, ничего не понимая, Коля не двинулся.

– А! – махнул рукой крестный и хлестнул лошадь.

Часто и отдышливо дыша, навстречу бежала старушка.

– А ты чего стоишь-то, Коль? – заговорила она с плачущей интонацией, потому, видимо, что бегущие слева и справа обгоняли ее, а ей требовалась передышка.

– А что случилось?



– Деньги там... зеленые эти... договоры что ль... Нинка Фонькина пошла на речку гусей выгонять – целую охапку принесла. Настоящие, говорят...

– Доллары, блин! – проорал Федька, на бешеной скорости пролетев мимо на велосипеде.

Старушка вздохнула и потрусила дальше. А навстречу Коле бежала Верка, улыбаясь смущенно.

– Чего стоишь, Абдалла? – закричала она, подбегая. – В натуре баксы, я сама проверяла!

Коля схватил ее за руку, останавливая.

– Стой! Не надо! – попросил, почти потребовал он.

– Ты чего, сдурел? – Верка потянула его к реке.

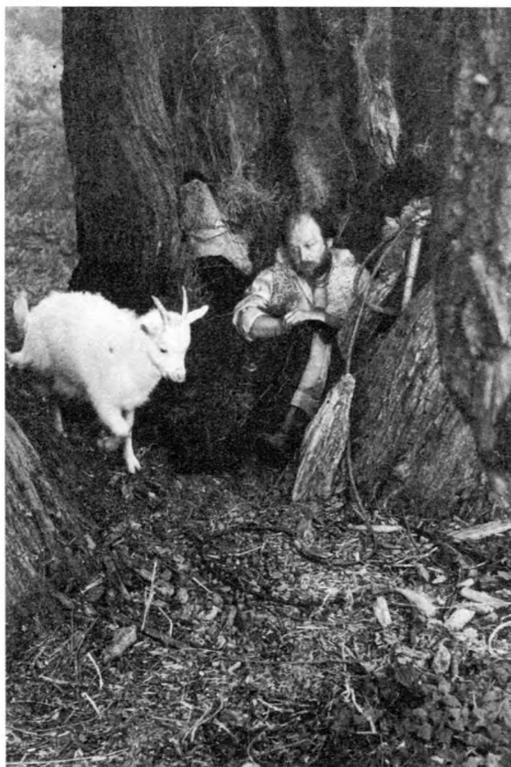
– Это – нельзя!

– Что нельзя? – сорвалась на крик Верка. – А нищету разводить можно? Раз в полгода колготки покупать можно?

– Это воровство!

– Да они ничьи, понимаешь? С неба свалились!

– Не бывает ничьих денег!



Владимир Ильин в фильме "Мусульманин"
(эпизод в сценарий не вошел)

– Да пошел ты! – Верка вырвалась наконец и побежала со всеми.

Коля растерянно смотрел ей вслед.

– Вера! – закричал он что было сил, даже присел крича.

Она остановилась.

– Мантуро дуст недорам! – крикнул Коля.

Верка поняла, улыбнулась, опустила глаза... но вспомнила, махнула рукой, крикнула: "Потом!" и побежала дальше.

В том месте, где маленькая речка впадала в реку большую, где мелководье обрывалось глубиной, где малая вода становилась водой большой – плыли и кружились на месте зеленые прямоугольнички, по-одному, стайками и целыми коллективами. И по одному, по одному, по одному к ним бежали, плыли, летели люди...

Федька въехал на скорости в воду, перелетел через руль и тут же поплыл, будто специально этому обучался.

Верка стянула через голову свитер, но в спешке вместе с ним и футболку и, голая по пояс, побежала по мелководью. Никто этого

не замечал, да похоже она и сама не заметила.

Двое мужиков в черных длинных трусах раскручивали на берегу бредень.

Колин крестный бегал по мелководью с подсачником и отсекал доллары.

– Вань, гля, шурин тонет! – крикнула его жена и указала на барахтающегося беспомощно на глубине мужика. Крестный посмотрел коротко, крикнул успокаивающе: "Выплывет" – и побежал за стайкой зеленых.

В нескольких местах уже дрались.

Поднимая белые буруны, к месту необычного лова неслись моторки.

– Не надо! – кричал Коля, пытаясь хоть кого-то остановить.

Но кто-то, пробегая, толкнул его, и он упал.

С капитанского мостика огромной баржи капитан смотрел в бинокль и ничего не понимал.

– Доллары за бортом! – крикнул снизу боцман.

– Что? – не понял капитан.

– Доллары, Михалыч! – боцман показывал пальцем в воду.

Капитан направил туда бинокль и увидел их. Но тут же рядом с ними появились прыгнувшие в воду матросы и стали хватать их с воды и запикивать за пазуху.

– Эй, вы, поосторожней там! – строго крикнул боцман и перемахнул через поручень.

– Мама миа, – сказал капитан и побежал вниз.

Предварительно кинув спасательный круг, он прыгнул вслед за ним солдатиком.

Потеряв управление, баржа резко повернула к берегу и, как живая, поползла по песку и траве с ужасающим скрежетом.

Коля поднялся с земли, отряхнул рубаху и брюки и направился к крутояру, но увидел вдруг бегущую последней, култыхающую тетку Сою, торопливо отвернулся и закрыл глаза руками.

К деревне неслись чередой с воющими сиренами и мигающими мигалками милицейские машины и машины скорой помощи.

Никогда еще в деревне не было столько милиции одновременно. Они стучали в двери, и навстречу им выбегали хозяева –

разводя руками или поднимая руки. Бабы плакали, мужики посмеивались. Старухи отдавали зеленые деньги сами, да еще с поклоном.

Стукнули кулаком в закрытую дверь дома Колиного крестного, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге стоял хозяин в кирзовых сапогах, длинных черных трусах и черных же нарукавниках. Пальцы и нос его были вымазаны чернилами. Милиционеры ввалились в комнату и остановились, потрясенные. На протянутых от стены к стене ниточках сохли на прищепках доллары. Колин крестный протянул им тетрадный листок, исписанный цифирью.

– Здесь приход, здесь номера переписаны, здесь – общая сумма, – объяснил он и закончил деловито: – У ММХ нет проблем!

Бабы в магазине отоваривались, но не уходили, шумно обсуждая вчерашнее великое происшествие.

– А ко мне Васька Кукушкин приходит, – взяла слово продавщица Валя, – сует мне зеленые эти: “Валь, дай бутылку!” А я ж с отчетом в городе была, только приехала, не знала ничего. Пошел ты, говорю, нарисовал небось...

– Он рисует хорошо, Васька-то...

– Вот и я говорю...

– Он от тебя в Мукомолово пошел, там у Крысиной бутылку самогонки взял, да говорит – паршивая...

– За сколько?

– За полторы тыщи.

– Чего?

– Ну этих, чертей зеленых.

– Ну надо же! – продавщица Валя расстроено хлопнула себя по крутому бедру. – Вот и не верь после этого людям!

– А Пашка-то как?.. Павел Петрович?

– В больнице, говорят, нога сломана.

– В больнице, да не в простой, – говорившая покрутила пальцем у виска. – Мужик ему какой-то все время видится!

– Мужик... Тут и сатана привидится, столько деньжищ наворовать!

– Не воровал, а ему дали...

– Дали... Нам вон не давали, и то забрали...

– Говорят, продал он нашу землю кому-то там...



– И нас с потрохами!

– Кому мор, кому корм...

Колин крестный вошел в магазин покачиваясь, обвел всех мутненькими глазками, остановился на тетке Соне и, покачав головой, сказал укоризненно:

– Вот вы тут языками чешете, а Федька твоя, Сонь, повесился!

Когда тетка Соня вбежала в свой дом, там уже было полно народу. Она вломилась в комнату, где люди стояли плотно, пробилась на середину и увидела сидящего на полу Федьку. Рядом валялась отрезанная веревка с петлей. Федька ошалело вертел головой, шер шею с поперечным иссиня-красным шрамом и сипло, почти неслышно объяснял:

– Колян ножом – чик, я – шарах... Вся хмель сразу вышла...

У тетки Сони подкосились ноги, она упала рядом и, зарывав без слез, стала колотить Федьку по голове, плечам, спине безвольной ватной рукой. Федька улыбался, ежась от ударов, и объяснял матери:



– Колян ножом – чик, я – шарах... Верить, мам, вся хмель сразу вышла...

Рядом на табуретке Коля, вцепившись в тот злосчастный крюк с привязанным обрезком веревки и сжав зубы, напрягшись до предела, раскачивал его из стороны в сторону.

Стоящие внизу молча и бесстрастно наблюдали за ним. И тетка Соня подняла глаза, прижимая к груди Федькину головушку и глядя по волосам. Крюк никак не поддавался. Колино лицо скривилось в гримасе почти истеричной, и он закричал вдруг, потрясая руками:

– Не вешайтесь больше! Без причины не вешайтесь! – Сам испугавшись своего крика, он осекся и прибавил: – Хотя бы... А будет причина, тоже не вешайтесь, потому что нет такой причины...

Он вновь ухватился за крюк, качнул его дважды – бесполезно, и увидев среди других лиц лицо своего крестного, обратился к нему:

– Не пейте неразведенного спирта. Хотя бы...

Он опустил глаза и встретился взглядом с глазами матери. Тетка Соня смотрела удивленно и непонимающе.

– Не крадите два мешка комбикорма. Оставьте один. Хотя бы... А если его не украдут другие, то он будет – как жертва! И вам зачтется...

В толпе стояла Верка. Коля попытался улыбнуться.

– Не кляните своих стариков. Хотя бы... Ведь они скоро умрут, а без них вам будет еще хуже...

Коля поднял глаза к потолку, вспомнил что-то и вновь закричал:

– Не поднимайте деньги, если они лежат на дороге, и не входите в воду, если они плывут по реке! Это сатана искушает вас! А то... – на Колиных глазах выступили слезы, и он надавил на глаза с силой пальцами и продолжил тихо, почти шепотом, так что все напряглись, слушая его:

– Не можете молиться – не молитесь... Не можете поститься – не поститесь. Не можете верить Христу – не верьте... Не можете верить Мухаммеду – не верьте... Не можете верить – не надо... Но знайте! Придет сатана, и вы поверите ему, потому что он заставит вас ему поверить! И всем будет плохо, очень плохо, поверьте! Поверьте! Одному из вас... Любому... Вы будете ему верить, и он вас не обманет... Хотя бы... Начните...

Коля вновь ухватился за крюк и, раскачивая его, стал выкрикивать:

– Ашхаду ан ла иллаху иллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху!

Табурет вдруг вывернулся из-под его ног, мгновение он висел, держась за крюк, а в следующее мгновение рухнул вместе с крюком на пол и лежал не двигаясь.

Был вечер. Из низин у речки туман заползал в деревню. Коля сидел на лавочке, сжавшись, обняв себя за бока. Его знобило.

В доме пьяно бузил Федька.

В низине, у речки, в самом тумане кто-то невидимый разжигал костерок, и Коля неотрывно смотрел на его зыбкий свет.

В доме что-то загремело, упало.

– Сломал! Ах ты, скотина пьяная! – заругалась тетка Соня. – Колька делал-делал, а ты сломал! Ну глянь, была прялка как новая.

С трудом оторвав взгляд от костра, Коля

посмотрел на часы, и они затикали – громко и быстро. Коля поднялся и медленно и прямо пошел на огонь.

Костер был разведен под кроной огромной ветлы, наполовину погибшей от старости. На отпавшем от нее сучке сидел спиной к Коле человек и подбрасывал в огонь сухие веточки. Костер вырос, пока Коля шел к нему, веселыми языками слизывает туман. Человек обернулся. Это был неизвестный в черных очках.

– Чего встал, присаживайся, – сказал он и подвинулся, освобождая у огня место.

Коля сел, протянул к огню руки, согреваясь, и улыбнулся.

– Не узнал меня? – спросил неизвестный.

– Нет, – сказал Коля, глядя в огонь.

Неизвестный снял очки, повернул голову.

– Так – профиль, так – анфас. Теперь узнал?

– Товарищ старший лейтенант? – удивленно улыбаясь, спросил Коля.

– Обижаетесь – майор. Правда, в отставке... По состоянию здоровья... Зови замполитом по старой памяти... А я тебя, между прочим, тут почти целый месяц пасу. Догадываешься, почему?

– Нет.

– Недогадливый ты, гвардии рядовой Николай Иванов. А помнишь 14 октября 1986 года, кишлак Шат-ома в ста двадцати километрах от Кундуза?

– Да.

– Помнишь, как командир роты капитан Алексей Медведев приказал тебе расстрелять трех пленных духов, а ты отказался?

– Помню.

– А дальше что было?

– Вы расстреляли их.

– Правильно. А помнишь, на следующий день, ночью, на марше мы устроили привал в степи, все развели маленькие костерики из сухого спирта, чтобы консервы разогреть, и ты сказал, что сейчас на земле, как на небе, а Леха... гвардии капитан Алексей Медведев спросил тебя: "А ты случаем не поэт?" А ты что ответил?

– Нет.

– Вот видишь, все помнишь! А потом мы провели с тобой политбеседу. Мы говорили, что у тебя здесь живут мать и отец, и брат, и односельчане, и ты защищаешь их!



Защищаешь, хотя ты от них и далеко. Мы тебя били?

– Нет.

– Правильно. А знаешь, почему? Потому что Леха сказал: "В этом парне что-то есть..." И ты пообещал нам, что завтра при чистке кишлака Маруни пойдешь в первой линии. Обещал?

– Да.

– И ты пошел... Но духи ударили... Мы отступили, а ты сдался. Так?

– Нет! – выкрикнул Коля, поворачиваясь к неизвестному.

Неизвестный усмехнулся.

– Нам надо было уходить, потому что... все могли там полечь. Но Леха сказал: "Пропавший без вести – это хуже, чем убитый. А потом, – сказал он, – в этом парне что-то есть". И мы пошли, ночью, положили шестерых, а седьмой... – У неизвестного вдруг сорвался голос. – Лехе пуля попала в легкое... И когда он говорил, у него изо рта летела кровавая пена, и у меня вся морда была... Он сказал: "Я понял, что в этом парне. Он – предатель". К тому времени перебежчик

из духов уже рассказал, что ты сдался и тебя увели...

– Нет, – сказал Коля.

– И Леха сказал мне: “Если ты когда-нибудь, где-нибудь увидишь его – в Афгане или в Союзе – убей его”. Я сказал: “Убью”.

Неизвестный покачал головой, усмехаясь и вздыхая, и вдруг схватил Колю за плечо и на мгновение крепко прижал к себе.

– И когда я тебя увидел в “Вестях”, я занял денег, купил тэтэшник, попросил у приятеля машину, взял отпуск на работе и приехал... Два раза я чуть... чудо тебя спасло... А потом... И вот сегодня мне уезжать, а убивать тебя я совсем не хочу. И не буду. Что-то случилось... Места у вас красивые, отдохнул... – Неизвестный вдруг резко поднялся, заходил взад-вперед, сцепив за спиной руки. – Купил я тут одну, так сказать, книжицу... “Евангелие” называется, давно собирался почитать, да все как-то... И все читал ночами... Не спится, давно все-таки никого не стрелял, да и клопы... Там, конечно, много такого, с чем согласиться не могу. “Не клянись!” А как же, например, присяга? На ней же вся армия стоит! Или “Не судите”. Хорошо, я согласен – не судить... если расстреливать всякую сволочь без суда и следствия. А многое, конечно, устарело. Заповедь номер три, к примеру. Не разводись, если она не прелюбодействовала, и не женись на разведенной. Почему? Моя первая, например, не изменяла мне, но сухой была редкой. Я развелся, женился на разведенной, живем хорошо, двое детей. И первая, главное, хорошо с новым живет! Где же тут логика?.. Ну, а уж насчет щеки... Может, в его времена по щекам били, а сейчас, если в тебя калибром 7,62 справа влепят, левой стороной уже не повернешься... Я не богохульствую, я, между прочим, два года назад крестился, я теперь замполит крещеный... Да... И чем больше я читал, тем меньше мне хотелось тебя убивать! Вот какое дело! Значит, что-то есть в этой книжице, есть! Много причем! – Неизвестный вытащил из кармана куртки “Евангелие” в мягкой обложке, стал быстро и нервно перелистывать страницы. – Вот, например: “Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе – не устоит”.

Ты понимаешь, о чем это... о ком? Но я сейчас... Вот! Это когда книжники и фарисеи требовали знамений с неба, а он им сказал: Когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда и вышел. И пришел, находит его незанятым, выметенным и убранным: тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом”. Понимаешь! Это же мы, это про нас! Я крестился, этот обвенчался, тот слово Бог с большой буквы стал писать! Поверили, ура! Выгнали одного беса из своей души и, ножка на ножку, семерых других стали дожидаться, злейших... А ты знаешь, когда я всех семерых в себе почувствовал? Когда баксы эти по реке поплыли. Я ведь был там. И штилеты со штанишками скинул уже. А потом тебя увидел... И понял – нельзя лезть в воду, не полезу! А они как заворочаются в моей душе! Аж завыл я, веришь? Вот тогда ты себя и спас, гвардии рядовой Николай Иванов.

Коля поднялся, и неизвестный крепко обнял вдруг его, прижимая к себе – и замер так.

– Сколько времени? – спросил неизвестный, отходя к костру.

Коля глянул на часы, и они застрекотали быстро и громко. Он не успел сказать, как неизвестный вдруг громко воскликнул:

– Но главное, мы начали! И мы еще поборемся с теми, злейшими! Мы еще с ними повоюем! Повуюем?

Но Коля смотрел так, что неизвестный растерялся и недоверчиво улыбнулся.

– Да, я все понимаю, с волками жил – по-волчьи выл. Привык. Но ты же не хочешь сказать, что на всю жизнь останешься мусульманином? Что будешь намазы совершать среди этих... берез? Это же Россия, Коля, а не Афган! И ты не дух, морда твоя кацапская, в зеркало на себя почаще смотри... И вообще, ты крещен раньше был... Да нет, я понимаю, разговор этот долгий, а у меня времени нет, мне завтра к восьми на работу, но знаешь, о чем я тебя попрошу, чтобы мне совсем спокойно, совсем хорошо было – перекрестись!..

– Как? – не понял Коля.

– Ну как все нормальные люди крестятся. Вот так! – неизвестный быстро и решительно

перекрестился.

– Вы левой рукой, – сказал Коля.

– А, это... – смутился неизвестный. – Я же от рождения левша, когда волнуясь... Я ж и стреляю с левой... Вот! – и так же быстро и решительно перекрестился правой. – Ну? Я понимаю, трудно, но начинать-то надо!

– Я не могу, – тихо сказал Коля.

– Почему?

– Потому что мне нельзя.

– Потом что нет Бога кроме Аллаха и Махаммед пророк его?

– Да.

Неизвестный катнул по скулам желваки, стукнул друг о друга кулаками, резко сел, думая, с силой потирая лоб.

– Хорошо! – выкрикнул он. – Оставался бы там в таком случае – зачем ты сюда приехал?

– Я не знаю.

– Хорошо, почему ты сюда приехал?

– Потому что я слышал голос.

– Голос? И что он тебе сказал?

– Он сказал: "Возвращайся в свой дом".

– Ну! – закричал неизвестный. – И после этого ты!..

– Он сказал мне это на фарси, – тихо объяснил Коля. – Я рассказал это дедушке Амридину, и он стал собирать меня в дорогу.

– Но ты хотя бы просто перекрестись, для меня! Просто, понимаешь?

Неизвестный схватил Колину ладонь, с силой свел пальцы в щепоть, но тот вдруг вырвал руку и оттолкнул его.

И мгновенно неизвестный выхватил из-под мышки пистолет и навел в Колину грудь.

– А так? Так – перекрестись?..

Коля попятился, испуганно глядя на оружие.

– Теперь я понимаю, что Леха имел в виду, когда предателем тебя назвал. Ты не только Родину, ты веру нашу предал... Коля Иванов, Коля Иванов... Коля Иванов, родной, я умоляю тебя, я на колени готов стать, только... – закричал неизвестный со слезами на глазах, наступая и не сводя дула с Колиной груди. – Я не хочу убивать тебя, кланюсь, но если ты...

Коля остановился, и неизвестный остановился.

– Если ты...

– Нет...

Часы на Колиной руке затикали так часто, что тиканье слилось в один сплошной и пронзительный звук. И в то же время из ствола вылетело пламя, и только потом громыхнул выстрел. Пуля отбросила Колю к стволу ветлы, и он вцепился в ее корявую кору. Пуля пробила рубаху и проломилась грудную кость, в отверстой груди что-то глубоко и редко вздыхало, успокаиваясь. Ноги отказывались держать его, и он держался руками, обламывая кору и оседая. Он улыбался, глядя прямо перед собой. Оставляя на дереве широкий кровавый след, Коля опустился на колени и ткнулся головой вперед, как делал это в своих мусульманских молитвах, и застыл так, умер.

– Коля-я! – послышался от деревни голос тетки Сони.

Неизвестный оглянулся, побежал к реке и на ходу бросил пистолет подальше в воду.

– Колян! – закричал от деревни Федька.

Туман был непроглядно густым.

Неизвестный вбежал в воду, окунул руки, плеснул пригоршню воды в лицо и побежал прочь вдоль берега. Но споткнувшись обо что-то, упал, быстро поднялся и остановился...

– Ко-оля-я! – звала его тетка Соня.

– Коля-ян! – звал Федька.

– Колю-юня! – звал крестный.

– Абдалла! – звала Верка.

– Абдула! – звали деревенские.

И никого не было видно в этом тумане.

Обхватив голову руками, сидел у погасшего костра неизвестный и, раскачиваясь из стороны в сторону, то ли выл, то ли стонал.

Вязнущие в густом тумане голоса, короткое гулкое эхо, вой неизвестного и шум близкой реки – все это перемешивалось и звучало едино – словно первая молитва Богу, о существовании которого только теперь и узнали, – Богу суровому и милосердному.

**Фотографии со съёмочной площадки
И.Гневашева.**

КАВКАЗСКАЯ КУХНЯ

1001 рецепт
господина ШАКА

2



Ираклий Квирикадзе

1001 рецепт господина Ишака

Первое, что мы видим на экране, – обложка книги. Большими красными буквами название – “Кавказская кухня”. Ниже подзаголовок “1001 рецепт Паскаля Ишака”. Тут же небольшой рисунок: на лесной поляне стоит улыбающийся мужчина с поднятыми руками. В одной руке он держит бараний рог, полный вина. В другой – шампур, на который нанизаны дымящиеся куски жареного мяса. Справа и слева от мужчины на траве сидит веселая компания. У всех подняты руки. Кто держит графин с вином, кто вареную курицу, кто большую серебристую рыбу, кто желтую головку сыра. Рисунок загородной пирушки стилизован под художника-примитивиста Анри Руссо...

Голос рассказчика. Книга издана в 1937 году. В городе Тбилиси. В 1939 году ее издали в Париже маленьким тиражом – триста экземпляров. Сегодня она библиографическая редкость... В моем детстве книга Паскаля Ишака лежала на кухонном столе нашего дома. Мама знала все рецепты французского кулинара наизусть, готовила по ним фантастические блюда. Я часто болел ангиной, мама садилась ко мне на кровать, раскрывала кулинарную книгу и говорила: “Сейчас мы посмотрим у господина Ишака сладости, я тебе приготовлю...” Мама готовила вкуснейшие пирожные с поджаренным миндалем и земляникой...

История первая, в которой появляется рассказчик Антон Гоголадзе. Мы оказываемся в его детстве, он болеет, у него высокая температура. Его мать – Сесилия Абашидзе, бывшая княгиня. Отец –

Зигмунд Гоголадзе, полковник КГБ. Мама говорит по телефону. Антона посещают странные видения, вызванные высокой температурой.

Квартира Антона. День.

Просторные, богато обставленные комнаты. Широкая кровать, в которой лежит маленький мальчик. Ему лет шесть-семь. Это рассказчик в детстве. Зовут его Антон. Он лежит бледный, с воспаленными от температуры глазами. Рядом с кроватью стоит мужчина в форме полковника. Это Зигмунд Гоголадзе – отец Антона. Зигмунд держит стеклянный пузырек и ложку. Прищурился, он следит за каплями, падающими с пузырька, считает их.

Зигмунд. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать...

Мальчик смотрит на падение капель.

Антон. Папа, почему ты всегда про горькое говоришь сладкое...

Зигмунд. Это лекарство – сладкое...

В соседней комнате по телефону разговаривает молодая женщина. Мы видим ее в проеме двери. Женщину зовут Сесилия Абашидзе, она мать больного мальчика. Сесилия держит книгу, на обложке которой мы читаем: “Кавказская кухня”.

Сесилия. “...Индюшку, вскормленную отборными кукурузными зернами, надо нарезать в ночь перед первым снегом. Оставить ее на ночь во дворе... Рано утром выгляните в окно, индюшка ваша от первых в этом году заморозков...”

Сесилия прерывает чтение, тихо смеется...

Сесилия. Вот так он пишет свои кулинарные рецепты: их читаешь, как сказки

братьев Гримм... Как поэму... Сейчас я готовлю Антону пирожное... что... говоришь... дочитать про индюшку?..

Полковник поворачивает голову в сторону Сесилии, говорящей по телефону.

Зигмунд. Как мне надоела эта индюшка!

Лежащий в постели мальчик тоже поворачивает голову... и видит стоящую у телефона Огромную Черную Индюшку. Это видение – результат высокой температуры. Антон посмотрел на отца. Зигмунд выпил с серебряной ложки микстуру, хотя готовил ее для мальчика, и нервной походкой пошел на кухню. Взял большой кухонный нож. Размахивая им, Зигмунд врывается в комнату, где стоит мама-индюшка. Увидев мужа с кухонным ножом, она спросила чуть удивленно:

– Зигмунд?! Ты что?

Зигмунд. Хочу зарезать тебя в ночь перед первым снегом...

Сесилия (смотрит в окно). Но сейчас не ночь...

Зигмунд. А я не твой Ишак, у меня свои рецепты...

Сесилия. Дорогой, ревнуешь меня к Паскалю?

Полковник приближается к маме-индюшке, та шарахается от полковника, вбегает в комнату, где лежит больной мальчик.

Сесилия. Папа сошел с ума! Я кажусь ему индюшкой!!!

Она выбегает в коридор. Там дверь во двор. Распахнув ее, мама-индюшка падает в снег.

Снежный двор. День.

Проваливаясь в снег сапогами, тяжело дыша, полковник Зигмунд Гоголадзе настигает индюшку. Кухонный нож опускается в черные перья, чуть ниже шеи. На снег брызнули красные капли крови... Мама-индюшка упала. Полковник наклоняется к ней.

Сесилия. Зигмунд, зачем?

Зигмунд. Сесилия, я устал от твоего Паскаля Ишака!

Квартира Антона. День.

Мальчик слезает с кровати. Он, маленький, босой, худой, в синих длинных, до колен, трусах, подходит к окну, смотрит. В снегу лежит мама Сесилия. Она медленно бьет черным крылом. Мальчик прижал лоб к

стеклу, стоит, потом идет назад в спальню. Наклоняется, поднимает с пола книгу, которую читала мама кому-то в телефон. На обложке нарисован мужчина. В одной руке он держит винный рог, в другой – похожий на шпагу шампур с аппетитными кусками жареного мяса. На траве расстелена белая скатерть. На ней сыр, рыба, помидоры, бутылки с вином. Вокруг скатерти сидят мужчины и женщины. Звучит незатейливая мелодия на скрипке.

Москва. Сороковые годы. Комитет Государственной Безопасности. День.

Площадь в центре Москвы. Гигантское каменное здание Комитета Государственной Безопасности. Незатейливая мелодия скрипки звучит на фоне мрачного серо-желтого комплекса, из окна которого где-то с верхних этажей падает какой-то мелкий предмет. Это кисточка для бритья. Она ударяется об асфальт у ног солдата-охранника. Солдат удивленно смотрит на кисточку, полную мыльной пены. Поднимает голову, ищет окно, откуда могла упасть кисточка.

Кабинет Лаврентия Берия. День.

Просторный, солнечный кабинет председателя Комитета Государственной Безопасности Лаврентия Берия. Видимо, откуда была брошена кисточка для бритья. Хозяин кабинета в белой парадной генеральской форме сидит на стуле по центру кабинета с густонамыленными щеками... Молча смотрит через стекла пенсне на парикмахера, который стоит перед ним, держа в руках бритву.

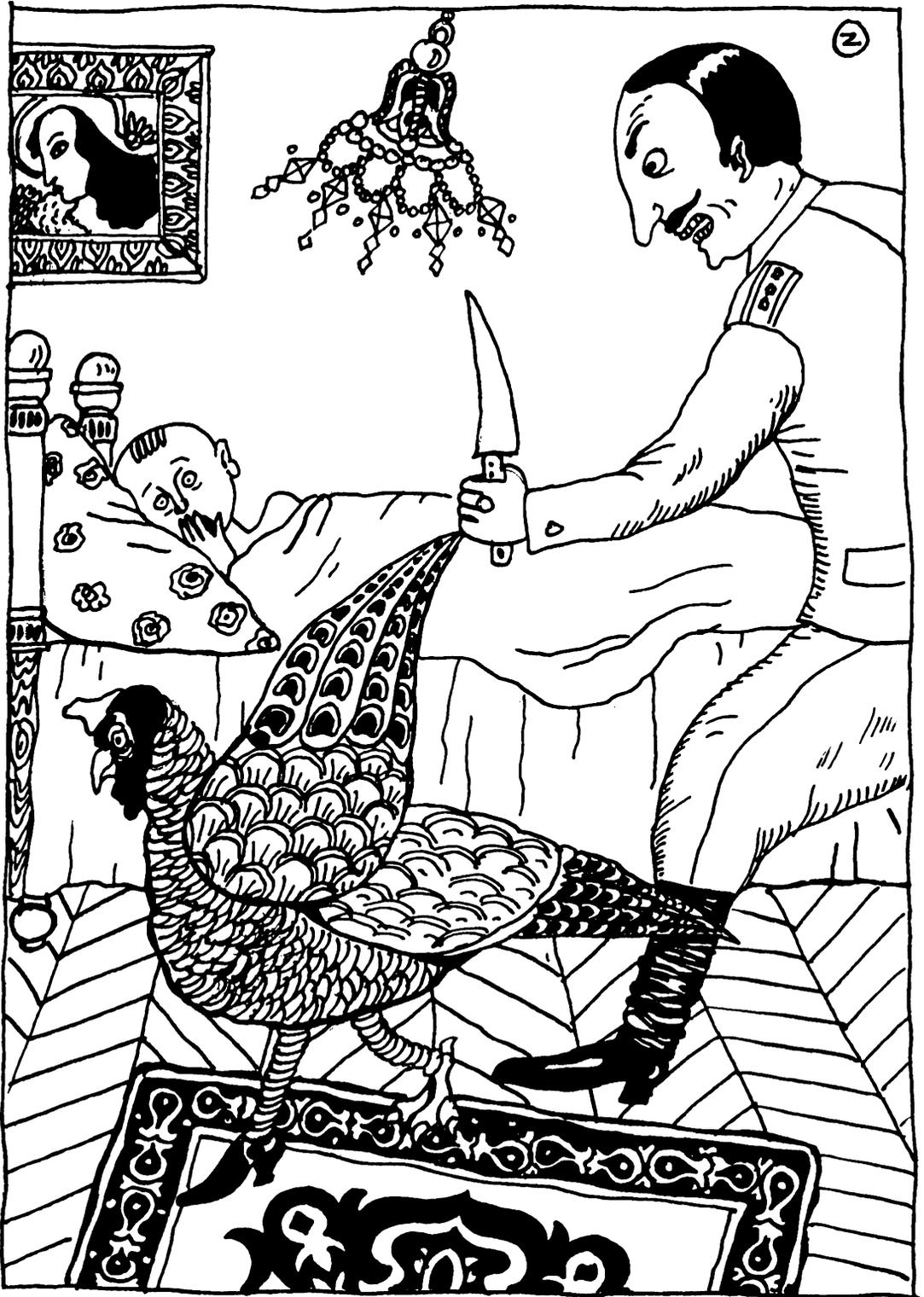
Берия. Иди и принеси новую... Каждый раз буду выбрасывать... Знаешь, что не терплю жестких кисточек...

Парикмахер пересекает огромный кабинет председателя, открывает дубовые двери, выходит.

Чуть в стороне от стола, заваленного бумагами, папками, чьими-то фотографиями, стоит знакомый нам полковник Зигмунд Гоголадзе – отец рассказчика Антона. Он с улыбкой смотрит на разыгравшуюся между Берией и парикмахером сцену.

Берия сидит, молчит, глаза из-под пенсне смотрят куда-то вдаль... Парикмахера не видно...

Зигмунд. Давайте я побрею...



Берия встрепенулся, посмотрел из-под пенсне на полковника.

Берия. Не бойшься, я капризный...

Зигмунд берет оставленную парикмахером бритву и, приблизившись, осторожно касается ею намыленных щек своего всемогущего шефа.

Берия. Кто сказал, что Илиопуло – лучший парикмахер Москвы? Обязательно то поцарапает, то кисточка грубая... Может, станешь моим парикмахером, а? Хорошо платить буду...

Берия смеется.

Зигмунд улыбается.

Берия. Кстати, ты помнишь, в Тбилиси был ресторан “Новое Эльдorado”?

Зигмунд. Я там сыграл свою свадьбу...

Берия. Хороший был ресторан... До революции я часто бывал там. Мне нравилась официантка Лулу...

Зигмунд. Маленькая ассирийка...

Берия. Я сорил деньгами... Хозяин был старый француз...

Зигмунд. Паскаль Ишак.

Берия. Вот о нем и речь. Три дня назад Иосиф Виссарионович...

Берия кивает на портрет Сталина, висящий в большой черной раме над письменным столом.

Берия. ...вдруг спрашивает меня об этом французе...

Открывается дверь кабинета председателя КГБ, и появляется человек, которого мы вначале можем и не узнать, – голый парикмахер. Он чрезвычайно растерян и подавлен. Белое тело, большой живот, руки с мыльной кисточкой скрывают мужской срам. Увидев парикмахера, Берия расхохотался.

Парикмахер (с трудом говорит). Лаврентий Павлович, я спустился за кисточкой... на обратном пути меня проверяли на всех этажах и раздевали... на первом – сорочку, на втором – брюки... Я не знаю, почему?

Берия (хохочет). Ты подозрительный тип, Илиопуло.

Парикмахер. Что мне делать? Ваша секретарша велела зайти к вам...

Берия. Что делать? Брить меня! Если бы полковник согласился, я вообще выгнал бы тебя...

Берия и Гоголадзе смеются. Парикмахер взял бритвенный нож, но руки его дрожат от нервного возбуждения. Берия смотрит на

голою. На его руки.

Берия. Успокойся, Илиопуло!

Парикмахер. Да, Лаврентий Павлович, сейчас успокоюсь.

Парикмахер садится на стул в углу комнаты под большой картой СССР.

Берия. Ладно, пошутил... Сиди... Полковник добреет меня. (Берия поворачивает лицо к Гоголадзе.) Так вот, о Паскале Ишаке... На днях Иосиф Виссарионович встречался с Уинстоном Черчиллем, тот, оказывается, приезжал в тысяча девятьсот двадцать первом году в Тбилиси и обедал в ресторане Паскаля Ишака. Черчилль спросил о нем Сталина, а Сталин спросил меня. Я навел справки, получил бумагу... Илиопуло...

Берия подзывает голого парикмахера. Тот встает, неловко движется к Берия.

Берия. Там на столе, сверху, лежит бумага.

Парикмахер поднимает лист, показывает.

Берия. Да, эта... Читай.

Парикмахер (тихо). “Паскаль Ишак – агент французской военной разведки...”

Берия. Громче...

Парикмахер. “Паскаль Ишак – агент французской военной разведки. Жил и работал в Грузии с 1920 по 1936 год. Разоблачен органами НКВД в 1936 году. Совершил ряд крупных диверсий против Советской власти. Под видом кулинару-путешественника разъезжал по глухим уголкам Грузии, собирал рецепты блюд кавказской кухни. Входя в доверие, он травил не угодных мировому империализму видных людей революции... Содержал в Тбилиси ресторан “Новое Эльдо...” (Парикмахер запнулся.)

Берия. Ни брить не умеешь, ни читать! Дай я прочту...

Берия берет листок и, поместив его перед пенсне так, чтобы не мешать полковнику, читает.

Берия. ...“Эльдorado”, где активно действовала террористическая группа, на счету которой взрыв парохода “Джордано Бруно” в Батумском порту. До революции вел дружбу с президентом незаконной меньшевистской республики Грузия Ноэ Жордания. Имел тайную встречу со злостным антикоммунистом Уинстоном Черчиллем, приезжавшим инкогнито в Тбилиси на один день...

На вид наивный кулинар, оперный певец,



любитель женщин, являлся крупнейшей фигурой шпионской сети западных разведок. Ликвидирован в 1936 году...

Берия поднял глаза от листка, посмотрел на полковника.

Берия. Что ты об этом скажешь?

Полковник молчит. Слышен скрип бритвенного ножа и жужжание влетевшей в окно пчелы...

Берия. Писал ты?

Зигмунд. Да.

Берия. И ликвидировал ты?

Зигмунд. Да.

История вторая, происшедшая в 1993 году на мосту Александра III в Париже. Антон-рассказчик, ставший взрослым, случайно встречает племянницу Паскаля Ишака и узнает удивившие его сведения о своей матери Сесилии, отце Зигмунде и французском кулинаре Паскале Ишаке.

Мост Александра III. Париж. День.

На золотых скульптурах моста горит осеннее солнце. По мосту идет Антон Гоголадзе. Он далеко не молод, одет небрежно, но модно: на нем вельветовые брюки, протертые на коленях. Пиджак, галстук с рисунком уходящего под воду "Титаника". Антон улыбается Сене, Эйфелевой башне, двум старым парижанкам, встретившимся только что на мосту. Он слышит голос одной из старых дам.

Парижанка. Здравствуйтесь, госпожа Ишак!

Антон застывает, услышав это приветствие. Смотрит на женщину, которую назвали "госпожой Ишак".

Изящная, миниатюрная женщина с синими ресницами улыбается своей знакомой.

Парижанка. Я так и сделала, как вы сказали, засыпала все сахарной пудрой, корицей и толченым мускатом... Получились изумительные пирожные! Изабель не могла поверить, что это я.

Голос рассказчика. Невероятно! Две французенки стоят на мосту императора Александра и говорят о пирожных из моего детства...

Антон улыбается. Продолжает путь по

мосту, но вновь останавливается, оглядываясь на щебечущих старых парижанок.

Под мостом проезжает пароход. Палуба полна японцев. Все они в черных костюмах, все смотрят вверх на золотые скульптуры моста.

Госпожа Ишак отходит от знакомой. Приближается к Антону. Тот улыбается, делает шаг к старой женщине.

Антон. Здравствуйтесь, госпожа Ишак!

Старая женщина захлопала синими ресницами.

Антон. Я случайно услышал вашу фамилию...

В синих глазах госпожи Ишак удивление, близкое к недовольству, она делает шаг в сторону.

Антон (поспешно). Скажите, Вам знакомо имя кулинера Паскаля Ишака? Он в двадцатых годах жил в Грузии...

Госпожа Ишак. Дядя Паскаль??? Он жил в Грузии? (Улыбается.) У меня есть его письма, написанные странными буквами, похожими на арабские...

Антон улыбается, разглядывая старую парижанку. В ушах бриллианты, на шее маленький золотой медальон, но шляпка и пальто изрядно заносенные...

Госпожа Ишак. Он умер в Тбилиси. (Она с трудом произнесла название столицы Грузии.) В тридцать четвертом... от голода.

Антон (изумленно). От голода!!! Автор великой Кулинарной Книги, умер от голода?!

Кабина парижского лифта. День.

В кабине лифта стоят Антон и Марсела Ишак. (Так зовут племянницу Паскаля Ишака.) За стеклянными стенами лифта видна панорама Парижа, горизонты ее раскрываются по мере движения лифта вверх. Антон продолжает начатый на улице разговор.

Антон. Я играю на виолончели. Оркестр закончил гастроль, а я остался в Париже... Хорошо знаю французский от мамы... Она была княжна. В доме у нее все говорили по-французски...

Лифт остановился. Старая женщина и Антон выходят.

Квартира госпожи Ишак.

Квартира с большими окнами. На полу персидские ковры. Книги. Их тысячи. Они лежат на полках, на столе, на диване, в

креслах. В китайских вазах – хризантемы. На стенах висят портреты французских генералов, топографические карты Малой Азии. Антон с любопытством рассматривает квартиру.

Марсела. Я занимаюсь рукописями Мертвого моря... Расшифровываю их...

Госпожа Ишак открывает дверку старинного шкафа. В нем – альбомы, папки, коробки.

Марсела. Где-то у меня была папка дяди Паскаля.

Марсела вынимает из скопища бумаг, документов альбом в кожаном переплете.

Марсела. Это наш семейный альбом... Марсела поспешно листает его.

Марсела. Вот он... Паскаль Ишак!

Во весь экран – фотография немолодого, узколицего мужчины в черной кавказской черкеске. Мужчина стоит на перроне маленькой железнодорожной станции. За его спиной видны снежные вершины гор.

Голос Марселы. Он путешествовал по миру в поисках вкусовых эффектов... Собирал рецепты экзотических блюд. Хотел издать гастрономический путеводитель.

Вот Паскаль в Китае...

Во весь экран – фотография Паскаля Ишака в китайском одеянии. Он сидит рядом с китайским императором. Император и Паскаль держат в руках палочки с белыми кусочками мяса. Оба улыбаются в объектив.

Голос Марселы. Четырнадцатилетним мальчиком он бежал в Азию. Дважды обедал с императором. Император был удивлен его знанием застольных церемоний До-цинского царства... Паскаль приготовил ему рябчиков по рецептам бродячих буддийских монахов...

Марсела прервала себя на полупразе, засмеялась.

Марсела. Как лекцию читаю. Привычка. Часто выступаю с докладами...

Она подпрыгнула. И откуда-то сверху, с книжного шкафа, опустила желтую папку.

Марсела (радостно). Вот эта папка!

Марсела протягивает папку Антону. На обложке фломастером надпись "Паскаль И." Антон стягивает резинку. Открывает: множество пожелтевших от времени страниц, чей-то женский локон, засушенные цветы, сухой лист магнолиевое дерева, на котором иглой нацарапан французский текст.

Антон (читает). "...Только в этом мире у тебя есть шанс власть насмеяться, ибо в

аду такого желания не появится, а в раю... ты уверен, что ты туда попадешь?"

Антон открывает тетрадь с заглавными грузинскими буквами "Жизнь и рецепты", читает наугад.

Антон. "Я поднялся на вершину Эльбруса. Сопровождавшая меня княгиня Сесилия Абашидзе сказала..."

Антон осекся. Удивленно смотрит на старую женщину. Француженка не поняла, что так поразило Антона.

Антон (повторно читает). "...сопровождавшая меня княгиня Сесилия Абашидзе..." Но это моя мама!? Что она делала на Эльбрусе?

Вершина Эльбруса. День.

Кадры похожи на черно-белую кинохронику с царапинами...

Паскаль Ишак, уже немолодой, но крепкий мужчина, и княгиня Сесилия Абашидзе, красивая, загорелая, голубоглазая женщина в рыжем пальто с лисьей накидкой на плечах, взбираются на снежный купол Эльбруса. В руках у них длинные бамбуковые палки, на ногах ботинки с альпинистскими шипами. Поняв, что они достигли вершины, оба останавливаются, переводят дыхание, радостно улыбаясь. Вокруг снежные вершины Кавказа...

Квартира госпожи Ишак. День.

На кухне жарится омлет с грибами. Марсела готовит его для себя и Антона, который ходит по гостиной с раскрытой папкой. Он виден в проеме кухонной двери. Марсела зовет Антона.

Марсела. За стол!

Антон входит в просторную кухню. Омлет шипит на сковородке. Марсела разделяет его на аппетитные дымящиеся куски, кладет их на тарелки.

Марсела. Антон, у меня есть к вам деловое предложение! Вы переводите все грузинские тексты, а я плачу по сто франков за страницу...

Антон застыл с вилкой у рта.

Марсела. Тридцать лет в моем доме находится рукопись на непонятном мне языке... Папирусы Мертвого моря могу прочесть, а это?! Меня, как профессионала, это оскорбляет.

Марсела отодвинула тарелку и поднесла к глазам тетрадь. Близоруко разглядывает странные для нее буквы грузинского

алфавита.

Марсела. Что написано на первой странице?

Антон. “Прогулка с великим кулинаром”.

Марсела. А эти мелкие буквы?

Антон. “Жизнь и рецепты. Запись Сесилии Абашидзе со слов Паскаля Ишака”.

История третья. *Иллюстрирующая тетрадь “Жизнь и рецепты. Запись Сесилии Абашидзе со слов Паскаля Ишака”. В тетради много стражиц вырвано, нарушена последовательность рассказа.*

Голос Антона (читает). “Шестого октября одна тысяча девятьсот двадцатого года. Грузия. Фантастическая вина. Деревня называется Мукузани. Мы ночуем у краснощекого крестьянина, похожего, как ни странно, на короля Людовика XIV. У него красивая дочь, зять-конох – огромный детина...”

Крестьянский дом. Рассвет.

На столе пустые бутылки из-под вина. Курица гуляет меж бутылок. Молодая крестьянка в ночной рубашке приложила ухо к дверям и слушает приглушенные женские и мужские любовные стоны, слышимые из соседней комнаты. Крестьянка улыбается. На кровати лежит ее муж, конох. Он открывает глаза, смотрит на подслушивающую жену.

Крестьянка (мужу). Вот так всю ночь...

Конюх. А тебе что?

Крестьянка. Но он же старый!?

Конюх. Француз, иностранец!

Виноградник. Утро.

В небе огромный красный диск солнца. Пейзаж, похожий на картину Ван Гога “Виноградники в Арле”. Тот же красно-бурый цвет. Мальчик, внук Людовика XIV, голый крепыш лет пяти, шагает меж виноградных кустов. Неожиданно ему на голову льется красная струя. Это отец мальчика – конох, сжав в руках виноградную гроздь, выжимает на сына сок. То же самое делает мать мальчика. Дед – Людовик XIV срывает спелую гроздь и выжимает сладкий красный сок на голову внука. И Паскаль, и Сесилия, смеясь, обливая мальчика...

Голос Антона (читает). “Утром семейство виноградарей вышло в поле. Сегодня

празднуют первый день сбора винограда. Внука Людовика XIV раздевают догола и запускают в виноградник. Взрослые должны выжать первую сорванную гроздь на голову младенца. Тогда урожай будет удачным...”

Смеется мальчик, весь облитый красным соком. Паскаль Ишак вновь выжимает на него сорванную гроздь.

Голос Антона (читает). “Дитя идет как Бахус, бог вина!”

Двор крестьянского дома. День.

Свежеврытая глубокая яма. Мужчины опускают в яму гигантский глиняный кувшин. Он очень тяжелый. В него вмещается тонна вина. Сантиметр за сантиметром это керамическое сооружение, похожее на игрушку великана Пантагрюзля, опускается на дно ямы.

Голос Антона (читает). “В кувшины заливают виноградный сок, который бродит и иногда разрывает эту глиняную громадину, как грецкий орех... но в конце концов, успокоившись, рождает изумительное по вкусу вино...”

Под ореховым деревом сидит Паскаль Ишак. В ногах медный таз с водой. Сесилия моет ему ноги. Семейство виноградарей смотрит на процесс тщательного омовения ног. Рядом давящая, похожая на полинезийское каноэ. Она полна винограда, сверкающего в лучах вечернего солнца. Встав со стула, Паскаль перебрался в лодку-давящую. Ноги его проваливаются в сладко-черную массу. Паскаль, счастливый как ребенок, давит хрустящие ягоды...

Квартира госпожи Ишак. День.

Перед экраном компьютера “Эпл Макинтош” сидит Антон. На экране пробегают буквы, собираясь в текст. “... Паскаль схватил меня за жопу...” Антон выстукивает по клавишам компьютера и смотрит в раскрытую тетрадь “Жизнь и рецепты”. Отходит от стола, идет на кухню. Открывает дверку холодильника. Берет бутылку вина, наливает в стакан, пьет. Возвращается к столу. Смотрит на экран компьютера. Потом оглядывается и видит Марселу, которая стоит у старинного бюро,

прижав свои близорукие глаза к экрану второго компьютера. При этом Марсела курит сигару, словно Фидель Кастро.

Антон. Марсела, можно оторвать вас от Мертвого моря?

Марсела оглядывается на Антона.

Марсела (улыбается). Я читаю ваш текст... мои компьютеры сообщаются, у Сесилии замечательный стиль – легкий, игривый: “Паскаль схватил меня за жопу...” А что дальше?

Антон (смущен и удивлен одновременно). Не понимаю... Княжна Сесилия Абашидзе, сопровождающая французского кулинара в его путешествии по Грузии и так вульгарно описывающая свои ночные приключения, и есть моя мама?

Марсела молча улыбается, втягивает дым от сигары и тут же выдувает его. Лицо Марселы прячется в белом дыме.

Антон. Представьте себе седоволосую учительницу химии с указкой в руке, с орденом Ленина на лацкане пиджака – это тоже моя мама. Правда, она играла в бильярд. Все свободное время проводила в бильярдной КГБ... Но здесь (Антон указывает пальцем в текст на экране компьютера) это другая женщина... “Паскаль схватил меня за жопу...” – так не могла говорить моя мама.

Марсела. Что она пишет дальше?

Антон. Вырваны четыре страницы... потом что-то странное... “Мой Паскаль имеет страсть к классическим ариям... В зимнем сезоне 1920 года он пел в Кутаисском оперном театре. Сам Федор Шаляпин рекомендовал его директору театра взамен спившегося русского тенора Зазулина...”

Антон читает с листа. Поднимает голову, смотрит на Марселу.

Марсела. Да, он пел. Кончил певческую школу в Лионе...

Антон. “Кутаисский театр уникальный...” Дальше Сесилия описывает, и очень смешно, выступления Ишака на оперной сцене: “... обязательно в декорациях должен стоять большой стол, где вино в графинах – настоящее, мясо жарится – натуральное, актеры на сцене пьют, едят, поют, напиваются, не обращая внимания на зрителей, смотрящих на них из темноты зала...”

Внешний вид Кутаисского театра. Вечер. Круглое здание с колоннами. В небе кричат вороны. Слышна музыка из оперы “Кармен”.

Кутаисский оперный театр. Вечер.

На сцене испанский пейзаж. Это опера “Кармен”. Дон Хозе (Паскаль Ишак) поет арию, после которой он должен вонзить нож в Кармен. Дон Хозе поет, за его спиной статисты пьют, передавая друг другу бутылки с вином. Вот дон Хозе вонзил нож в Кармен. Сбежались статисты, кто-то подает бутылку дону Хозе: мол, “успокойся, брат, не нервничай, убил красивую женщину, обидно, конечно, но...”

Голос Антона (читает). “Звездным часом Паскаля Ишака была партия Ленского в опере Чайковского “Евгений Онегин”. В тот сезон в Кутаиси приехал Барбизонов, знаменитый баритон Барбизонов из Санкт-Петербурга. Его стали приглашать на все кутаисские свадьбы, где он пел и ему платили бешеные деньги. У Барбизонова образовался длинный список свадеб...”

Весь этот текст идет на фоне испанской корриды, убийства Кармен. Звучит замечательная музыка Бизе, все поют, и все пьют из бутылок вино. Наконец, на дону Хозе надевают наручники.

Гримерная театра. Вечер.

У зеркала сидит Паскаль Ишак, он накладывает на лицо грим, превращаясь в русского дворянина Ленского – героя оперы Чайковского “Евгений Онегин”. Рядом на стуле сидит огромный курчавоволосый певец Барбизонов.

Барбизонов. Послушай, Паскаль...

Паскаль поворачивает голову к Барбизонову, тот поправляет кудри, выбившиеся из-под цилиндра. И он, и Паскаль – два русских дворянина, которые должны вскоре во втором акте стреляться на дуэли.

Паскаль. Да?!

Барбизонов. Зачем тебе петь эту арию перед дуэлью?

Паскаль. Как зачем, это моя единственная большая ария...

Барбизонов. Сегодня надо рано закончить оперу. Нас ждут за городом на свадьбе. Мы с тобой почетные гости... Богатая свадьба... Для нас специально привезли астраханскую икру, будет водочка со льдом...

Паскаль отвернулся, занялся гримом.

Барбизонов. А, Паскаль?

Паскаль. Что?

Барбизонов. Давай сегодня молча выйдем на сцену с пистолетами, я убью тебя, и мы сократим целых тринадцать минут... Я уже говорил с оркестром...

Паскаль. Но моя ария?

Барбизонов. Перестань, Паскаль. Не строй из себя целочку...

Паскаль. Но я пригласил княгиню Абашидзе, она в первый раз будет слушать меня...

Барбизонов. Для княгини споешь в другой раз... Сегодня возьмем ее на свадьбу...

Паскаль. Нет. Я буду петь...

Раздается звонок, извещающий о начале второго акта оперы Чайковского. Барбизонов встает со стула, натягивает перчатки, берет дуэльный пистолет.

Барбизонов. Пошли!

Паскаль встал, взял свой дуэльный пистолет.

Барбизонов. Стреляемся без арии...

Сцена оперного театра. Вечер.

Синий свет освещает фанерный лес. С потолка падает искусственный снег. В центре стоит Паскаль Ишак – Ленский. Цилиндр и фрак Паскаля усыпаны снежинками. Играет музыка, вступление к сцене дуэли. Чуть в стороне, за фанерными деревьями, группа секундантов греется водочкой. Зима, снег.

Паскаль ждет мгновения, когда он должен начать петь. Глазами чуть косится в зрительный зал, выискивая княжну Сесилию Абашидзе, которая сидит в третьем ряду. Сесилия, счастливая, смотрит на своего возлюбленного. Она гораздо моложе Паскаля, но в блеске глаз мужчины, стоящего на сцене, и женщины в зале есть какая-то таинственная нить, звенящая струна любви.... Играет музыка Чайковского. Паскаль ждет, улыбается Сесилии...

Неожиданно из-за фанерных деревьев выскакивает Барбизонов – Онегин. Он быстрыми шагами подходит к Паскалю и стреляет из пистолета в упор. Паскаль падает.

Барбизонов смотрит на поверженного Паскаля – Ленского, поворачивается и идет к кулисам. Но слышит начало арии.

Паскаль (поет).

“Куда, куда вы удалились,
Любви моей златые дни...”

Барбизонов оборачивается.

Паскаль Ишак, приподнявшись над пыльным полом, поет. Прижав руку к сердцу, он изображает смертельно раненного. Барбизонов удивленно слушает.

Сыплет снег. Ленский поет.

Паскаль (поет).

“Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит...”

Барбизонов возвращается к поющему, целится и разряжает в него весь пистолет. Три выстрела раздались из одностороннего пистолета. Но Ленский продолжает петь. Тогда Барбизонов наклоняется, вкладывает в рот поющего холодное дуло пистолета и нажимает на курок. Выстрел оглушительно громкий, словно взорвалась бомба.

В кулисах стоит мастер звуковых эффектов, который последний выстрел озвучил не пистолетным звуком, а чем-то похожим на гушечный выстрел. Секунданты, стоящие под фанерными деревьями, до этого молча созерцавшие происходящее, задвигались, подбежали к убитому, но продолжающему петь Паскалю, схватили его за ноги и уволокли со сцены, как быка, убитого на корриде.

Квартира госпожи Ишак. День.

Марсела смеется. На кончике сигары навис пепел, от смеха он упал на ковер. Марсела затерла его каблуком полуботинок.

Марсела. Фамилия Ишак по-русски значит что-то вроде “осел”..?

Антон. Да...

Марсела. Он был упрям, как осел, эта история с театром – типичная его история. Голоса никакого, так говорили в нашем доме, но пел всюду... В Венеции на гондолах пел серенады... итальянцы от возмущения топили его в каналах... а он пел. Еще любил есть! И, видимо, очень любил твою маму, раз ради арии отказался от свадьбы, от астраханской икры...

Антон. Насчет “любил поесть” у Сесилии начинается новая глава: “Паскаль Ишак, как золотоискатель, который процеживает тонны песка во имя одной крупички золота... Он ест, пьет в поисках нового вкуса, нового блюда, нового рецепта. Ишак ходит по деревенским свадьбам, поминкам, стоит под дождем у дымящихся котлов, в которых готовятся малоизвестные ему, европейцу, блюда... После того как он был изгнан из оперного театра, я присоединилась к его

бродяжничеству по Грузии..."

Марсела. Изгнан из театра?

Антон. Да, вы не читали о том, что случилось после "Евгения Онегина"... Я же перевел эти страницы.

Двор оперного театра. День.

Задняя сторона оперного театра. Пустырь, на котором гора красного кирпича. Одинокое дерево, под которым скрываются от жары актеры, среди них мы узнаем Барбизонова. Актеры смотрят на ястреба, сидящего на руке одного из актеров, любителя ястребиной охоты. Кто-то спрашивает:

– На зайцев охотится, а вот рыбу может он ловить?

Хозяин ястреба. Рыбу?

Актер. Да. Летит над озером и видит рыбу...

Все посмотрели на Паскаля, который идет по пустырю. Паскаль подошел к дереву. Барбизонов напрягся.

Паскаль (Барбизонову). Я вызываю вас на дуэль...

Барбизонов. Д'Артаньян?! (Смеется.)

Паскаль. У меня есть револьвер, но я не могу вас пристрелить...

Барбизонов. У меня нет револьвера...

Пауза. Кто-то из актеров предлагает форму дуэли:

– Может, кирпичами... (Смеется.)

Паскаль посмотрел на гору красных кирпичей.

Паскаль. Да, меня устраивают кирпичи...

Пустырь. День.

Под лучами жаркого солнца на театральном пустыре, где растет сухой колючий кустарник, стоят двое мужчин. Первым кидает кирпич Барбизонов. Паскаль от него на расстоянии двадцати шагов. Он не должен бежать, может только вернуться телом, что он и делает... Кирпич просвистел у самого уха. Зрители-актеры заохали, зацокали языками... Паскаль поднял свой кирпич и метнул его. Грузный Барбизонов не смог вернуться. Кирпич врезался в его шею, разбил ключицу. Барбизонов упал в колючие кусты.

Горная дорога. Харчевня. День.

Густой туман. Узкая, каменистая дорога в горах. Едет открытая машина "хорх". В ней сидят Паскаль Ишак и княгиня Сесилия

Абашидзе. На их головах кожаные шлемы. Сесилия за рулем. Из тумана выплывает темное строение. Вывеска "Харчевня".

Два повара, размахивая острыми ножами, выбегают навстречу машине и преграждают ей путь. Повара смеются, кричат в два голоса.

Повара. Даже если вы не голодны! Пока не откушаете нашего поросенка, мы не отпустим вас никуда... Не обижайте нежного, розового, в чесночном соусе поросенка... После него горят губы и хочется все время целоваться...

Сняв кожаные шлемы, автомобилисты со смехом входят в харчевню.

Харчевня. День.

Паскаль идет через кухню, в которой дымит печь. С потолка свисают закопченные свиные окорока. Он подходит к столу, где с Сесилией разговаривает один из поваров. Он молод, худ, красив.

Сесилия. Познакомься, это сын хозяина, звать его Зигмунд... (Улыбается повару.) Как фамилия?

Молодой человек представляется:

– Зигмунд Гоголадзе...

Квартира госпожи Ишак. День.

Антон протяжно свистнул.

Антон. Зигмунд Гоголадзе? Мой папа? Повар? Сын хозяина харчевни? А где его революция?... Где пламенное сердце красного бойца?

Харчевня. День.

Зигмунд Гоголадзе стоит перед княжной и французом, которые с улыбкой смотрят на него – веселого, болтливого.

Зигмунд. Поросята бегают там. (Указал на глухой забор, за которым слышно хрюканье.) Этим ножом одного из них я лишу жизни... (смеется) ради вас!

Зигмунд кивает княже.

Зигмунд. Можете погулять в лесу. Если, конечно, любите туманы... Вернетесь, он, розовый, будет ждать вас в чесночном соусе...

Лес. День.

Заросли папоротника. Все пространство тонет в молочном тумане. Поет невидимая глазу птица.

Фигуры мужчины и женщины тают в

тумане.

Голос Сесилии. Паскаль, папоротник мокрый... мокрый... сумасшедший...

Из тумана, хлопая черными крыльями, вылетела птица. Стало тихо. Только слышно повторяющееся страстное женское: "Ой, ой, ой..."

Харчевня. День.

На столе пустая бутылка вина. Остатки трапезы. Лица французского кулинара и княжны напряженные, явно чем-то недовольные. Паскаль пожимает плечами.

Паскаль. Это не поросенок. Такое чувство, что я съел собственную калошу...

Сесилия. Когда мы уходили в лес, ты же слышал, как они хрюкали...

Паскаль. Да. Но это калоша... Старая свинина...

Раздался звон колокольчика, цокот лошадиных копыт, через окно видна дорога, где из тумана выплыла повозка, в которой сидят четверо мужчин в черкесах и две дамы. Повара из дымной кухни выбежали на дорогу, наперерез повозке. Паскаль и Сесилия смотрят на уже знакомую им сценку. Повара в белых колпаках размахивают кухонными ножами перед лошадиными мордами. В два голоса произносят заученный текст:

– Пока не попробуете нежного розового поросеночка в чесночном соусе... не пропустим вас!

Путники сходят с повозки, шумной компанией входят в харчевню.

Харчевня. День.

Путники рассаживаются за соседним столиком. Мужчины приветливо здороваются с Паскалем и Сесилией.

Паскаль. Интересно, что будет дальше...

У соседнего столика Зигмунд предлагает прогулку в лесу.

Зигмунд. Вернетесь, ваш поросенок будет уже плавать в чесночном соусе.

Компания отказалась от прогулки. Паскаль расплатился с Зигмундом, но они продолжают сидеть. Смотрят, как на соседний стол приносят закуски, вино. Потом один повар зовет другого заняться поросенком. Повара уходят за забор, ограждающий глухой внутренний дворик. Оттуда слышится топот ног, крики, хрюканье.... Мужчины и женщины поглядывают в сторону внутреннего дворика,

довольные, улыбаются. Паскаль встал, пошел к забору. Дверь закрыта. Паскаль стал искать щель. Нашел. Приложил к ней глаз.

Внутренний двор харчевни. День.

Среди ящиков с пустыми бутылками и мешков с мукой стоит деревянная клетка. В ней большая грязная свинья. Рядом, по обе стороны клетки стоят повара, топчут землю, кричат: "Лови, хватай его за ноги, не упускай, давай нож..." При этом они просовывают ножи сквозь прутья клетки и колют свинью. Та хрюкает, визжит от боли...

Дорога. День.

К машине "хорх" подходят Паскаль и Сесилия. Их провожает красавчик Зигмунд Гоголадзе. Он открывает Сесилии дверцу машины.

Зигмунд. Приезжайте. Будете всегда желанными. (Повторяет, глядя Сесилии в глаза.) Будешь всегда желанной...

Паскаль заводит машину. Она отъезжает, выбросив синее облако газа.

Салон машины "хорх". День.

Белые языки тумана переплывают через открытый верх машины. Туман становится густым. Паскаль включает фары.

Паскаль. А что за слова повторил он, глядя тебе в глаза?

Сесилия. Кто он?

Паскаль. Этот Зигмунд.

Сесилия. "Приезжайте, всегда будете желанными", – а мне шепнул: "Всегда будешь желанной..."

Паскаль резко разворачивает машину. Вновь появляется силуэт харчевни. Паскаль тормозит, выходит, ждет, когда выйдет Сесилия. Резко берет ее за руку. Они входят в харчевню.

Паскаль. Переводи слово в слово все, что я скажу!

Харчевня. День.

Повара удивленно смотрят на приближающегося Паскаля.

Паскаль. Вы свиньи!

Сесилия. Господин Ишак говорит, что вы свиньи!

Повара побледнели, Зигмунд, более горячий из двоих, потянулся к кухонному ножу...

Паскаль. Вы дурачите клиентов, подсовывая им жесткую, как калоша, старую свинину вместо поросенка, это свинство!!!

Вначале я смеялся, когда увидел, что вы делаете за этой стеной.

Зигмунд (нагло). Мы тоже смеемся. Мы веселые...

Паскаль. Но теперь я злой! И вы тоже будете сейчас злыми!.. Откройте!

Паскаль указал на дверь во внутренний дворик.

Зигмунд взял нож, лежащий на буфетной стойке. Неожиданным жестом Паскаль приставил к виску Зигмунда браунинг. Опешили все, даже Сесилия.

Паскаль (указывает на нож). Положите на место...

Зигмунд положил. Паскаль подтолкнул его к дверям в заборе. Второй повар поспешно открыл их ключом.

Паскаль. Вытащите свинью...

Зигмунд выволок свинью из клетки.

Паскаль. Несите ее к машине.

Зигмунд с трудом поднял большую грязную свинью.

Зигмунд (по-грузински, тихо, Сесилии). Он что, сумасшедший?

Сесилия не переводит эту реплику.

Паскаль подводит Зигмунда к "хорху", ведя его под дулом револьвера.

Паскаль. Кладите на заднее сиденье...

Зигмунд кладет свинью, которая не вырывается, не брыкается, словно довольная, что ее увозят от поваров, от их ножей, ежедневно в кровь раздирающих ей бока и зад.

Через мгновение машина исчезла в тумане...

Харчевня. День.

Разъяренный Зигмунд распахивает один за другим ящики кухонных шкафов. Из ящиков вываливаются жестяные банки, воронки от вина, вилки, ножи, штопоры, пустые солонки... Все это с шумом разлетается по каменному полу. Наконец, Зигмунд находит наган. Хватает его и под удивленные взгляды компании, приехавшей на повозке, выбегает в туманный лес.

Склон горы. День.

Зигмунд бежит по тропе, которая круто уходит вниз. Попав в камнепад, споткнулся и, несомый каменным потоком, скатился к дороге, по которой должна проехать машина Паскаля, если она уже не проехала. Зигмунд быстро вскочил на ноги. Огляделся. Белье языки тумана медленно переплывают через

горную дорогу. Слышен звук приближающейся машины. Зигмунд метнулся в кустарник. Показались лучи зажатых фар. "Хорх" приближается. Машина проехала кустарник. Оттуда выскочила белая фигура, подбежала к машине, перегнулась через задний кузов. Раздалась три оглушительных выстрела. Фигура исчезла. Паскаль нажал на газ, потом затормозил... В горах множится эхо выстрелов. Свинья, мертвая, лежит на заднем сиденье. Тонкой струйкой изо рта течет кровь. Паскаль оглянулся, увидел ее.

Паскаль. Он убил свинью!?

История четвертая, в которой с нарушением хронологии рассказывается о том, как Паскаль Ишак познакомился с княгиней Сесилией Абашидзе.

Вагон. День.

Чемодан, украшенный множеством наклеек: "Китай, Лаос, Таиланд, Индия, Греция, Боливия". Паскаль Ишак закидывает его на багажную полку. В вагоне пусто. Паскаль опустил оконную раму. На соседнем пути дымит паровоз. На перроне стоит спиной к нему девушка. Паскаль оглядывает ее спину, шею, кудрявые волосы. Девушка что-то говорит мужчине, стоящему на подножке вагона напротив вагона Паскаля. Девушка повернулась лицом к Паскалю, и он увидел красивое лицо с темно-синими глазами... Вагон, где стоит на подножке мужчина, качнулся и поехал. Девушка смотрит на Паскаля. Это Сесилия. Несколько секунд спустя девушка идет по коридору его вагона, проходит его купе, потом возвращается.

Сесилия. Мое купе...

Она садится у окна.

Сесилия. А я вас узнала...

Паскаль внимательно смотрит на девушку, но явно не узнает.

Сесилия. Мы встречались с вами давным-давно в Каире, на пароходе. Он плавал по Нилу... Вы ухаживали за моей мамой... Меня вы не должны помнить. Я была маленькая девочка. Может, и маму не помните...

Паскаль чуть смутился.

Паскаль. Как звать вашу маму?

Сесилия. Вы ее не помните... Я уверена...

Паскаль оправился от первого неожиданного натиска молодой девушки. Он улыбнулся.

Паскаль. Если она такая же красивая, как вы...

Сесилия (прерывает его). Ольга... Княгиня Ольга...

Паскаль. Русская?

Сесилия. Да! То есть нет! Грузинка...

Паскаль. Грузинка?.. Ольга?

Сесилия. Не мучайте себя. Я знаю, что вы были на пароходе платным танцором, точнее платным любовником...

Паскаль посмотрел в окно. Поезд отъехал от перрона, кто-то долго бежит рядом с окном, машет рукой, потом вроде упал... Это кончился перрон. Начались скошенные поля, телеграфные столбы, виноградники...

Сесилия. Вы нравились старухам-американкам...

Сесилия говорит, явно эпатируя Паскаля. Тот принял этот "открытый диалог".

Паскаль. Ваша мама, надеюсь, не относилась к их числу...

Сесилия. Относилась. Она не была ни старухой, ни американкой, но вы ей очень нравились... Она говорила: " Не красивый, но такой француз..."

Паскаль. Спасибо маме. Я работал на Ниле всего один сезон... Пирамида Хеопса, жара, гостиницы с тарантулами...

Сесилия. А мне очень понравилось в Египте...

Наступила пауза. Сесилия положила на полку букет желтых роз.

Паскаль. Я обычно работал на больших пароходах... Нью-Йорк – Лондон – Нью-Йорк.

Сесилия. Танцевали?

Паскаль. Занимался любовью...

Сесилия. А чем вы сейчас занимаетесь?

Паскаль. Сажу на надувной подушке и смотрю, как вы ерзаете на твердой скамье... могу предложить...

Паскаль приподнялся и достал из-под себя надувную резиновую подушку, жестом велел девушке приподняться. Та выполнила его желание, он положил на скамью этот дорожный предмет, Сесилия села.

Сесилия. Спасибо, еще шесть часов езды...

Паскаль. Вы сходите в Самтредиа?

Сесилия. Да.

Паскаль. Там живете вы, ваша мама..?

Сесилия. Нет, я ушла от родителей. Зарабатываю на жизнь сама. Работаю

машинисткой. Живу одна. Скучно... Мне подарили желтые розы. Ужасно.

Сесилия встала.

Сесилия. Сейчас приду... Я в туалете...

Она вышла из купе. Паскаль смотрит на резиновую подушечку. Потом на дверь купе, за которую вышла Сесилия...

Паскаль. Грудь, как два поросеночка...

Квартира госпожи Ишак. Вечер.

На экране компьютера французский текст. Последняя фраза складывается на наших глазах – "груди, как два поросеночка..." Антон один в квартире госпожи Ишак. Тихо поет Пласидо Доминго.

Антон (смотрит на компьютер). Где-то я эту фразу слышал... Или читал... У Набокова?

Улица провинциального грузинского городка. Вечер.

Паскаль несет два больших чемодана. Рядом Сесилия с желтым букетом роз.

Квартира Сесилии. Ночь.

Небгато обставленная квартира. Темно. Под белой простыней бьются два тела, как выброшенные на берег большие рыбы...

Сесилия (захлебывается словами). Сколько стоит... это удовольствие... Ой – ой – ой... Паскаль, не убивай, не убивай... я же должна тебе заплатить... (Смеется.) Паскаль, ты чудо... Я ничего этого не знала... Как хорошо, что ты сошел с поезда... как хорошо, что ты сошел с поезда...

Сесилия высвободила из-под простыни голову, подняла ее и гудит паровозом!!!

Заросли дикого ореха. День.

В зарослях дикого ореха кого-то бьют. Двое бьют одного. Этот один – Паскаль Ишак. Немолодой боец сопротивляется, не дает себя бить безответно. Но двое моложе, сильнее, вот Паскаль упал. Его – ногой по животу...

На драку смотрит пожилая женщина, она стоит на лесной поляне, чуть в стороне от зарослей дикого ореха. Пожилая женщина крупнотела, со следами былой красоты. Это Ольга Абашидзе – мать Сесилии. Она молча наблюдает за избиением французского кулиара.

Ольга. Хватит.

В кустах прерывают битье ногами... Выходят два утомленных человека. Пот, царапины на лице.

Ольга. Поднимите его...

Из кустов выволокли Паскаля. Поставили на ноги. Он молча улыбается разбитыми в кровь губами.

Ольга. Дорогой Паскаль! Целый год борюсь с тобой! Безуспешно! Девочка глупая, ты пользуешься ее глупостью... Пойдем, провожу к реке. Там кончатся наши земли... Сядешь на паром и уедешь. Не хотела, чтобы мы так нехорошо расстались, но...

Паскаль и двое, идущие за ним, внимательно слушают княгиню Ольгу. Она говорит на французском, понимает ее только Паскаль.

Ольга. У девочки есть жених, и, как это ни банально звучит, – она будет принадлежать ему, а не какому-то проходимцу...

Княгиня Ольга улыбнулась. Паскаль положил руку на голову.

Паскаль. У меня была кепка, она в кустах осталась...

Ольга. Забудь о ней...

Паскаль. Но...

Ольга (прерывает). Побереги голову. Мой муж – человек свирепый... Он хотел стрелять, как только ты сошел с парома на наш берег...

Лесная тропа вышла к реке, где стоит паром, на котором стадо коров и мальчик-паромщик.

Ольга. Помню Нил... было чудесно... И не думай, что я зла, что я ревную. Девочка – не твоя пара... Ты безнадежный проходимец...

Паскаль. Почему? Вы отняли у меня любимую, увезли, спрятали, я приехал к ней, и что?

Ольга. Садись на паром и исчезни... Чтобы ноги твоей больше не было на этой земле... Договорились? Побаловался девочкой и хватит...

Паром со скрипом отчалил от берега. С середины реки виден каменный дом с колоннадой, стоит машина “хорх” на лужайке перед домом. Виноградники по всему пространству, что можно охватить глазом. А глаз подбит. Белый парусиновый костюм измят, рукав надорван.

Река. Другой день. Льет дождь. Паром в этот раз не отъезжает, а приближается к землям князей Абашидзе. На пароме стоят Паскаль и огромный черный человек. Он африканец, живущий во Франции,

приехавший в Грузию на соревнования борцов-профессионалов. Впечатление, что он немой, он не произнесет в дальнейшем ни одного слова.

Когда паром причалит к Абашидзевскому берегу, черный человек сойдет с парома с Паскалем Ишаком на плечах. Такой странной парой они пойдут по берегу, углубятся в сырой, дождливый лес. Африканец очень большой, грузный, сильный, Паскаль выглядит на его плечах мальчиком, катающимся на слоне. Они пробираются сквозь дикий орешник, выходят на лужайку, перед которой каменный дом с колоннадой. Африканец с Паскалем останавливаются. Оба смотрят на дом. Тот словно вымер. Африканец и Паскаль застыли большой черно-белой скульптурой. Льет дождь. Но вот раздался выстрел. Пуля врезалась в полевой цветок, сорвала голубой бутон. Африканец не шелохнулся.

Второй выстрел разорвал штанину африканца...

От каменной колоннады отделяется фигура. Это княгиня Ольга с зонтом.

Ольга. Я же велела не возвращаться...

Паскаль. Вы велели моим ногам не ступать по вашей земле. Как видите, мои ноги вот... не касаются вашей земли.

Ольга (смотрит на африканца). Кто он?

Паскаль. Мой друг Марк... Атлет...

Ольга. Интересно (разглядывает африканца), такой же проходимец... Только большой...

Где-то распахнулась дверь. Раздался крик. Это голос Сесилии.

Голос. Паскаль, люблю...

Голос осекся. Видимо, кто-то зажал Сесилии рот.

Ольга. Мой муж смеялся, увидев вас сидящим на вашем друге, счел вас остроумным... я не разделяю его мнения, но...

Паскаль. Вчера вы говорили мне “ты”, сегодня “вы”...

Ольга. Муж сказал: “Если он хочет купить ресторан, пусть купит, тогда поговорим...”

Паскаль. О чем?

Ольга. О девочке, дурак...

Княгиня повернулась и пошла к каменным колоннам. Сквозь дождевую каплю слышен ее голос.

Ольга. Шестьдесят лет... не умный, не красивый. Мокрая, мокрая обезьяна, пришел на шею другого дурака... черного... это надо

же. За ней молодые толпой ходят, а она полюбила эту обезьяну... неприлично...

Лес. День.

На лесной дороге стоит машина "хорх". Эхо разносит звуки выстрела. На заднем сиденье машины лежит убитая свинья, тонкой струйкой стекает кровь...

Голос Антона. Мамины записи скачут без всякой логики с одного эпизода на другой... Все претензии к ней. Это она повторно описывает убийство свиньи моим отцом Зигмундом. Но вот новая история. В ней Паскаль и Сесилия ищут новые кулинарные радости.

Капустное поле. Кружит стая ворон. Заходит солнце. По капустному полю шагают два музыканта. Один высокий, толстый, с механическим пианино, висящим на широком ремне. Второй маленький, со скрипкой. Большой крутит ручку пианино, клавиши сами опускаются и поднимаются. Большой поет басом.

На развилке проселочных дорог видно деревянное строение. Это ресторан "У Платона". Чуть позади музыкантов идут Сесилия и Паскаль. Они тоже пересекают капустное поле и приближаются к ресторану. У Сесилии в руках меню ресторана.

Сесилия (читает). "Маленькие голубята с раками. Ростбиф из ягнят. Язык свиной копченый. Купаты... Бараньи яйца в ореховом соусе..."

Паскаль. Бараньи яйца в ореховом соусе! Фантастика!

Они смотрят на скрипача и пианиста.

Сесилия. Хозяин любопытный человек, звать его Платон. Нанял этих музыкантов, чтобы они ходили по полю к ресторану и назад в поле...

Паскаль. Зачем?

Сесилия. Я тоже спросила, зачем? Он сказал: "Люблю, когда гость вкусно ест, а музыка приближается к нему – издалека..."

Паскаль засмеялся.

Паскаль. Как хорошо!!! Музыка издалека!!!

Окрестные холмы, луч солнца, пробившийся сквозь облака, вороны в небе, красивая спутница – весь этот вечерний пейзаж, окутанный тягучей грузинской песней, показался французскому кулинару чудом. Он так и сказал...

Паскаль. Чудо!.. Сесилия, я люблю тебя! Твоя мама назвала меня старой мокрой обезьяной... я просох, но...

Сесилия. Молчи, я с тобой...

Двор ресторана "У Платона". Вечер.

Паскаль поднимает крышку глиняной миски. В нос ударил острый, пряный запах. Бараньи кишки, нашпигованные мясом, – то что зовется в Грузии купаты, – шипят в глиняной миске.

Паскаль (с наслаждением). Купаты!

К столу подходит хозяин ресторана Платон. В его внешности мало что от греческого философа – большой живот, тройной подбородок, мешки под глазами.

Платон (Паскалю). Только "У Платона" делают такие купаты, угадайте, из чего они...

Паскаль, не боясь горячего, ест. На лице наслаждение.

Паскаль. Купаты из фазана?! Неожиданно!

Музыканты прошли меж столами, оглушив всех басом, скрипкой и пианино. Развернулись и ушли назад в капустное поле.

Паскаль. Здесь мускатный орех, красный перец, полстакана вина и печень... кого?

Платон. Это главное! Печень кого?

Платон готов подсказать. Паскаль останавливает его жестом – "молчи, сам угадаю".

Паскаль. Печень медведя?! Да! Медведь... Фантастика! Фазан и мед ведь встретились в бараньих кишках! Bravo, Платон!!!

История пятая, в которой Паскаль благодаря уникальному носу, распознающему тончайшие запахи, получил возможность осуществить мечту – открыть собственный ресторан.

Оперный театр в Тбилиси. Вечер.

На сцене четыре балерины танцуют "Танец маленьких лебедей" из балета Чайковского "Лебединое озеро". Оперный театр полон зрителей. Сверкают бриллиантовые ожерелья на женских шеях, много военных мундиров. В третьем ряду сидит Ной Жордания, аккуратно подстриженный мужчина, первый президент Республики Грузия. Чуть поодаль, в ряду седьмом, сидят княгиня Сесилия Абашидзе и Паскаль Ишак. Взгляды всех прикованы к изящным



балеринам-лебедям.

Паскаль наклоняет голову к Сесилии.

Паскаль (шепчет). Дорогая, недалеко от нас заложена бомба...

Сесилия (удивленно шепчет). Бомба?

Паскаль. С часами...

Сесилия. Ты слышишь?

Паскаль. Нет.

Сесилия. Как тогда ты знаешь, что бомба...

Паскаль. Запах пороха, тротила, магнезия... я даже знаю, где она.

Лебеди танцуют, поднимают синхронно ноги... Президент с наслаждением смотрит на юных балерин.

Паскаль (вбирает ноздрями воздух). Она под креслом господина Жордания...

Сесилия. Что-то надо делать, Паскаль!

Паскаль. Если сейчас встать и пойти к президенту, решат, что я террорист... во время театральных представлений убивали многих президентов, вспомни хотя бы Авраама Линкольна...

Сесилия. Дорогой, а когда она взорвется?

На их шепот обратили внимание. Кто-то, оглянувшись на них, зашикал... Сесилия повторила вопрос:

– Дорогой, когда она взорвется?

Паскаль (нашел возможность пошутить). Это тайна для моего носа.

Сесилия. Но не будем же мы так шептаться, пока не взлетим на воздух...

Паскаль. Напиши записку и пошли ее президенту...

Лебеди закончили танец. Раздались аплодисменты. Во время аплодисментов сидящий впереди человек вновь укоризненно оглянулся. Сесилия потянулась к нему и проговорила:

– Передайте, что под креслом президента бомба...

Человек вытаращил глаза и застыл в оцепенении. На сцене продолжается действие балета "Лебединое озеро". Голубые лучи прожекторов двигаются за Одеттой, которая рассказывает взмахами крыльев о своей любви к принцу... Неожиданно в тихую нежную музыку врывается громкий голос из партера. Кто-то говорит по-французски. Балерина остановилась. Музыка расстроилась, когда вслед французскому послышался грузинский голос. В партере стоят Паскаль и Сесилия.

Сесилия. Господа, мы просим прощения,

но под кресло господина Жордания заложена бомба.

В зале движение. Хаос. Все бегут к выходу. Топот ног, давка... Странно, но в пустых рядах стоят одинокий президент и французский кулинар с Сесилией. Какой-то молодой человек идет по проходу, приближается к президенту. Паскаль и Сесилия узнают в нем, и это тоже странно, Зигмунда Гоголадзе.

Зигмунд (президенту). Где ваша охрана?

Жордания (растерянно). У меня нет охраны...

Зигмунд. Моя специальность – обезвреживать мины, бомбы, взрывные устройства. Господин президент, прошу вас, куда-нибудь в безопасное место... (Зигмунд посмотрел на Сесилию и Паскаля.) Сейчас не время вспоминать старое, отведите президента...

Квартира госпожи Ишак. День.

Антон смотрит на экран компьютера, качает головой, ухмыляется.

Антон. Мамочка начинает писать третьесортный детектив... Появилась бомба, президент, нос Паскаля, чующий порох. Папа Зигмунд, выделившийся специально из толпы... (Смеется.) Теперь нужен взрыв! Трупы балерин!

Приемная президента Жордания. День.

Цветные витражные окна. Копии римских статуй. Пусто. Только у столика полудремель секретарь президента. Сесилия, Паскаль и Зигмунд сидят под римскими статуями. Лица ожидающих напряжены. Из-за дверей появился человек, он подошел и поздоровался. Это помощник президента, грек Папанасис.

Папанасис. Если есть при себе оружие, можете оставить у секретаря... Президент ждет вас...

Паскаль кладет на стол секретаря свой револьвер. Зигмунд вернулся от дверей президентского кабинета к столу секретаря и положил браунинг...

Кабинет президента. День.

Президент и люди правительства разглядывают гигантский рог с головы африканского супербуйвола. Чувствуется, что многие впервые видят такой бездонный винный резервуар. Президент с рогом в руках встречает Паскаля, Сесилию и

Зигмунда. Рог чуть ли не в рост президента.

Жордания. Из этого рога пил Александр Дюма! Здесь имена чемпионов, что смогли в один прием осушить этот рог, – вот они за сто лет – семнадцать человек.

Президент показывает на серебряный ободок у изголовья рога, где выгравированы фамилии полутора десятка людей.

Жордания. Александр Дюма, восьмой в списке! В восемнадцатом году, путешествуя по Кавказу, в доме князей Абашидзе, в вашем доме, мадам (президент сделал галантный кивок в сторону Сесилии), состязался с лучшими кутилами грузинской нации. Великий Александр справился с этим ужасным сосудом... что не удалось никому из присутствовавших там...

Президент посмотрел на Паскаля, который с восхищением разглядывает гигантский резервуар для вина.

Паскаль. Выпить в один прием?

Жордания. Не отрывая губ... таково условие состязания!

Паскаль. Сколько в него литров вина вмещается?

Жордания. Шесть.

Паскаль. Дюма это смог? Фантастика?!

Жордания. Сегодня можете попробовать и вы...

Лесное застолье. Вечер.

На дереве висит туша кабана, видимо, недавно подстреленного. В медный таз стекает кровь. Кружат собаки, возбужденные запахом крови и удачной охотой. В зарослях папоротника стоит грубо сколоченный деревянный стол, полный яств. Президент, его гости, его министры, изрядно выпившие, веселые, поют. Громкое многоголосие поднимается ввысь к небу. В золотистых лучах низкого солнца, в синем дыму, поднимающемся от костра, где жарятся кабаньи шашлыки, сцена лесного застолья выглядит очень живописно. Чуть иронично рисуются на этом фоне министры в жилетах, бабочках, стоячих воротничках. Поют красиво, выделяется голос Паскаля. Завершив хорал, президент вилкой стучит по пустой бутылке, призывая внимание к себе.

Жордания. Кто мне скажет, что нужно для хорошего обеда? Вкусная еда? Компания? Деньги? Без всего этого можно обойтись. Без чего невозможен хороший обед? Без аппетита! Голод – вот источник

наслаждения! Голод нужно оберегать так же, как мужчине – способность любить женщин...

Паскаль слушает президента и улыбается странной улыбкой, смысл которой мы скоро поймем.

Жордания. Относитесь к своему аппетиту, как к первой любви. Лучше не есть вовсе, чем есть без аппетита... Господа, это не мои слова... Вчера я прочел впечатлившую меня книгу о французских сырах. Я цитирую главу "В поисках утраченного аппетита". Автор этой замечательной книги обладает удивительным нюхом не только к сырам. Вы догадываетесь, о ком я говорю? Сейчас я пью за нос, спасший мне жизнь, я пью за своего нового французского друга...

Президент говорит с улыбкой, в дальнем углу стола вновь запели, кто-то выстрелил из ракетницы и над пиршественным столом рассыпался цветной фейерверк. Президент кладет руку на плечо Паскаля, обнимает его. Шепчет ему на ухо:

– Открыть ресторан в Тбилиси – замечательная идея! Знайте, я ваш союзник всегда и во всем. Надо будет помочь деньгами, поможем...

Паскаль. Господин президент (видно, что Паскаль пьян), вы мне очень нравитесь, поэтому я хочу сознаться вам, я постоянно копил деньги, скитаясь по миру. Всегда! Когда был поваром китайского императора, когда раскапывал скелеты динозавров...

Жордания (он тоже пьян). Динозавров?

Паскаль. В Месопотамии... в пустыне. Жара, малярия, понос... когда работал платным партнером у богатых дам в пароходных круизах... Лондон – Нью-Йорк...

Жордания. С вашим носом, терпеть эти запахи...

Паскаль. Не понял?

Жордания. Динозавры, малярия, понос, старые женщины...

Паскаль пьяно засмеялся. Президент чокнулся с ним стаканом красного вина.

Паскаль. И все это во имя ресторана... моего ресторана.

Жордания. Но почему вы открываете его не в Париже, не в Ницце... а здесь, на далекой европейской периферии...

Паскаль. Я влюбился в Грузию, господин президент...

Кто-то из окружения президента заливает в гигантский винный рог бесконечное

количество бутылок вина. Это действие длится на протяжении всего диалога Ноэ Жордания с Паскалем. Вот, наконец, рог заполнен до краев.

Жордания. А где специалист по обезвреживанию бомб? Я его потерял из виду. Надо за него выпить, а его нет. Зигмунд! Зигмунд!

Президент кричит в темноту леса. Кто-то вновь стреляет из ракетницы, и лес освещается желто-синим цветом.

Лес. Вечер.

В густых зарослях пробирается Зигмунд. В руках небольшой саквояж. Фейерверчные огни цветными тенями ложатся на его лицо, которое напряженно смотрит в сторону президентского кутежа.

Лесное застолье. Вечер.

Под общий смех, оживление, подбадривающие выкрики Паскаль Ишак пьет из гигантского винного рога. Всем ясно, и ему самому, что он не опустошит рог, но игра начата, и всем радостно в нее играть. Сесилия смотрит на сего француза с изумлением. Паскаль представляет собой сюрреалистическое зрелище – он слился с рогом и похож на какое-то мифическое лесное существо – циклопа, единорога, кентавра, козлотура... Но вот он отстранился от рога. Тяжело дышит, оглядывает сотрапезников.

Паскаль. Вино замечательное, но рог ужасный...

Кто-то заглянул в глубину рога, уважительно посмотрел на француза, передал рог стоящему рядом. Тот выпил, передал соседу.

Лес. Вечер.

Зигмунд Гоголадзе сидит в кустах у раскрытого саквояжа. Достает "адскую машину" – бомбу с часами. Заводит часы, ставит стрелки циферблата на нужную позицию. Потом подносит бомбу к носу, нюхает ее.

Зигмунд. Ничем не пахнет...

Отставляет мину на расстоянии вытянутой руки. Нюхает воздух.

Зигмунд. Весь лес шашлыками кабаньими пропитан, неужели и сейчас этот старый жопошник унюхает...

Лесное застолье. Вечер.

Густые заросли папоротника. Зигмунд лежит в шаге от мужчин, сидящих за столом. Он осторожно протягивает адскую машину к стулу президента. Кладет ее на траву, убирает руку и отползает так ловко, что не качнулась ни одна ветка над его головой. Неожиданно он наткнулся на человека, бегущего к столу с шампурами, на которых дымят сочные кабаньи шашлыки.

Человек. Зигмунд! Вас звали! Президент хочет тост выпить за вас! Быстрее к столу!

По тропе идет Паскаль, его качает из стороны в сторону, он тоже несет шампуры с жареной кабаниной. Остановился, увидел Зигмунда.

Паскаль (очень пьяный). Убийство свиньи я вам прощаю...

Разглядывает Зигмунда, как бы хочет сфокусировать на нем внимание. Втягивает воздух ноздрями.

Паскаль. Поднимите правую руку!

Паскаль сказал это так неожиданно и таким тоном, что Зигмунд поднял правую руку. Паскаль понюхал ладонь.

Паскаль. Опять бомбой балуетесь? Еще в опере я догадался, что это вы – руки пахли порохом...

Зигмунд наотмашь ударил Паскаля поднятой правой рукой и рванул в темноту леса. Паскаль – в противоположную сторону, к столу.

Паскаль. Господа, я уже надоел вам бомбами... Но только что опять где-то здесь подложили... может взорваться в любую секунду...

Подняв загруженные вином тела, мужчины в черных костюмах бегут в темноту леса. Оказавшись на приличном расстоянии от стола, они остановились.

Жордания. А где Зигмунд!? Специалист по обезвреживанию... он же хотел работать в охране президента...

На этих словах грохнул взрыв. В лесу взвился столб огня.

Квартира госпожи Ишак. День.

Антон бьет рукой по клавишам компьютера. Экран гаснет. Антон, раздраженный, встает из-за стола.

Антон (полукричит). Это чушь... чушь... Как это понять? Был папа, была мама, у них была нежнейшая любовь...

Марсела поворачивает голову, смотрит на шагающего взад-вперед, размахи-

вающего руками Антона.

Антон (полукричит). Эта рукопись – диверсия не на президента, а на меня!

Марсела. Ты говорил, что Зигмунд – один из авторов взрывной смеси, известной в мире как “Коктейль “Молотов””!

Антон. Да! Я понимаю, почему вы это спросили... но он был тихим, нежным, как тот самый розовый поросенок... мама так и звала его “Ниф-Ниф”.

Квартира Антона. Вечер.

Вокруг стола, заставленного яствами, сидят военные. По погонам видно, что мужчины – работники НКВД. С ними женщины в шелковых платьях, лисьих и норковых накидках. Так одевались в сороковых годах.

Стоит полковник Зигмунд Гоголадзе. Приложив к губам губную гармошку, он играет на ней. Рядом Сесилия Абашидзе. Она тоже держит губную гармошку. Полковник и Сесилия играют. Их глаза сверкают весельем. Когда смотрят друг на друга – любовью.

Кухня квартиры Антона. Вечер.

На кухне Сесилия, заглядывая в Кулинарную Библию дома, готовит осетрину под красным вишневым соусом.

Голос Антона. Но иногда случались скандалы...

Столовая квартиры Антона. Вечер.

Зигмунд сидит за обеденным столом с мрачным лицом... Сесилия выносит из кухни суповник с горячим дымящимся супом-харчо. Разливает в тарелки. Рядом за столом маленький мальчик Антон Гоголадзе с синяком под глазом. Неожиданно Зигмунд перестает есть суп-харчо, встает из-за стола, молча подходит к бельевому шкафу (тот находится в спальне).

Спальня. Вечер.

Богатая мебель. Лампы французского стекла Галле, серебро. Полковник КГБ собрал неплохую коллекцию антиквариата. Зигмунд достает простыню, наволочку, пододеяльник... как-то неумело заворачивает их в газету и, не говоря ни слова, уходит из дома.

Голос Антона. Четырнадцать дней спустя мы с мамой...

Улица Тбилиси. День.

Сесилия, молодая, длинноногая, в рыжем пальто с лисьей накидкой, идет по улице, несет кастрюлю, накрытую подушкой. Рядом шагает мальчик Антон. Он тоже в пальто. Антон и Сесилия переходят улицу, входят в подъезд.

Подъезд незнакомого дома. День.

Перед кабиной лифта Сесилия вручает Антону кастрюлю с подушкой, сажает его в лифт, нажимает кнопку нужного этажа и отпускает мальчика одного в скрипучее путешествие вверх.

Лифт. День.

Семилетний Антон держит кастрюлю. Лицо мальчика насторожено, он явно боится предстоящего выхода из лифта и каких-то самостоятельных действий, порученных ему мамой.

Шестой этаж незнакомого дома. День.

Антон звонит в дверь. Открывает пышнотелая молодая женщина. Она из тех, кто сидел за столом в доме Гоголадзе, когда Зигмунд и Сесилия играли на губных гармошках.

Антон. Это папе (поднимает с пола кастрюлю) от друзей Паскаля Ишака!

Женщина молча берет из рук Антона кастрюлю. Возвращает подушку. Нюхает пар, поднявшийся из ее недр. Довольная, уходит вглубь квартиры. Закрывается дверь. Мальчик стоит один в пустом пыльном пространстве.

Голос Антона. Все, с детством покончено, я начинаю перегибать палку. Скажу только, что папа обычно возвращался назад, к маме. Она его откармливала. Почему возвращался? Любил ее! И она его любила! А тут взрывы, убийства... В ресторане “Эльдорадо” сейчас пойдет рассказ о нем, просто сумашедший дом.

Открытие ресторана “Новое Эльдорадо”. Тбилиси. 1920 год. Кинохроника. Съемки оператора фирмы “Патэ” господина Лорана Данилу.

Рыжего цвета старая киноплёнка, рваные края, царапины, мутное изображение:

Улицы города Тбилиси.

Мост через реку Кура.

Американские машины, трамвай.

Караван верблюдов идет по Головинскому проспекту.

Цветочный базар.

В поле бежит кабан, кто-то стреляет в него.

Вывеска ресторана "Новое Эльдorado".

Нарядная публика сидит в ресторанном зале.

Буфет со множеством бутылок вина, коньяка, виски.

На эстраде поют три пышногрудые певицы. Паскаль Ишак поет с певицами.

Грузинский генерал с бокалом шампанского. Рядом Паскаль Ишак с Сесилией.

Французские генералы в компании Паскаля Ишака и Сесилии с бокалами шампанского.

Швейцар открывает дверь перед входящей компанией.

Силач на эстраде поднимает пудовые гири. Паскаль пытается поднять гири.

Дымят медные котлы.

Шеф-повар в белом колпаке.

Рядом Паскаль Ишак во фраке. В руках он держит ковш, который опускает в котел, вынимает и, не боясь горячего, пробует дымящуюся массу.

На этом обрывается пленка.

И тут же на мгновение вновь появляется бегущий кабан, – и выстрел. Кабан падает, как подкошенный.

Затемнение.

История шестая, в которой рассказывается о ресторанных праздниках и буднях. Портреты знаменитых посетителей.

Вход в ресторан "Новое Эльдorado". Утро.

Останавливается машина "паккард". Из нее выходит Федор Шаляпин – великий бас двадцатого столетия.

Шаляпин пересекает тротуар и входит в ресторанные двери.

Залы ресторана "Новое Эльдorado". Утро.

Шаляпин идет по залу, пустые столики, какая-то дама ест мороженое. Увидев Шаляпина, расширила глаза от восторга...

Навстречу Шаляпину идет Паскаль Ишак.

Он в черном костюме, крайне элегантен.

Шаляпин. Заехал, чтобы сказать спасибо! Вчера вы подарили мне лучший день рождения в моей жизни... Было изумительно!

Паскаль. От вашего баса лопались бокалы на кухне, я впишу их в счет...

Шаляпин на мгновение смутился.

Паскаль (улыбаясь). ... Это ответ на вашу вчерашнюю шутку... Я, если рухнул бы весь ресторан, был бы счастлив говорить, что Шаляпин пел в моем "Эльдorado"...

Шаляпин. И еще, я пришел сказать, что Сесилия, к которой, вы знаете, я равнодушен... вчера свела с ума всех моих гостей.

Паскаль улыбается. Смотреть на огромного высоченного Шаляпина снизу вверх – не очень приятное занятие.

Паскаль. Кари китайский желаете?

Шаляпин. Если скажу нет, мои небо, горло, желудок покинут меня в знак протеста...

В пустом, прохладном, полутемном зале тускло мерцает позолота потолков. Тихо играет изысканная восточная музыка. В центре зала в стеклянном бассейне плавают большущие синие тайландские рыбы.

Бас шаляпинский плывет по пустому залу. Сесилия мелькнула где-то в глубине и исчезла.

Из кухни шеф-повар осторожно поманил рукой Паскаля. Тот встал и пошел через зал на кухню.

Кухня ресторана "Эльдorado". День.

Огромное дымное помещение. Паскаль стоит у плиты и из десятка бутылей сливает цветные масла и соусы на красного китайского карпа.

Шеф-повар (о Шаляпине). Вчера всю ночь пел, пил, ел... я следил, ел невероятно много, как Гаргантюа, сегодня хоть бы что...

Шеф-повар на серебряном подносе, гордый и счастливый, вынес Шаляпину карпа.

Ресторанная пекарня. Вечер.

Маленькое дымное помещение, в центре которого вырыта глубокая яма. Стены ямы глиняные, на дне лежат раскаленные уголья. В яме пекутся лепешки грузинского хлеба. Тут же поросенок на вертеле, капля жира с поросенка падают в уголья и на поджаренные хлеба. В пекарне два пекаря.



Паскаль и Уинстон Черчилль сидят за небольшим столом, смотрят на дно ямы, в ожидании, когда поросенок зарумянится. Видно, что Черчиллю нравится это "приключение": сидеть в чаду, в дымах, пить красное крестьянское вино с двумя красными пекарями и галантным французом.

Вошли официанты с большими подносами, на которых лежит для дегустации все то, что сегодня предлагает шеф-повар. В грузинской традиции это как бы меню для глаза и для вкуса.

Черчилль. Это что?

Паскаль (объясняет). Потроха ягненка с шафраном.

Черчилль. А это?

Паскаль. Жаренные в меде и масле перепелки...

Черчилль. Чудо! Я хочу выпить за бурю, которая разразилась над Стамбулом, из-за неё мой самолет не смог заправиться... Иначе я не смог бы оказаться в Тбилиси... У тебя, Паскаль... А что это?

Паскаль. Это व्यоны с фриадо. А это куропатки с фисташками – в основном выбор для вас европейский... Вот угри...

У Черчилля разбежались глаза. Видно, что он хочет съесть все, что снимается с подносов. Он похож на большого толстого мальчика, любителя сладкого, которого завели в кондитерскую...

Черчилль. А это что?

Паскаль. Маленькие дикие голубята с раками.

Черчилль. Боже мой! Чудо! Ростбиф?!

Паскаль (смеется). Для английского джентльмена ростбиф из ягненка... Копченые языки – мое особо любимое блюдо...

Черчилль проводил красноречивым взглядом любимое блюдо французского кулинара.

Черчилль (шепчет). Копченые языки...

Паскаль. Еще раз потроха по-королевски... Вот, собственно, и все.

Черчилль. Пропустили... Что вот это?

Паскаль. Сальми из бекасов... Но главное нас ждет в этой яме... жареный рачинский поросенок!

Черчилль начал с возбуждающих аппетит закусок, малознакомых ему грузинских трав в ореховом соусе.

Кто-то постучал в дверь пекарни.

Черчилль напрягся. Паскаль встал, подошел к двери и открыл ее, ему что-то шепнули. Он повернулся к Черчиллю.

Паскаль. Извините, я отлучусь, это мои дела...

Черчилль. Паскаль, никому обо мне! Я инкогнито...

Зал ресторана "Новое Эльдorado".
Вечер.

Зал полон. Шум голосов, смех. Силач подкидывает в воздух многопудовые гири. Паскаль быстрым шагом идет на кухню.

Кухня ресторана "Новое Эльдorado".
Вечер.

За несколько мгновений до того, как Паскаль вошел на кухню, Сесилия наотмашь ударила по лицу пьяного Лаврентия Берия, грабителя банков, завсегдатая ресторана, будущего министра КГБ. Пенсне его полетело в сторону рыбного стола.

Сесилия. Я вам не Лулу, которая безропотно носит все ваши хамства...

Лаврентий Берия находит пенсне. Возвращает на нос. Пьяно улыбается и неожиданно сильно бьет Сесилию. Паскаль опешил. Увидев туши очищенных от щетины годовалых свиней, хватает одну со стола и, размахнувшись, бьет ею по жирному затылку Берии. Тот падает под рыбный стол.

Зал ресторана "Новое Эльдorado".
Вечер.

У стойки буфета движение. Кто-то побежал к кухне, кто-то вернулся с новостью. Грузинский поэт Галактион Табидзе шепчется с красивой официанткой Лулу. Чей-то голос громко сообщает:

– Паскаль Ишак избил свиньей грабителя банков... как его...

Галактион. Берия...

Поэт продолжает шептаться с официанткой.

Галактион. Договорились. Я позвоню.

Официантка, еле заметно улыбаясь, кивает головой.

Лулу (стоящим около буфета). У пекарей сидит человек, похожий на Черчилля...

Голос. Я видел, его тайно выводили в туалет...

Официантка собрала на поднос пустые стаканы с буфетной стойки и понесла их на кухню.

Вход в ресторан "Новое Эльдorado". Раннее утро.

Густой туман. Желтая курица осторожно выходит из полуоткрытых ресторанных дверей. Желтизна ее не природная, она явно выкрашена желтой краской.

Это становится очевидным, когда из дверей выходит нетрезвый сонный Галактион. Он смотрит на курицу, делает ей жест, и та, как щенок, бежит к нему. В белом тумане тают великий поэт и бредущая за ним курица...

Внутренний дворик ресторана. Ранее утро.

Стоит черная машина "хорх", за рулем сидит Паскаль Ишак. Из узких дверей появляется Уинстон Черчилль, тоже нетрезвый, но, в отличие от Галактиона Табидзе, веселый, любвеобильный. В обнимку с двумя красными пекарями, курящими английские сигары, они подходят к машине. Громко поют англо-грузинскими голосами. Паскаль выходит им навстречу. Черчилль берет его за лацкан пиджака.

Черчилль. Я провел самую жуткую ночь в своей жизни... Мои глаза оказались большими, чем рот. Я не смог съесть всего, что хотел.

Черчилль раскрыл рот, полный крупных белых зубов.

Черчилль. Зато обрел двух замечательных друзей... Они поедут с нами в аэропорт, если хотят – в Англию...

В машину садятся пекари, английский лорд. Вносится корзина с остатками вчерашнего пиршества. Пекарь говорит Сесилии, которая впрорхнула в машину в последний момент:

– Скажи Уинстону, по пути в аэропорт мы заедем в одно хорошее место, там попробуем бараньи яйца...

Сесилия прошептала на ухо англичанину слова пекаря.

Черчилль. Бараньи яйца? В Грузии бараны сносят яйца?

Пекарь. Слушай, Уинстон, ты вроде умный человек, сообразительный, хорошие тосты говоришь, много знаешь, в Англии большой дом имеешь, библиотеку – скажи, у тебя есть яйца?

Черчилль. До поездки в Индию точно были...

Машина едет по бульжной мостовой. Из тумана выплывают дома, деревья, милиционер на лошади, поэт с курицей, мост через Куру с зажженными фонарями.

Второй пекарь. Такие же, как у тебя, яйца есть у барана... мы их жарим...

В тумане возникает музыкант, – тот, что ходил по капустным полям с механическим пианино?

Пекарь (кричит). Шалва, поехали в аэропорт!

Шалва не раздумывая вскочил на широкую подножку "хорха". И заиграло пианино.

Паскаль (кричит). Где здесь надо поворачивать к бараньим яйцам?

Квартира госпожи Ишак. День.

Марсела дымит кубинской сигарой.

Марсела. Слишком много знаменитостей... Весь молодой XX век...

Вход в ресторан "Новое Эльдorado". Утро.

Из "хорха" выходят Сесилия и Паскаль. Они входят в ресторан, видимо, вернулись из аэропорта.

Зал ресторана "Новое Эльдorado". Утро.

Расстилаются свежие скатерти. Официант на тележке катит ящики с коньяком, виски, водкой... В бассейне меняют воду. Синие тайландские рыбы сидят в стеклянном резервуаре, бьются носами о стенку, недоумевая, почему их вынули из просторного бассейна.

Сесилия остановилась перед рыбами. Паскаль толкнул ее.

Паскаль. Девочка, быстрее, быстрее... спать.

С потолка спущена хрустальная люстра – ее чистит женщина метелкой из птичьих перьев.

Паскаль и Сесилия проходят быстрым шагом зал, готовящийся к вечернему приему посетителей...

Лестница, ведущая в квартиру Паскаля. Утро.

Мраморная лестница, по которой поднимаются Сесилия и Паскаль. Паскаль скидывает пиджак и бросает его на лестнице... Сесилия смеется. Паскаль скидывает ботинки и оставляет их на

лестничной площадке...

Сесилия открывает двери квартиры. Она скидывает плащ и тоже бросает на мраморный пол.

Они входят в квартиру, закрывают двери.

Пиджак, ботинки, плащ лежат, оставленные на ступенях лестницы...

Квартира Паскаля. Утро.

По коридору идут Сесилия и Паскаль. Сесилия скидывает юбку, под которой корсет, чулки. Они входят в спальню. Смеются.

Спальня квартиры Паскаля.

Квартира узнаваема, мы в ней уже были. Тут, среди этой мебели, картин, кутили работники НКВД. Здесь Зигмунд бегал с ножом за Сесилией-индюшкой в воображении больного мальчика Антона. Мы можем догадаться, что квартира эта, принадлежащая французскому кулинару, со временем станет квартирой полковника КГБ Зигмунда Гоголадзе. Но сейчас это неважно. Сейчас влюбленные, на ходу раздеваясь, спешат, спешат спать. Сесилия добежала до постели почти что оголенная, играя своим восхитительным телом...

Затемнение.

История седьмая, рассказывающая о входе в город Тбилиси 11-й Красной Армии, о большой любви красных генералов, офицеров и солдат к ресторану "Новое Эльдorado".

Зал ресторана "Новое Эльдorado".
Вечер.

В бассейне лежит утопленник. Над ним плавают синие тайландские рыбы. Утопленник – солдат 11-й Красной Армии. Рыбы с удивлением смотрят на него своими большими синими глазами.

Плавники щекочут ноздри утопленника, но он не реагирует, как не реагирует в этот вечер зал ресторана на упавшего и захлебнувшегося в водах бассейна барабанщика музыкального батальона 11-й Армии Самуэла Буравского.

В "Новом Эльдorado" празднуют взятие красными коммунистическими войсками города Тбилиси.

Все пьяные. Офицеры стреляют в

потолок. Солдаты, избив буфетчика, берут выпивку с полок, не задаваясь вопросом, а кто же платит...

Стоит адский шум.

На эстраде под хохот зала танцуют три голых солдата. На фоне этих трех солдат, демонстрирующих белые задницы, слышен голос Антона.

Антон (читает). "... В феврале 1921 года в Грузию вошла Одиннадцатая Красная Армия. Её никто не ждал... Спустившись по горным ущельям Кавказа, она ворвалась в город Тбилиси. Цвел миндаль..."

Резко открываются входные двери ресторана. Входит Зигмунд Гоголадзе в форме высокого военного чина 11-й Красной Армии. С ним трое. Они быстро пересекают зал. Зигмунд поднимается на эстраду, достает револьвер и, схватив одного из танцующих голых солдат за волосы, втыкает в ягодицы револьвер.

Зигмунд. Разгулялись, с-суки!

Танцующие остановились. Прижатый задом к револьверу отброшен пинком гоголадзевского сапога с эстрадного возвышения.

Зигмунд. Через десять минут всем быть трезвыми, сюда едет товарищ Орджоникидзе. Труп из бассейна выньте... Где хозяин ресторана?

Вход в ресторан "Новое Эльдorado".
Вечер.

Едет по городу английский броневик. Стальная громадина с грохотом подъехала к входу ресторана "Новое Эльдorado". Остановилась. Из ресторанных дверей поспешно вышли Зигмунд Гоголадзе и сопровождающие его военные. Они почтительно встали у замолкшей стальной громадины. Из неё осторожно высунулась нога в генеральском сапоге. За ногой появился сам товарищ Орджоникидзе, командующий 11-й Красной Армией. Он чрезвычайно пьян, но старается стоять на ногах не качаясь. Двое офицеров выводят на улицу Паскаля Ишака. Лицо у него тревожное. Зигмунд смотрит на Паскаля. Но главное внимание всех – к фигуре командующего. Тот тронулся к дверям, улыбаясь бессмысленной улыбкой.

Зал ресторана “Новое Эльдorado”.
Вечер.

Орджоникидзе смотрит на синих рыб. Утопший барабанщик уже не лежит на дне бассейна. Командующий заинтересовался рыбами.

Орджоникидзе (с пьяной дикцией).
Зажарить их...

Никто не понял сказанного.

Орджоникидзе (повторяет). Зажарить их...

Сказал и пошел. Адьютант командующего понял со второго раза, повернулся к Паскалю.

Адьютант. Поймайте и зажарьте...

Паскаль. Но они несъедобные...

Адьютант. Исполняйте немедленно...

Зал полупустой. Изгнаны все пьяные. Товарищ Орджоникидзе садится за стол, полный яств, наливает в бокал вина и неожиданно засыпает. Не выпуская бокала из рук, он застывает, как скульптура. Все с почтением смотрят, никто не удивлен, видимо, знают за своим командующим такую странность.

Сидит Орджоникидзе один за большим столом, спит, вытянув руку с бокалом. Паскаль смотрит на спящего командующего. К Паскалю подходит Зигмунд.

Зигмунд (вежливо). Два года не виделись!?

Паскаль молча кивнул головой.

Орджоникидзе открыл глаза и сказал:

– А где синяя рыба?

Зигмунд (улыбнулся командующему).
Жарится!

Он взял Паскаля под локоть и подвел к бассейну. Указал на одну из синих рыб.

Зигмунд. Эту...

Паскаль. Я этого не сделаю!

Зигмунд улыбнулся.

Зигмунд. Эту... и эту...

Прибежал солдат, он как-то ловко, пошачьи прыгнул бассейн, и через мгновение в руках его затрепыхалась синяя рыба и тут же вторая.

Кухня ресторана “Новое Эльдorado”.
Вечер.

На жаровне стоит сковородка, на ней – две синие рыбы.

Рыбы шипят, брызгаются маслом. Паскаль достает из настенных шкафов баночки со специями...

Паскаль. Это сложнее, чем столетнего китайского карпа сделать свежим...

Сесилия смотрит на нервное лицо Паскаля. Обычно спокойный, француз не может скрыть своего возмущения и растерянности... Его ресторан, его любимое детище стало жертвой разбоя.

Вошедший на кухню Зигмунд смотрит на жарящихся синих рыб, потом долго смотрит на Сесилию. Пожирает ее глазами...

Зигмунд. Я хочу вас представить товарищу Орджоникидзе.

Сесилия, не дослушав его, вышла из кухни.

Зал ресторана “Новое Эльдorado”.
Вечер.

Сесилия идет по залу красивая, независимая.

Орджоникидзе, уже протрезвевший, с белой салфеткой за воротником генеральского френча, большоголового, с гривой длинных волос, крупным римским носом, с любопытством смотрит на Сесилию. Та подошла к буфетной стойке.

И тут за руку ее хватает Зигмунд.

Зигмунд. “Желанная, желанная гостья”, помните харчевню в Раче?

Сесилия побледнела от гнева.

Сесилия. Отпустите руку...

Зигмунд. Нет, девочка, с этого момента ты моя... навсегда!

Орджоникидзе смотрит на них, приветливо машет рукой, подзывает.

Орджоникидзе. Зигмунд, подведи эту красоту, дай полюбоваться и мне...

Сесилия оказалась перед столом командира 11-й Красной Армии.

Ее усадили за стол. Орджоникидзе мягко улыбается, он похож на римского патриция, вкушающего роскошный ужин на вилле в Помпее.

Орджоникидзе. Ты кто, девочка?

Сесилия (чуть с вызовом). Княгиня Абашидзе...

Орджоникидзе (удивленно). Княгиня? Почему так гордо!? Княгинь и князей сейчас вешают на телеграфных столбах...

Орджоникидзе продолжает улыбаться, широким жестом приглашает Сесилию вкушать разнообразнейшие яства.

Орджоникидзе. Телячьи хвосты... или вот телячьи уши, мелко крошенные... Я, знаете, большой любитель всего

изысканного, необычного... Об этом ресторане в Швейцарии слышал... Не отказывайтесь... княгиня... Вы тоже такая изысканная, необычная...

Орджоникидзе долгим взглядом осмотрел глаза, губы, шею, грудь Сесилии, обглаживая при этом телячий хвост. Что-то вспомнил, встрепенулся.

Орджоникидзе. А где тайландская рыбка?

Кто-то побежал на кухню. И тут же оттуда вышел Паскаль. На большом серебристом блюде он несет что-то чрезвычайно дымящее. В клубах дыма синеют две рыбины. Рядом с Паскалем шагает собака. Большая, лохматая пастушья овчарка. Мы ее видели, когда утром в тумане с заднего двора ресторана уезжал Уинстон Черчилль. Она кружилась вокруг машины, и англичанин, садясь, приласкал лохматое доброе чудовище. Паскаль и собака остановились в двух шагах от стола.

Паскаль. Господин Орджоникидзе, я не могу позволить угощать вас несъедобным блюдом... Мой ресторан имеет особую репутацию. Мы имеем много экзотического в своем меню... За это его ценят гурманы Кавказа, Малой Азии, Европы. Но то, что не будет есть даже собака...

Паскаль положил блюдо на пол перед овчаркой. Та подошла, обнюхала и отошла в сторону.

Глаза Орджоникидзе недоуменно следят за разыгравшимся перед ним действием. Командующий посмотрел на Зигмунда. Тот зло на Паскаля, который в почтительной позе, с глубоко скрытой издевкой стоит и ждет высокого решения.

Орджоникидзе. Я не господин, а товарищ Орджоникидзе. Часто ел то, что даже собака не съест... Подайте! (Сделал жест, веля поднять и поднести блюдо.)

Паскаль не двинулся с места, хотя жест был обращен к нему.

Орджоникидзе (Паскалю). Вам говорю...

Паскаль поднял блюдо, поставил его на стол перед Орджоникидзе. Тот схватил Паскаля за рукав.

Орджоникидзе. Может, и вас (смеется) жарить?.. Нет?

Не отпускает рукав Паскаля. Смотрит ему в глаза с улыбочкой.

Орджоникидзе. Что-то хочется с вами придумать... остроумное... У вас есть

морозильная камера?

Один из офицеров, бывший, видимо, на кухне, говорит:

Офицер. Есть! Большая! Там навалом свиных туш...

Орджоникидзе. Очень хорошо... Очень хорошо...

Орджоникидзе говорит и ест тайландскую рыбу. Непонятно – “очень хорошо” относится к рыбе или к морозильной камере.

Орджоникидзе. Пока мы поужинаем, пусть наш французский друг посидит там...

Зигмунд. В морозильнике?

Орджоникидзе кивает головой, подтверждая вопрос Гоголадзе.

Морозильная камера. Вечер.

Стены покрыты снежным инеем. На железных крюках висят туши – свиные, бараньи, коровьи. Полумрак. Виден Паскаль. Он стоит, смотрит на висящие туши. Снимает с крюка одну свинью и тащит ее. Подтягивает и вешает на другой крюк. Потом снимает следующую тушу и вновь вешает на крюк...

Голос Антона (читает). “Чтобы не превратиться в кусок льда, Паскаль стал перевешивать с крюка на крюк свиные, бараньи, коровьи туши... Застолье генерала Орджоникидзе затянулось до рассвета. О Паскале забыли. Когда комиссары Одиннадцатой Армии, пьяные и сытые, стали расходиться, вспомнили о французе. Орджоникидзе велел открыть дверь морозильной камеры. Все увидели старого человека в пару и в поту...”

Поддерживаемый двумя адъютантами в морозильную камеру входит товарищ Орджоникидзе. Смотрит на Паскаля, с которого ручьями течет пот по лицу, шее. Голова в облаке пара. Орджоникидзе настолько пьян, что не может говорить членораздельно. Долго смотрит, открывает рот.

Орджоникидзе. Спасибо, очень, очень вкусно...

Его выносят адъютанты. Выходя за порог, Орджоникидзе высвобождает руку и тычет указательным пальцем в Паскаля.

Орджоникидзе. Что-то я придумала для вас... обещаю!..

Зал ресторана “Новое Эльдorado”. Раннее утро.

Официанты собирают посуду, пустые бутылки с генеральского стола. Адьютанты тащат грузное тело командующего 11-й Красной Армии.

Голос Антона (читает). Неделю спустя в солдатской пьянке пристрелили шеф-повара... Содрали со стен французские шпалеры, уничтожили коллекцию дорогих вин... разбили посуду, украли серебряные приборы. Зеленщики, сыроделы, птичники перестали доставлять в ресторан провиант – они, крестьяне окрестных сел, боялись приезжать в город, где стреляли и убивали по любому пустяку...

Салон машины Зигмунда. День.

На заднем сиденье сидит Сесилия, смотрит в окно. Шофер, молодой рыжеволосый военный, берет с переднего сиденья огромный букет белых роз и протягивает их Сесилии.

Шофер (улыбается). Забыл! Товарищ Гоголадзе велел вручить вам...

Сесилия тонет в белых розах.

Рядом с Сесилией сидит молодой майор с набриолиненными волосами.

Коридор НКВД. День.

По коридору идут майор, шофер, Сесилия с букетом роз.

Кабинет полковника Гоголадзе. День.

Зигмунд Гоголадзе ходит по кабинету и громко смеется. Сесилия стоит у стола, лицо ее горит от гнева, розы разбросаны по полу.

Зигмунд. Очень завидую вашему любовнику... А он знает, что вы его так любите?!

Смеется.

Зигмунд. ...Но то, что вы меня ненавидите, меня это очень... как сказать... возбуждает... нет, неверно... меня это очень... (делает паузу)... я еще больше хочу добиться своего... Вчера я сказал Орджоникидзе, что хочу взять вас в жены. Ему понравилась эта идея... Завтра в вашем же “Эльдorado” справим свадьбу.

Сесилия. Вы играете в идиота или вы идиот... Вы же знаете – никогда, никогда я не буду вашей женой...

Зигмунд смеется.

Зигмунд. Я идиот... Но вы с вашим

французским любовником много раз меня обижали. Зачем? Теперь я буду обижать. Мы сыграем сейчас в одну идиотскую игру...

Зигмунд не закончил свою речь, в руках у него револьвер, он выбрасывает из него пули. Поднимает револьвер, целится в настенные часы. Нажимает курок. Раздается оглушительный выстрел. Стекло и циферблат часов разлетаются вдребезги. Зигмунд, видимо, сам не ожидал, что единственная пуля встанет перед револьверным бойком.

Сесилия. В какую игру вы хотите со мной сыграть?

Зигмунд нервно засмеялся.

Зигмунд. В офицерскую рулетку...

Сесилия. Или вы убиваете меня, или я выхожу за вас замуж? Так вы действительно идиот...

Зигмунд бьет Сесилию по лицу.

Квартира госпожи Ишак. День.

Антон вскоил из-за стола. Он один в квартире. Пошел к холодильнику, открыл его. Вынул початую бутылку водки и из горлышка осушил всю до дна. Дверка холодильника распахнута настежь. Антон садится на пол, скрестив по-турецки ноги, и смотрит в освещенное нутро. Тянет руку ко второй бутылке с вином. Пьет. Ставит бутылку на пол, смотрит в холодильник. На помидорах испарина.

Антон. Что, холодно?

Вопрос задан, видимо, помидорам.

Помидоры молчат.

Антон (пьяный). Папочка мамочке револьвер в ухо, в рот, потом... в... (Пьяно смеется.) Помидорам нельзя говорить, куда... (Смеется.) Раскручивал барабан и нажимал на курок...

Зал ресторана “Новое Эльдorado”. Вечер.

Свадьба полковника Зигмунда Гоголадзе и бывшей княгини Сесилии Абашидзе. Ресторан полон военных. Стоит ор, смех, аплодируют командиру 11-й Армии, который, взяв в зубы платок, исполняет “кинтаури” – популярный танец тбилисских кутил. Движения Орджоникидзе, несмотря на грузное тело, полны артистизма, видно, что когда-то он хорошо танцевал. Крики восторга. В белой фате сидит невеста.

Голос Антона (продолжает пьяный монолог у холодильника). Сесилия пишет, оправдывается, что когда она почувствовала холод револьверного дула внизу... под животом, она не выдержала и сказала: "Да"...

Хлопает в ладоши жених Зигмунд Гоголадзе. На нем парадный мундир. Сверкают погоны. Невеста, красивая, как цветок магнолии, следит за танцем Орджоникидзе, иногда глаза ее останавливаются на дверях кухни.

Кухня ресторана. Вечер.

Кухня похожа на машинное отделение океанского парохода, все дымит, шипит, из плит вырываются языки пламени. Снуют люди. Командует всем Паскаль Ишак. Вместо убитого шеф-повара он организовывает кухонную работу для свадьбы. На лице невозмутимое выражение – профессионал за работой. Но в глазах – только мы, зрители, можем понять, что происходит в глубине души старого, за день очень постаревшего французского кулинара.

История восьмая, о приезде в Тбилиси Коллонтай – ленинской министерши, о ее длинных ногах и о дне всеобщего поноса.

Тбилисский вокзал. День.

Перрон. Стоит толпа военных, гражданских чиновников. В толпе видны Орджоникидзе, Зигмунд Гоголадзе, Сесилия. Все ждет прибытия поезда. Вот он, дымя, медленно подъезжает к перрону. Толпа идет к вагону, где в открытых дверях, как белое видение, мельнула красивая женщина в пенсне... Это товарищ Коллонтай, министр Российского правительства, соратник Владимира Ленина. Она приветливо улыбается стоящим на перроне, улыбается военному оркестру, который при ее появлении громко заиграл революционный марш. Коллонтай сходит со ступенек вагона в белой собольей шубе и попадает в объятия генерала Орджоникидзе.

Коллонтай. У вас жарко. В Москве снег...

Она скидывает соболью шубу, все видит сильное стройное тело ленинской министерши. На ней шелковое платье, нить крупных жемчугов.

Коллонтай. Товарищ Ленин просил передать всем грузинским товарищам свои

извинения, что в самую последнюю минуту врачи запретили ему поездку в Тбилиси.... Он очень сожалеет, что не может присутствовать на празднике становления Советской власти в Грузии... попросил поехать меня. Я с радостью! Грузию я очень люблю.

Оркестр заглушает слова министерши. Мужчины не спускают с нее восхищенных глаз.

Паровоз выпускает белые пары, в них тунут коммунистические лидеры Советской Грузии....

Тбилисские серные бани. День.

Каменный бассейн, над которым густой пар. Это горячая серная баня – одна из достопримечательностей города Тбилиси. Сюда обычно водят гостей. Сквозь пар видны две женские головы, Коллонтай и Сесилия. Обе красивые, у обеих угадываются большие (как "поросята" – слова Паскаля) груди.

Коллонтай. Это самоубийство... за три дня я прибавила столько... странно в зеркало на себя смотреть...

Сесилия. Клевета! Орджоникидзе просил меня завести вас купаться в четырнадцатый номер... А я знаю, что это за номер, там есть незаметная дырочка в стене. Еще Пушкин, Александр Сергеевич, баловался тем, что подсматривал в эту дырочку.

Коллонтай (смеется). Пушкин!? Ему бы я с удовольствием себя показала..., но не Орджоникидзе. Фу! (Скривила красивые губы.) О, до революции я такое вытворяла. В Берлине устроила демонстрацию "Долой стыд" – две тысячи голых мужчин и женщин. Ленин из Цюриха слал депеши, кричал: "На что ты партийные деньги тратишь!" ...Я ему объясняла, что "голое тело (смеется) – это борьба с буржуазными предрассудками..." А в Венеции, божественной Венеции, меня выкидывали из окон в воды каналов... Это попало в прессу. "Мисс Красная революция работает проституткой в венецианских борделях..." Назло Ленину я проповедовала "свободный секс большевиков и большевичек". (Смеется.) Кстати, этот повар из "Эльдорадо", у меня с ним был дикий роман на пароходе Лондон–Нью-Йорк–Лондон, три раза я ездила туда, обратно... Ты знаешь, о ком я говорю?

Сесилия слушает откровения ленинской министерши. Когда неожиданно та

заговорила о Паскале, Сесилия изменилась в лице. Побледнела. Жала губы. С трудом ответила на вопрос Коллонтай.

Сесилия. Этот старый француз... знаю...

Коллонтай. Паскаль, не помню фамилии, она похожа на какого-то животного... Тигр, нет... Ишак. (Смеется.) Очень постарел.... Сделал вид, что не узнал меня.... Выглядит каким-то несчастным. Надо приласкать его...

Горячий пар серных источников скрывает лица красивых женщин.

Оперный театр в Тбилиси. Вечер.

На сцене огромный портрет Карла Маркса, увитый бумажными цветами. Стоит длинный стол, накрытый красной скатертью. Сидят партийные руководители, в центре – товарищ Коллонтай. Рядом со столом, перед микрофоном, стоит товарищ Орджоникидзе. Он произносит пламенную речь.

Орджоникидзе. Мы послали телеграмму больному товарищу Ленину, в которого, как вы знаете, стреляла эсерка Фанни Каплан. В телеграмме мы пишем: "Над Тбилиси реют красные знамена..."

На сцене, во втором ряду президиума, сидит Сесилия. Она открывает свой ридикюль, лежащий на коленях, достает из него ключ, шепчет кому-то на ухо и отдает ключ. Человек передает ключ соседу, тот передает следующему, ключ попадает к Коллонтай. Коллонтай кладет его в вырез на груди. Через мгновение она встает и, пересекая сцену, уходит за кулисы.

Салон машины. Поздний вечер.

На заднем сиденье сидит товарищ Коллонтай. Она смотрит в окно на улицы незнакомого города.

Двери квартиры Паскаля Ишака. Вечер.

Коллонтай осторожно открывает дверь. Входит в знакомую нам квартиру. Темно. Она проходит коридор. Заходит в спальню.

Спальня квартиры Паскаля. Поздний вечер.

Коллонтай зажигает свет. На кровати лежит Паскаль Ишак. Он жмурится от света.

Паскаль (удивленно). Вы?

Коллонтай. Паскаль, ты же помнишь меня, Жужу Кнохенгауэр?

Паскаль. Вы товарищ Коллонтай?

Коллонтай. Пароход "Принцесса Анна",

я играла немецкую графиню... ты играл французского баронета...

Оперный театр. Ночь.

На сцене, во втором ряду президиума, сидит Сесилия. Орджоникидзе продолжает говорить...

Орджоникидзе. ...на нас надевали терновые венцы, нас стегали бичами, мы тащили свои тяжелые кресты на свои Голгофы!!! Придет время, про нас напишут "Красное Евангелие"...

Орджоникидзе наслаждается собственным красноречием. Из-за кулис появляется Коллонтай. Она пересекает сцену. Проходя мимо Сесилии, вручает ей ключ и садится на свое место. Смотрит на Сесилию и изображает на лице – "о, это было замечательно"... Сесилия улыбается, потом отворачивается... На ее глазах слезы...

В зале оперного театра раздались аплодисменты.

Орджоникидзе (кричит). Наш Христос – Ленин!

Лес. Охота. День.

По лесу, мелкому болоту идут охотники. Их человек двенадцать. Это Орджоникидзе, Гоголадзе, племянник Льва Троцкого Михаил Троцкий, длинноволосый мужчина, находящийся в любовной связи с товарищем Коллонтай, с ней приехавший из Москвы, Сесилия, сама Коллонтай. У всех охотников ружья. По лесу, полю, болоту бегают собаки, поднимают в воздух дикую голубей, горных куропаток. Коллонтай отличный стрелок. Куропатки и голуби падают от каждого ее выстрела. Собаки с веселым лаем мчатся, чтобы вытащить их из колючих кустов, гнилого болота... На охотничьем ремне Коллонтай гроздьями висят рыже-коричневые тушки. Стреляют все. Но не все попадают.

Охотничий ужин. Вечер.

У водопада, среди серых острых камней, отдыхает группа охотников. Вокруг колючие кусты. Чуть в стороне, под навесом, стол, там мы обнаруживаем Паскаля Ишака.

Он готовит из охотничьих трофеев ужин. Под навесом женщина-крестьянка расставляет на столе еду, привезенную охотниками в больших плетеных корзинах.

Крестьянка зовет всех на ужин. Охотники

с удовольствием принимаются за еду... А вот и Паскаль Ишак с медным подносом, на котором жареные голуби и куропатки. Разливается вино, дичь невероятно вкусна. Паскалевские соусы, гарниры, приправы заставляют всех стать обжорами...

Облизывая пальцы, испачканные клюквенной подливой, Орджоникидзе позвал Паскаля.

Орджоникидзе. Я слышал, вы не только великий кулинар, но и певец...

Паскаль. Для себя, балуюсь...

Орджоникидзе. Скромничаете. Я знаю историю с Барбизоновым... Спойте...

Орджоникидзе смотрит на француза, улыбается.

Паскаль. Для вас с удовольствием...

Зигмунд поднял голову и удивленно посмотрел на Ишака. Уж очень покорно и легко соглашается француз.

Орджоникидзе. Спойте арию Канио из "Паяцев"...

Паскаль. Канио?

Аkkордеонист, который до этого играл популярные шлягеры начала советской эры, развлекая ими вождей Кавказской республики, стал играть вступление к арии Канио... Сесилия, сидящая по правую руку от Орджоникидзе, ест грушу, не смотрит на Паскаля.

Подошел момент вступления, и Паскаль запел под аккордеон.

Паскаль. "Смейся, паяц, над разбитой любовью, смейся и плачь..."

Все засмеялись, Паскаль заулыбался, он начал так громко и немного карикатурно, что смех был уместен... Сидящие за столом обглаживают косточки диких голубей и слушают пение. Солнце опускается за далекие холмы.

Разъезд. Вечер.

Четыре большие американские машины ждут коммунистов-охотников. Кончив ужин, пение, все рассаживаются в "форды", "паккарды", веселые и довольные. Машины тронулись. Но тут же остановились.

Племянник Троцкого выбегает из первой машины и с виноватым лицом бежит к колючим кустам. Видно, что-то с желудком случилось. Все сидят в машинах, глупая пауза. Все ждут возвращения высокого московского гостя. Но вот сам генерал Орджоникидзе так же поспешно вышел из

машины и пошел в кусты. Ждут Орджоникидзе. Сесилия поймала взгляд Паскаля из последней машины, где сидит обслуга: повар, крестьянка, аккордеонист, официант. Что-то учуяла Сесилия во взгляде старого кулинара. Она улыбнулась в предощущении какой-то авантюры. Вот вернулся племянник Троцкого.

За ним генерал.

Все в сборе. Поехали.

Кортеж машин выбирается с поляны на дорогу.

На месте кутежа осталось только облако пыли...

Дорога. Вечер.

Капустные поля, пустыри, овраги. Едут машины нового Грузинского правительства. Но вот передний "паккард" вновь останавливается. Из него вылез Орджоникидзе и побежал капустными рядами куда-то вдаль, где чахлый куст, за которым он скрылся, присев на корточки.

Из второго "паккарда" вышел злой Гоголадзе, подошел к последней машине, где сидят обслуга и Паскаль Ишак. Гоголадзе остановился у окна.

Гоголадзе. Командующий отравился, у него понос...

Только сказал, как из второй машины вышел военный и бегом к оврагам...

Гоголадзе. Что это значит?

Внимательно смотрит на Паскаля. Тут неожиданно из впереди стоящей машины вышла Сесилия. Она подходит к Зигмунду.

Сесилия. В животе словно взрывается бомба... не могу... куда?

Гоголадзе. Пойдем, вон там орешник... дойдешь?

Сесилия. А ты зачем?

Гоголадзе. Пошли. Я покараюлю...

Сесилия скривилась, побежала.

Еще один военный большими шагами пошел по капусте. Где-то там исчез.

На какое-то время все успокоилось. Сидящие в машинах молча смотрят на пейзаж, где в оврагах, в кустах сидят высокие представители Советской власти и дристают...

В небе кружат вороны.

Возвращается бледный командующий. Он подходит к машине Паскаля.

Орджоникидзе (Паскалю). Выйди!

Паскаль выходит из машины.

Орджоникидзе. Чем ты нас кормил?

Паскаль. Дикими голубями и куропатками, вы их стреляли, я готовил, а соусы, подливы не вызывают у меня сомнений...

Орджоникидзе. Но у всех понос!!!

По полю идут Сесилия и Зигмунд, за ними двое военных. Возвращаются к машинам. Садятся.

Тронулись машины.

Дорога. Капустные поля. Они множатся, куда ни глянь, зеленое море зеленых шаров. Резко останавливается вторая машина. Зигмунд Гоголадзе выскакивает из нее, не знает, куда бежать, тут нет ничего, за что можно спрятаться, только вдали, на горизонте, лес, горы.

Гоголадзе (кричит). Не смотрите в мою сторону...

Он сидится прямо в капустные шары... видимый всем. Паскаль сидит и смотрит на близкую фигуру Гоголадзе. Сесилия подходит к его машине. Спрашивает по-французски, чтобы не поняли люди из obsługi:

– Ты это специально сделал?

Паскаль. Да.

Сесилия. Люблю тебя!

Паскаль. Нет... я люблю тебя!

Сесилия. Из меня лилась зеленая жижа, я сидела в кустах и смеялась, что ты сделал?

Паскаль. Молчи...

Сесилия. Что ты сделал?

Паскаль. Накормил вас воронами.

Сесилия. Воронами?

Паскаль. Да... воронами...

Сесилия смотрит на сидящего в капусте Гоголадзе.

Сесилия. Какое он ничтожество, боже, какое он ничтожество... Если бы ты только знал, Паскаль... Что мне делать? В моей жизни все спуталось... Паскаль, люблю...

Странная сцена. В поле стоят машины. Муж дристанет в поле. Жена признается в любви другому мужчине в присутствии других, на другом языке. Вот муж встал, поднял штаны и идет, кричит:

– Пристрелю... Этот француз что-то подмешал... С нами здесь вожди революции, а эта свинья заставила нас дристанть публично!!! Пристрелю! Дурную историю кончу кровью...

Зигмунд вынул револьвер и бежит к

машине, где сидит Паскаль. Открывает дверцу и вытаскивает француза из машины.

Зигмунд. Пошли! Уложу тебя лицом в мое дерьмо и пристрелю... Ты любишь запахи, мое дерьмо будет для тебя последним запахом...

Из машины выскакивает Коллонтай. Догоняет Гоголадзе. Хватает револьвер, прижатый к затылку Ишака. Гоголадзе сопротивляется, не отдает револьвер, раздается выстрел. Кровь залила лицо Паскаля. Сесилия с криком помчалась к Паскалю.

Сесилия (Зигмунду). Подлец, негодяй...

Она хватается голову Паскаля. Видимо, пуля только поцарапала висок. У Паскаля подкосились от испуга ноги. Он и Сесилия падают на колени... Коллонтай срывает подол нижней юбки и обтирает им кровь, вглядывается в рану.

Коллонтай. Ничего. Ничего. Неглубоко...

В этой суматохе никто не заметил, как Орджоникидзе вновь побежал в глубину капустного поля и присел на корточки невдалеке...

Квартира госпожи Ишак. Утро.

Визжит соковыжималка. Марсела готовит сок из яблок, апельсинов, клубники. Марсела смеется, читая листки, вынутые из компьютерного принтера. Разливает сок в стаканы и несет один стакан на балкон, где стоит Антон в полосатой ночной пижаме. За балконом парижские крыши, золотой купол Дома Инвалидов.

Антон. Мне так хорошо! Каждое утро вы приносите сок...

Марсела села в плетеное кресло и принялась за утреннюю сигару.

Антон. ...Вчера в записках появилось объяснение причины всеобщего поноса.

Антон протягивает Марселе листки. Они падают на кафельный пол балкона. Оба, и Антон и Марсела, поднимают их. Антон сидит на полу.

Антон (читает). "...Мне пришла в голову странная мысль, я вспомнил китайскую новеллу XIII века Бо-Лю-Шиня, в которой повар накормил лесных разбойников воронами вместо голубей и куропаток... Мне выдался точь-в-точь такой же случай. Вороны кружились тут же над моей головой. Я взял ружье..."

Капустное поле. Вечер.

Сесилия обвязывает голову Паскаля куском коллонтаевской нижней юбки. Сама Коллонтай бежит по капустным рядам.

Паскаль (по-французски, Сесилии). Семь ворон я замешал в ужин...

Сесилия скрывает улыбку.

Паскаль. Приготовил их по древнекитайскому рецепту. Знал, чем все это может кончиться, что всех хватит адский понос. (Улыбается.) Но я это сделал!!! В новелле Бо-Лю-Шиня разбойники отрубили повару голову... (Улыбается.) А мне...

Зигмунд Гоголадзе стоит в стороне, ждет Орджоникидзе, который возвращается. Гоголадзе смотрит на Паскаля.

Гоголадзе. Почему ты всегда оказываешься победителем? Почему я не могу спокойно пристрелить тебя? Почему московская министерша защищает тебя? Почему эта женщина все равно твоя? (Указывает на Сесилию.) Почему? Ты же старая, никому не нужная вещь!?

Паскаль улыбается Зигмунду, подол коллонтаевской нижней юбки стал красным от крови...

История девятая, рассказы-вающая о жизни Паскаля Ишака на чердаке собственного дома, среди помидоров, выращенных в горшках. Конец великого Дон-Жуана. Станный конец.

Вход в ресторан "Новое Эльдorado".
Утро.

Осень. На двери ресторана висит большой амбарный замок. Выбитые стекла заделаны фанерой. Перед дверьми стоит Паскаль Ишак. Он в пальто, кавказской папахе. На улице зябко, сыро.

Вход в квартиру Паскаля Ишака. День.

Солдаты и молоденький набриолиненный майор, мы его видели, когда Сесилию везли в НКВД, стоят у дверей и опечатавают ее сургучом.

Майор. Ну все! Я поднимусь на чердак...

Майор поднимается по винтовой скрипучей лестнице вверх, заглядывает в круглые пыльные окна, видит внутренний двор ресторана, улицу, крыши Тбилиси...

Чердачная комната. День.

Пустая комната, на веревках висит, сушится белье. Это ресторанные скатерти. У стены – диван, старый, кожаный. На диване сидит Паскаль Ишак, сидит, пьет чай. С потолка свисает голая лампочка... Неуютно.

Паскаль поднимает глаза на стук в дверь.

Паскаль. Войдите!

Входит майор НКВД.

Майор (по-французски). Я сожалею, что так получилось... но я лишь выполняю приказы.

Паскаль. Что будет с рестораном?

Майор. Будет АПОКП.

Паскаль. Что?

Майор. "Агитационный Пункт Образцового Коммунистического Питания". Я, правда, не знаю, что это такое. Из Москвы прислали инструкцию о необходимости новой концепции еды.

Паскаль. Налить вам чаю? У меня есть две селедки, печенье...

Майор. Почему вы не уедете?

Паскаль. Куда?

Майор. Во Францию...

Паскаль. Я отдал ресторану все... Самые счастливые часы я провел у его плиты... Ресторан закрыли. Меня прогнали. Но я знаю, это ненадолго. Коммунизм скоро разочарует всех, а хорошая кухня, хорошие рецепты, хорошее застолье – никогда...

Майор. Мир, который мы строим, не для таких наивных, как вы, уезжайте... Сегодня у вас две селедки, печенье, завтра не будет и их... Умрете с голоду. Я опечатаю ваш гроб, как опечатал вашу квартиру, и в Париж... Но лучше живым туда... Хотя, посылать гроб в Париж дорого, проще в яму с известью...

Паскаль (смеется). Как Моцарта! Спасибо, майор...

Вход в ресторан "Новое Эльдorado".
День.

Снята вывеска ресторана "Новое Эльдorado". Вместо нее таинственные пять красных букв "АПОКП". Двери распахнуты. Перед дверьми стоит Паскаль. Нюхает запахи, выходящие из АПОКПа. Они ему не нравятся. Он отходит. Видно, как ему трудно ходить...

Бывшая квартира Паскаля. День.

С шумом распахивается дверь квартиры

Паскаля Ишака. Порывистым шагом входит Зигмунд Гоголадзе, его сопровождают несколько человек. Зигмунд оценивающе разглядывает квартиру. Ходит из комнаты в комнату. Доволен. Включает лампы из французского стекла. Пробует кресла, разглядывает бронзовые скульптуры, заводит стенные часы, слушает мелодичный бой... Очень доволен... Говорит майору с набриолиненными волосами, в глазах которого прячется ирония.

Зигмунд. Беру... Все оставить как есть, сменить белье (оглядывается), собственно, и все...

Чердачная комната. День.

На полу глиняные горшки, в них растут кусты помидоров. Красные плоды просвечивают сквозь густую зелень.

Диван, плед, керосинка, чайник, кастрюля, сковорода... Паскаль Ишак стоит у открытого окна. Смотрит на задний двор своего бывшего ресторана. Нюхает. Морщится. Отходит от окна, возвращается и вновь вдыхает поднимающиеся снизу запахи. Они, видимо, дурные. Паскаль высывается из окна и кричит.

Паскаль. Эй! Эй! Эй!

Никто не откликается.

Та же комната. В окне виден падающий снег. Паскаль стоит у открытого окна и вдыхает запахи, поднимающиеся из его бывшего ресторана.

Паскаль (шепчет). Это они делают каурму...

На плечах плед, ноги в несвежих кальсонах. Стук в дверь.

Паскаль. Открыто...

Входит Сесилия, красивая, как всегда. В рыжем пальто с лисьей накидкой... Садится на диван. Порывистым жестом прижимает к лицу ноги в кальсонах. Паскаль молчит. Молчит Сесилия.

Сесилия. Все очень плохо! Помнишь Берию, которого ты избил свиньей... он стал главным человеком в НКВД. Я уезжала в Баку. Ты голодный, я просила, чтобы из АПОКПа подняли тебе... еду...

Паскаль. Оттуда поднимаются ужасные запахи.

Сесилия раскрыла бумажный пакет. Вынула несколько свертков. Старый кулинар молча ест цыпленка, лук, сыр, кусочек рыбы.

Сесилия смотрит на француза, сидящего на краю дивана. По тому, как он ест, видно, что он очень голоден.

Паскаль. Ты обещала принести тетрадь...

Сесилия. Я принесла...

Паскаль вырывает из толстой тетради лист, дает Сесилии карандаш.

Паскаль. Пиши. "Дорогой, незнакомый друг! Весь день я вдыхаю запахи вашей замечательной кухни. Посвятив кулинарии большую часть жизни, я позволю сделать несколько замечаний. Каурма, которую вы готовили сегодня, была бы более вкусной, если вы чуть более щедро пользовались бы пряностями. Не буду напоминать азбучные истины, розмарин идет к баранине, шафран к рыбным блюдам, реган к курице, паприка к телятине... В случае с каурмой я советовал бы натереть мясо смесью из майорана, тмина и имбиря... И еще..."

Зал АПОКПа. День.

Сесилия идет по залу, тусклому, крашенному в серый мышинный цвет. Посетители сидят в пальто, сосредоточенно едят. В сухом бассейне стоит кадка с пыльной пальмой. На стенах портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса... У буфетной стойки человек пьет из бутылки пиво. Громко рыгает. Провожает взглядом бывшую княгиню.

Кухня АПОКПа. День.

Повар сидит на стуле и парит ноги в тазу. Сам себе подливает из чайника кипяток. К нему подходит Сесилия.

Сесилия. Вот письмо. Оно для вас, от бывшего хозяина этого ресторана. Он волнуется о качестве блюд, которые готовят в его ресторане... бывшем его ресторане. (Дает письмо.) Он попросил меня, так как у него болят ноги.

Повар. У меня тоже болят ноги, что тут написано, я не умею читать...

Сесилия. Он пишет о каурме...

Повар. Пишет о каурме? Ему что, делать нечего? Каурма как каурма...

Повар встал, вылил кипяток и повесил таз среди прочих кухонных тазов.

Лист с письмом Паскаля мокнет в луже на полу.

Бывшая квартира Паскаля Ишака. Вечер. Сесилия Абашидзе сидит у лампы и пишет Паскалю ответ повара АПОКПа. На фоне пишущей Сесилии, лампы Галле и снежных хлопьев за окном мы слышим голос Антона.

Антон (читает). “Уважаемый господин Ишак! Зная вас как высочайшего профессионала, считаю за честь принять от вас совет. Я понимаю, что наша каурма...”

Завязалась переписка. Паскаль из своей чердачной комнаты давал подробные письменные советы, как “обогатить” блюдо, запах которого он ловил носом, стоя у открытого окна. Сесилия составляла ответы от лица шеф-повара.

Чердачная комната. День.

Паскаль сидит на полу среди помидорных кустов и пишет.

Паскаль (шепчет). Огонь надо уменьшить настолько, чтобы рыба ни в коем случае не кипела...

Паскаль сосредоточенно пишет. Бельевой шпилькой прикрепляет листок к веревке и спускает его в окно.

Внутренний двор АПОКПа. День.

Молодой парень чистит лук. Вдоль стены опускается веревка с пришпиленным листком. Чистильщик лука видит это, он подходит, снимает листок. Молодой человек несет листок на кухню.

Кухня АПОКПа. День.

Чистильщик лука кладет листок в коробку, где сложены кипой сотни таких же листков...

Чердачная комната. День.

Весна. Паскаль стоит у окна. Тянет вверх веревку. Большая луковица привязана к концу. Паскаль очищает бурые листья и вгрызается в луковицу.

Голос Антона. Хочу, но никак не могу проникнуть вовнутрь этой истории...

Паскаль ест лук. В окне чужой город, чужой мир. Почему он не уедет? Почему второй год сидит на чердаке и пишет рецепты? Он перестал уже писать для повара АПОКПа, он пишет, пишет, пишет непонятно

для кого... Голодный автор услаждает себя воображаемыми роскошными обедами, вымышленными завтраками, ужинами... Он сочиняет свой “Реквием для живота”...

Открывается дверь. Входит Сесилия. Красивая, свежая, благоухающая.

Сесилия. Паскаль. (Целует его.) Я уезжала в Москву, был юбилей НКВД. Влюбилась в Сталина. Танцевала с ним на приеме в Кремле. Тебе приносили еду из АПОКПа – ты не ел, почему?

Паскаль не отвечает. Молча смотрит на Сесилию.

Сесилия. Пойдем вниз, ко мне... (Сесилия смутилась.) К нам... Поставлю тебя под душ и вымою...

Квартира госпожи Ишак. День.

Антон смотрит на экран компьютера, где застыла последняя фраза “Поставлю тебя под душ и вымою...” Антон кричит:

– Марсела!!!

Антон оглядывается и видит Марселу, сидящую в шезлонге на балконе. Она курит сигару.

Антон. Я перевел уже двести девять страниц... Хочу спросить вас, кто автор...

Антон кричит через две комнаты на балкон.

Антон. Слушайте. “После купания мы неожиданно для себя оказались в постели комиссара Гоголадзе”. Почему комиссара? Он же полковник. А сейчас внимательно слушайте.

Антон встает и, читая желтые страницы, движется к балкону.

Антон. “Наш смех, стоны, мой плач слышал резчик лука на заднем дворе АПОКПа. Он позвонил Зигмунду Гоголадзе...” Как могла знать Сесилия, что резчик лука позвонил Зигмунду? И дальше... Зигмунд приходит в дом...

Квартира Зигмунда Гоголадзе. День.

Осторожно открывается дверь. Входит полковник Гоголадзе. Идет по коридору, подходит к закрытым дверям спальни. Оттуда слышен шум любовной битвы. Скрипит кровать, стонет, кричит Сесилия, о чем-то молит Паскаль... Полковник Гоголадзе слушает стоны жены, прижав ухо к двери. Потом он идет на кухню, снимает с плиты кастрюлю с холодным супом-харчо,



берет стул, несет его к дверям спальни, садится и, поедая холодное харчо прямо из кастрюли, слушает голоса любовников...

Насытившись, он встает, оставляет кастрюлю на стуле и уходит...

Спальня. День.

В постели лежат Сесилия и Паскаль. У Сесилии слезы на глазах. Паскаль смотрит на нее.

Паскаль. Сесилия, только из-за тебя я не уезжаю из Грузии. Почему я так полюбил тебя? Не знаю. У меня было столько женщин (улыбается), если их поставить одна на другую, они дотянутся до Луны... Но только ты одна, Сесилия...

Паскаль увидел револьвер Зигмунда, брошенный на ночном столике под лампой. Паскаль и Сесилия смотрят на блестящее стальное дуло.

Сесилия. Паскаль, убей меня...

Паскаль берет револьвер. Разглядывает барабан, он полон пуль...

Сесилия. Паскаль, убей меня... потом себя. Будет так замечательно! В постели этого ничтожества два трупа!

Квартира госпожи Ишак. День.

Крупно: экран компьютера, бегают буквы, складываясь в слова... "Я беременна, какое счастье! Беременна от моего французского любовника. Я хочу крикнуть об этом всем, всем, всем... но я молчу".

Антон смотрит на эти строки. Встает, делает круг по квартире, останавливается у фотографии в стекле книжного шкафа. На ней Паскаль Ишак и последний китайский император едят палочками мясо рябчиков, изготовленных по рецепту бродячих буддийских монахов. Антон смотрит на императора и на... своего отца?

Антон. Так что?

Долго смотрит на свое изображение в стекле книжного шкафа. Подходит к компьютеру и стирает последнюю запись...

Лестница на чердак. Утро.

По лестнице поднимается Зигмунд Гоголадзе. Он подходит к дверям комнаты Паскаля, стучит, никто не отвечает. Зигмунд открывает дверь. В комнате пусто. Зигмунд смотрит на протертый кожаный диван. На горшки с кустами помидоров, на пустые веревки, натянутые через всю комнату, на

листки, разбросанные по полу. Их много. Зигмунд замечает фотографии, лежащие стопкой. Зигмунд наклоняется, поднимает их.

На весь экран: Паскаль на палубе океанского парохода "Принцесса Анна". Название парохода написано на спасательном круге.

Паскаль и композитор Стравинский держат бокалы с шампанским.

Паскаль и Сесилия в машине "хорх". Паскаль во фраке, Сесилия в лисьей накидке.

Паскаль и Сесилия на пляже в полосатых купальниках.

Паскаль и первый президент Грузии Ноэ Жордания.

Паскаль и Сесилия с крестьянской семьей на сборе винограда. Голый мальчик показывает фотографию язык.

Паскаль пьет из гигантского винного рога.

Паскаль, Сесилия, Шаляпин держат торт с горящими свечами. Шаляпин дует на свечи.

Паскаль и работники ресторана позируют у вывески "Новое Эльдorado". Здесь шеф-повар, ныне убитый, официантки – изнасилованные, посудомойки – изнасилованные... На фотографии все нарядно одеты, улыбаются, глядя в объектив.

Чердачная комната. День.

Зигмунд Гоголадзе кладет на пол фотографии. Выходит из комнаты.

Крыша дома. Утро.

Зигмунд идет по крыше. Он впервые на этом плоском бетонном пространстве. Вот дерево, растущее на краю крыши. Это миндаль, только-только расцветший маленькими бело-розовыми цветами. Под деревом, закутанный в черное пальто, лежит старик, спит. Зигмунд подошел поближе... Над головой старика кружится голодная весенняя пчела. Полковник долго смотрит на спящего. Пчела села на висок, поползла к уху. Старик не реагирует на нее. Пчела заползла в ухо и исчезла. Зигмунд с интересом рассматривает старое морщинистое лицо, большой нос, щетину на щеках. Заглянул в ухо, но не увидел пчелы. Старик шевельнул рукой, поднял ее и, не просыпаясь, расстегнул пуговицу на пальто. Гоголадзе отошел от миндального дерева, смотрит на город.

Кабинет полковника Гоголадзе. День.

Под большим портретом Иосифа Сталина, за письменным столом сидит полковник. Стол завален бумагами и папками. Входит женщина, остриженная наголо. На ней форма работника НКВД. Женщина улыбается, подавая листок полковнику.

Женщина. Это рецепт приготовления... (заглядывает в листок) ...жаренных в меду и масле кукушек, начиненных орехами и свежими фигами...

Зигмунд. Кукушек...

Женщина. Да, кукушек...

Зигмунд. Которые ку-ку-ку-ку?

Женщина. Видимо... я никогда их не ела...

Когда женщина уходит, Зигмунд берет телефонную трубку, набирает номер.

Зигмунд. Сесилия, дорогая, прошу, выполни одну маленькую просьбу... мне в деревню, в Рачу надо послать градусники... да, обыкновенные, которыми температуру меряют, купи двадцать-тридцать штук...

Кухня квартиры Гоголадзе. Ночь.

Под желтым абажуром сидят Сесилия и Зигмунд. Сесилия пальцами ломает носики градусников и осторожно сливает капли ртути в чайное блюдце. На столе лежит груда разбитых градусников, в блюдце катается большой ртутный шарик.

Зигмунд. Сперва просили градусники, потом двадцать граммов ртути... Здесь ее нет нигде. Ты хорошо придумала разбить градусники...

Сесилия улыбается. Маленькие капли сливаются с резво бегающим на блюдце серебряным шариком.

Крыша дома. Утро.

Светит солнце. Старик спит на том же месте, в той же позе. Только рот открыт и пуговицы пальто все расстегнуты, видны белая ночная рубашка, кальсоны. Зигмунд смотрит на старика, достает из кармана брюк металлическую коробочку для нюхательного табака. Открывает крышку и осторожно подносит коробочку к уху, куда вчера влетела пчела. Зигмунду показалось, что старик не дышит. Зигмунд стоит над ним, старик не дышит.

Зигмунд. Вот гадина, сам умер...

Смотрит на коробочку с ртутью, выбрасывает ее. Из раскрытого рта старика

вылетела пчела... Это так неожиданно и непонятно, – “что это, душа французского кулинара?”, – что Зигмунд взвизгнул, погнался за пчелой и совершенно бессмысленно разрядил револьвер, стреляя в пчелу... Старик не шелохнулся даже от грохота выстрелов. Он был мертв.

Пчела улетела.

Квартира госпожи Ишак. Вечер.

Марсела сидит на своем маленьком балкончике, курит кубинскую сигару. За балконом Париж.

Голос Антона. “Паскаль Ишак – агент французской военной разведки. Жил в Грузии с 1920 по 1936 год. Разоблачен органами НКВД в 1936 году. Совершил ряд крупнейших диверсий против Советской власти. Под видом кулинара-путешественника разъезжал по глухим уголкам Грузии, собирал рецепты блюд кавказской кухни. Входя в доверие, отравил видных людей революции...”

Марсела оглядывается на голос.

Марсела. Что читаешь?

Голос Антона. Отчет КГБ... Это последний листок за подписью...

Марсела. Кого?

Голос Антона. Зигмунда Гоголадзе.

Пляж в Нормандии. Вечер.

Огромный пустынный пляж. Ресторан. По пляжу идет Антон, играет на скрипке. Проходя мимо камеры, подмигивает ей. Он приближается к ресторану. Играет Сарасате, и очень профессионально.

Голос Антона. Получив от Марселы деньги, я уехал в Нормандию. Проел и пропил их за месяц. Здесь, в Нормандии, я постоянно думаю о словах Сесилии: “Я беременна от моего французского любовника”. Почему я скрыл ее слова!?

Стоптаные ботинки Антона собирают в себя желтый песок.

Голос Антона. Вспомнив скрипача из записок Сесилии, я подал идею местному пляжному ресторану играть, приближаясь и удаляясь. Им понравилась моя необычная манера игры... Мне аплодировали... (Смеется) ...Что-то полезное и я получил, заглянув в “Жизнь и рецепты Паскаля Ишака”.

Огромный пляж. Белые скалы из мела. Океан. Музыка Сарасате.

Велис-Бич 1994

Рисунки Юлии Зубревой.



...Рената – это предмет обожания всей группы. Она такое существо... одна из самых замечательных личностей, известных мне. Хотелось бы ее снимать. Попробовали ее на циркачку – нет, никак: пластика не та. На циркачку нужна принцесса, это у нас Светлана Коленда, а Рената – не принцесса, а королева. Но до того не хотелось ее терять, что героиня раздвоилась: задумана одна девушка, а стало две. Женя Голубенко, соавтор сценария, придумал персонаж “медсестра” и ее “увлечение” моргом. Я спросила: “Рената, вы хотите сыграть медсестру, влюбленную в этого жокея, упавшего с лошади?” Она говорит: “Да, хочу, но не хочу быть в него влюбленной”. Это от античности у нее, от греческой трагедии: надо страдать, не искажаясь чертами лица, не показывая своих страданий.

А потом она, оттолкнувшись от морга, написала множество монологов... отобрали четыре.

...Рената такое органично-манерное существо. Мы Ренату будем защищать! Она – добрый ангел картины, мы ведь закрывались, четыре месяца стояли, никто не давал денег, продюсеры один за другим банкротились и перепродавали нас друг другу. И тогда Рената нашла Игоря Каленова из “Никола-фильм”, он и спас картину. Дело, конечно, не в этом, просто она из тех личностей, которые меня сразу цепляют... Рената – красавица, у нее просто мания красоты. Это прекрасно!..

РЕНАТА ЛИТВИНОВА: "Я – ЖЕРТВА КИНЕМАТОГРАФА".

– Массовому зрителю имя сценариста Литвиновой стало известно в связи со съемками в фильме "Увлеченья". Может быть, это исполнение вашей мечты?

– Ни актрисой, ни балериной, ни певицей – ничего такого в детстве я не хотела, но это был особенный момент. Ты же идешь в кино, чтобы что-то сказать, и если у тебя есть возможность это сделать – почему от этого нужно отказываться?

Я – жертва кинематографа. У меня мама была первой жертвой. Она ходила в кино ежевечерне и брала меня, маленькую, с собой, потому что не с кем было оставить. Чтобы я молчала, она давала мне пакет яблок, и я, как сейчас, помню – набитый зал, вечерний сеанс, тогда же люди еще ходили в кино. И вот в этом набитом маленьком зальчике где-то на расстоянии – черно-белый экран, какие-то мужчины, какая-то женщина в белом платье красивом. И вот этот пакет яблок, которые у меня кончаются, и я уже не могу сидеть – я помню это.

Но я всегда предпочитала контролировать процессы. Я всегда что-нибудь сочиняла и думала, что если я буду сценаристом, значит, смогу что-то контролировать. А актерская профессия совершенно другая, для меня очень тяжелая, адская профессия. У меня сильная неприязнь ко многим режиссерам, я не люблю сценаристов, а актеры мне нравятся все. А еще когда я сама в этом ненормальном гриме была на площадке!.. Одним словом – бесправная профессия.

– Вам предложили написать тексты для этого фильма или сразу речь шла об исполнении роли?

– Кира предложила мне попробовать на главную роль, но там была одна, совершенно мне не подходящая. Тогда Кира захотела, чтобы у одной и той же героини было два оттенка. Чтобы я произносила те же самые слова, но по-другому, как в "Астеническом синдроме". А я говорю: "Зачем это нужно? Я же сценаристка!" И прямо на пробах у меня эти тексты пошли, пошли, пошли.

– А как у Муратовой возникла идея вашего появления в фильме?

– Мы с ней были знакомы уже несколько лет, она читала мои сценарии, ей нравилось. Она даже говорила, что хотела мой диплом

ставить, но не знала как. Вообще, она очень лукавая, и мне говорит, когда у меня что-то читает: "Ну, это очень сложно, мне бы попроще".

– Тексты, которые вы написали для "Увлечений", – это то самое "попроще"?

– Я не знаю, у нас не происходило объяснений и заказов. Я ей давала листочки с монологами, она говорила: "Вот этот монолог скажите". Их отпечатавали в группе, а Кира делала на полях скобы: "Вот отсюда досюда, остальное не надо".

– То, что вы сыграли в "Увлеченьях" – придуманный образ или это вы сама?

– Думаю, что это не я. Мне захотелось сыграть такую девушку, как Тогатогенос у Ивлина Во в "Незабвенной". Или если бы Гамлет умер, а Офелия не умерла и ее перенесли сейчас сюда.

– Как вы относитесь к такому необычному для сценариста опыту?

– Мне очень нравится, ведь произошла реализация. Когда пишешь сценарий, то реализуешься на какие-то маленькие проценты, а тут я написала, сама это воплотила и поэтому очень довольна этой работой. А всеми другими, что я сделала до этого как сценаристка, – вообще недовольна.

– Расскажите про фильмы, снятые по вашим предыдущим сценариям.

– Был фильм "Трактористы – 2". Братья Олейниковы работали в рамках параллельного кино, и мы с Глебом написали сценарий "Весна", но он был очень необычный, и никто не решался его снимать. Тогда мы пошли на компромисс, решили сделать что-то коммерческое.

Кстати, за исключением "Трактористов", все артистки получали в моих фильмах призы за главные женские роли. Немая актриса в "Ленинград. Ноябрь", Ксения Корчагина в "Нелюбви". Мне в Сочи дали приз за женскую роль в "Увлеченьях". Значит, я исследую что-то, связанное с женщинами.

– Как вы определяете сферу своих "исследований"?

– Мне всегда было интересно наблюдать за человеком, за тем, что им движет. Мне интересен такой отрезок жизни человека, когда он или умирает, или делает какие-то ужасные поступки. Меня интересует темная сторона человека, то, что у вас внутри, то, о чем вы боитесь сказать, не хотите, чтобы про вас знали, – это зажигает мое воображение. Мне кажется, для драматурга это поле, я вижу там большие драматургические возможности. Черное, патологическое – то, что меня волнует. Может быть, я такая сама по себе, стою на грани патологии, может быть, я патологична – меня это не страшит. У меня сейчас должен запускаться проект в Ленинграде – опять сценарий "на современную тему", камерный, психологический, с убийствами.

– Какими же приборами вы пользуетесь при изучении этой темной стороны человека?

– А у меня нет таких приборов, только я сама, моя душа, то, как я чувствую. Знаете, в школе разрезают несчастную лягушку, что-то там на нее капают, и у нее мышцы дергаются – вот, мне кажется, я что-то

такое на себя капаю.

– **Кого вы считаете своими предшественниками в этом нелегком деле? Назовите какое-то имя или традицию.**

– Мне очень нравится "Волшебная гора" Томаса Манна.

– **А в кино?**

– В американском сценарии есть "проблески", но это задавлено американской режиссурой, прилеплено синтетическим способом производства фильма. У них большой банк информации, куда собраны идеи со всего мира, но тут нужна какая-то субъективность, а они все делают так, чтобы субъективности избежать.

– **О ситуации в отечественном кинематографе говорят как о кризисной. Что вы думаете о возможности реализовать себя здесь и сегодня?**

– Мне кажется, если человек хочет реализоваться, то тем или иным образом он обязательно реализуется. Если нет – значит он недостаточно этого хотел. Все преодолимо, главное – желание. Раньше не давали что-то сказать, а сейчас можно найти маленькие деньги, сделать дешевый проект – и реализоваться.

– **Как вы определяете происходящие в стране изменения?**

– Сейчас начался капитализм, сейчас самое важное – деньги, проблема денег. У меня даже был такой сценарий "Теория денег" – очень тонкая теория. К кому приплюсовываются деньги, кто их притягивает, кто их отталкивает, как их заработать и приносят ли они тебе то, что ты хотел. Деньги – это независимость, это почти все сейчас. Но мне кажется неправильным нагнетание, наоборот, сейчас более светлое время, чем пять лет назад.

Жизнь так устроена – сегодня что-то одно, а завтра все поменяется, появится что-то другое, и люди будут интересоваться иным. Тут есть справедливость: кто-то уходит в тень, кто-то выдвигается.

– **В связи с этим вопрос о преемственности. У вас был Учитель?**

– Я не могу про себя сказать, что у меня был учитель в жизни. На меня никто не оказал решающего влияния. Киру я встретила только теперь, а мне сейчас уже двадцать шесть лет. Вот если бы я ее встретила раньше...

С Кирой произошло счастливое сочетание, когда она меня не ущемляла. Она мне дала возможность реализации, как подарок. Она новатор, ее фильмы не устаревают, они очень энергетические.

– **Вам бы хотелось сняться у нее в новом фильме?**

– Опять же, если я отвечу себе на вопрос: "Зачем?" Если это будет отвечать моим задачам, то почему бы нет? Я люблю кино, это моя жизнь. Зачем я пришла сюда – чтобы строчить на бумажке и потом, глядя на экран, переживать, потому что больно смотреть, больно слышать?

– **Вы всегда так воспринимаете фильмы, снятые по вашим текстам?**

– Наверно, я слишком зациклена на своем воображении, на том, как я себе это представляю. Меня всегда ранит чужое изображение, ранит в буквальном смысле – мне больно и слышать, и видеть. Может

быть, надо наращивать толстую кожу, не реагировать, в конце концов можно смириться. Некоторых это устраивает, некоторые начинают писать романы, думая, что там в полной мере воплотятся. Иллюзии помогают им жить, переносить тяготы, ведь человек защищается разными путями. Некоторых устраивает такое положение вещей, у них проблемы – как продать сценарий, жить как-то на это. У меня нет потребности зарабатывать на этом, для меня это не способ зарабатывания денег, а "задача жизни", выполнить которую очень важно.

Меня обидело, когда вы сказали, что у меня, как у актрисы, успех более значительный, чем у сценариста. Но когда ты работаешь как сценарист, ты всегда словно "под паркетом", без тебя нельзя, а голос твой чуть слышен. В сценаристах есть какая-то ущербность, но некоторым идет подавленность, а для меня такая работа не может быть успешной. Я хочу распространяться дальше – хочу сама сделать картину и полностью производить контроль всех процессов.

– **Ваше желание самой снять фильм – это бунт?**

– Бунт, но иначе я просто заболею. Вечное чувство недовольства влияет на тебя чуть ли не физически, ты превращаешься в неудачника. Люди же сублимируются по-разному.

– **"Подавленность", "сублимация" – термины психологии. Для сценариста знание психологии – необходимость?**

– Не скажите. Многое зависит от человека – откуда у него его дар, откуда он черпает силы. Я интересуюсь психологией и оттуда черпаю силы свои, а есть люди, которые, например, изучают какую-нибудь среду. Есть отстраненные сценаристы, которые не интересуются жизнью, у них есть сверхидея в голове, и они ее воплощают.

– **Когда вы пишете сценарий, "видите" ли вы фильм?**

– Для того чтобы дальше снимать, надо обязательно видеть, представлять себе картинку – в какой одежде входит герой, как он садится, какое освещение. Могут быть какие-то вариации, но ты пишешь в сценарии "то, что видно, и то, что слышно". Сценарист должен быть профессионалом. Откуда-то прийти извне и вдруг написать сценарий – я в это не верю. У дилетанта может один раз хорошо получиться, но у этой профессии есть свои законы.

Интервью вела Юлия Гирба

Как было объявлено ранее, редакция журнала "Киносценарии" в ближайших номерах журнала (а далее – в специальном приложении) начинает публикацию сценарных заявок. Заявка будет опубликована при соблюдении двух условий: объем заявки не должен превышать 5 страниц машинописного текста, и к заявке должен быть приложен бланк денежного почтового перевода на сумму 50 долларов в рублях по курсу на день отправления перевода. Итак, дерзайте, – и с вашим творчеством ознакомятся продюсеры, киномагнаты, алчущие новых идей режиссеры! Не упустите свой шанс всего за 50 долларов!

Заявки присылайте по адресу:

103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.



КИРА МУРАТОВА И РЕНАТА ЛИТВИНОВА НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ИЗ ФИЛЬМА КИРЫ МУРАТОВОЙ "УВЛЕЧЕНЬЯ"

РЕНАТА ЛИТВИНОВА

МОНОЛОГИ МЕДСЕСТРЫ

Морг – это хорошо. Прохладно. Вообще у нас очень сильные патологоанатомы, и сегодня я там тоже была по поводу одного нашего пациента, молодого мужчины. Каждый раз мне все это смотреть уже наскучило и тогда я стала смотреть в лицо умершему, когда ему это делали, и оно у него было такое ... сморщенное, как будто он еле терпит, а когда все закончили и зашили, лицо у него так разгладилось, словно ему наконец-то настало облегчение. Правда, сегодня была такая хорошая патологоанатомша. Так она все виртуозно делает, сильная, сильнее любого мужчины, так она все проделывает, что можно засмотреться на нее и даже странно: на таком посту – и красавица! О, ей все любят!.. Ее серьезному лицу...

Нас было три подруги еще когда учились. Я, Рита и еще одна сослуживица. Риту мы очень любили, но она исчезла из нашей жизни. А мы с сослуживицей стали работать здесь – на побережье. И вот в нашей жизни Рита появилась снова, когда попала ко мне в отделение!

Ей становилось все хуже и хуже. И ей снились какие-то сны, будто ее мама и все родственники уговаривают ее согласиться-таки лечь в гроб. Она плакала, на дежурствах я приходила к ней, держала ее за руку, она жаловалась: “У меня не падает температура,” – я знала, что будет плохо, но не знала, что так скоро.

Однажды утром, когда я пришла на пятиминутку, сказали: “А ночью скончалась подружка Лили Рита Готье,” – и все так разом с грохотом пооборачивались на меня.

Да, у Риты в самом деле была такая красивая фамилия! Я выбежала и встретила сослуживицу – она вообще много выпивает и в таком состоянии гуляет с историями, а в тот раз ее ночью на полном ходу выбросили из автомобиля. То есть она встретилась мне вся подранная. Мы с ней поговорили. И она сказала мне:

– Не ходи! Не ходи, я на твоём месте не смотрела бы!

Но я все равно пошла. Вскрытие уже началось. Я встала у стены. Я не подошла близко, но я видела иногда ее голову с заброшенными назад волосами. Лицо в профиль.

В тот день патологоанатомом был такой парень. Он всегда был похабен. У него были маслянистые волосы, черные прожиренные пряди, и мне кажется, он знал... он знал и поэтому-то в конце вскрытия закурил, и, докурив коротко, сделав разве что для вида две-три затяжки, бросил окурок прямо в живот Риты Готье и тут же его ассистенты так и зашили. И он был доволен такой выходкой несколько мгновений, и никто ничего не сказал. Никто не взял на себя право вмешиваться в их прозекторские дела!

И я ничего не сказала, вышла. Потом я видела его на остановке. Он отвернулся. У него было упавшее настроение в окружении живых людей.

А мы с сослуживицей все ходили искать Рите белое платье. Потому как если девушка невинна, то кладут ее в белом. Такое правило. Но нигде мы не могли найти ей то, что нужно. А вместо этого купили отчего-то в тот день красного карпа.



ЛИЛИЯ – РЕНАТА ЛИТВИНОВА
ВИОЛЕТТА – СВЕТАНА КОЛЕНДА

Еще когда я училась, здесь в горах нашли одного повесившегося мальчика... восемнадцати лет. Говорили, что он умер из-за несчастной любви. А на солнце он не испортился, а наоборот, сохранился – замумифицировался, долго вися. Ну, потому что пока еще нежирный был. Мальчика для следствия не вынули из петли, а сняли прямо с суком. И теперь он у нас – на кафедре патологоанатомии, в шкафу. Так странно видеть такой насмешливый финал любви. И некоторые его желали выкрасть и захоронить, но только теоретически, только теоретически.

Есть для тебя как раз – место санитары. Носить... ну, ты догадываешься, какие такие тяжести и ежевечерне-ежеутренне – ведро. В него тебе будут накладывать в банках органы. Банка на банке, главное не бряцать ведром и не разбить. А так ты даже не сможешь толком увидеть!.. Ты привыкнешь.



ВИОЛЕТТА – СВЕТЛАНА КОЛЕНДА
КАСЬЯНОВ – МИХАИЛ ДЕМИДОВ

Я с вами оттого... что все-таки нужно иметь друзей. (Пауза и, может быть, такие фразы.) Я часто думаю, а кто понесет гроб?

– Какой гроб?

– Ну, мой собственный... Ведь у меня никого нет такого, кто бы мог поднять такую тяжесть. Не-ет, я не специально, но вот *если*.. (Ударение на это слово.) Ну, вот *если*, то ты это сделаешь? Ладно? (Улыбается одновременно.)

– Отчего ты такие странные вопросы спрашиваешь?

– Ниотчего, нет никаких у меня оснований и фактов для этого, а просто подстраховываюсь. Как будто меня кто-то под руку толкает, вот сижу я с вами, а мне же самой идет нашептывание: “Спроси, спроси про это, кто же понесет? Подстрахуйся, ведь они назначались тебе в друзья,” – вот я и не могу совладать, и спрашиваю так странно... (Пауза. Далее уже веселее. Опять просыпается рассказчик.) Хотя я знаю, как повлиять на судьбу. Одна моя подруга так вычислила... Я очень люблю ненормальные идеи этой подруги и ее саму тоже. Она живет на Востоке. Она поучает, что надо разрабатывать линию жизни и линию успеха прямо на руке, необязательно в реальности. Вот, например, от природы она у вас короткая и неразвитая, так вы берете и чем-то острым и тонким проводите - прочерчиваете по этой линии на ладони, делая ее жирной и значительной, и ваша жизнь тоже меняется. Оказывается, так просто! ...Кажется, это она сама сочинила и постоянно держит на своих ладонях что-то острое или проводит ногтем... Прощайте.

Мой возлюбленный принес мне пистолет. Он принес его, заглядывая мне в глаза, чтобы он просто полежал у меня день, а потом, испугавшись, унес. А потом принес три пистолета, они лежали у меня долго, все заряженные, и он долго не звонил мне. Я все ждала его звонка, хотела сказать ему:

– Забери! Я предчувствую что-то нехорошее!..

Все-таки он позвонил. Я сказала эти приготовленные ему слова. Он тут же примчался несвойственно быстро и точно для него. Взял пистолеты и разрядил их. Вынул обоймы, а сами остовы оставил. Я улыбалась в те дни, засыпая, вспоминая его озабоченное лицо, когда он засовывал под ремень обоймы с патронами.

И вот он опять привез уже револьвер. И это был револьвер весь заряженный. Семь пуль. И я часто смотрела на черный мешочек, брошенный у меня на шкафу, где хранилось все это: “А неужели он не боится за меня? Неужели?”

И когда он принес мне этот, уже пятый по счету револьвер, весь заряженный, я осознала, что “ЗДЕСЬ НЕТ ЛЮБВИ”. Не-ет, не так, как говорят другие девушки, с подвывом и правдой жизни в глазах: “Он не лю-ю-юбит меня!” Нет! Я очутилась в огромном пустом поле, оглядев которое, можно было только и проронить:

– Здесь нет любви. Более того, здесь нет ни-че-го.

Но была история и с автоматом тоже. Но тут я испугалась за проживающих со мной. Все родственники столь бесцеремонны, им всегда что-то нужно не у себя в шкафу, а у меня. Я решила спрятать автомат у тети в соседней комнате, у себя она никогда не роется. Сначала я положила ей его под кровать, но вдруг вспомнила, что кровать у нее панцирная, тетя весит достаточно, и дно кровати у нее прогибается, едва не касаясь пола и, верно, задевая автомат.

Я представила себе, как она ворочается и задевается спуск.

Прямо ночью я достала автомат у нее из-под кровати. Тетя моя была очень поражена, увидев его, а потом мне показалось, ей это понравилось, но по глазам ее я увидела, что при малейшей опасности, когда кто-то соответствующий будет спрашивать ее, она предаст меня! Что-то такое было в ее глазах. Вместе с ней мы спрятали автомат у нее на шкафу. Я купила тете много куриц свежемороженых в этот период хранения, много яиц, пирожных, бананов, семечек, которые она любила больше всего на свете. Я проводила с ней долгие беседы на кухне, пила с ней чай по нескольку чашек, приносила ей прессу, отдала ей ключи от всех своих замков и шкафчиков, дала распороть свое золотое платье, отдала ей читать письма моих прошлых поклонников и вообще все письма, которые я изредка получала от своих подруг тоже, – она вошла в мою жизнь! Она входила ко мне каждое утро, рано-рано, со словами:

– Пора вставааать!

Она была счастлива в тот период!

Как только появился мой возлюбленный, в пакете, со страшными словами, я отдала ему его автомат!

Пистолеты – это тоже отдельная тема, а вы говорите: лошади, лошади, лошади...

Меня заботит тема красоты и тема стремления к финалу. Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, всегда переживает в своей жизни пик красоты, хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает прекрасным. Но обычно это бывает в ранней юности. Я видела, а, вот хотя бы Саша Милашевский достиг в больнице пика красоты – он тогда был на берегу моря на прогулке. Сидел в каталке, и я оставила его у кустов. Солнце падало ему на лицо, его мучила боль, но его лицо вдруг сделалось так прекрасно! Это, наверно, длилось до самого заката, а на следующий день – все прошло. Все ушло. Его лицо потемнело чуть, на него легла какая-то тень обыденности – оно стало обычным. Значит, пик миновал, подумала я. Некоторым даны сутки, некоторым – мгновения, у некоторых – месяцами длится красота, а потом куда-то девается! У иных годами лицо красиво – все время красота на пике!!

Но красота всегда стремится к финалу, то есть к самоуничтожению... Эта тема меня тоже заботит (пожимает плечами), но она неуловима, но она неуловима... Лично я боюсь не смерти, а бессмертия... Как объяснить? Меня прямо уже заранее передергивает от омерзения, прямо передергивает!..

А одна моя подруга с Востока мне по телефону вдруг говорит: “Остерегайся, – говорит, – красивых примет; если ты попадешь в опасную ситуацию, но будут соблюдены все условия красоты, то ты согласишься на такую погибель!” Я говорю: “Как? Как это?” Ну она отвечает: “Бойся красивых опасных ситуаций, у тебя туда склонность по судьбе, если...” Я не встречала ни одной Лилии в своей жизни, только себя... Есть такая песня – “Лучшие друзья девушки – бриллианты”.





РЕНАТА ЛИТВИНОВА

ТРЕТИЙ ПУТЬ

новелла

Ничего нельзя было понять, что она говорит, сидя как всегда не так, как нормальные люди, а на ручке кресла (оно всю дорогу скрипело, готовое сломаться), при этом она говорила:

– А можно я не буду пересаживаться? Можно, я останусь на этой ручке? Ну, ты понимаешь, что я тебе говорю, хотя я совсем не умею говорить, я вот написала, хотя и писать свои мысли тоже не умею... Ну, ты понимаешь меня, а?

– Ну, так... примерно, конечно, но не очень. Ну, ты давай прочти, что ты написала, это ты вообще про кого говоришь? Про него, да? Он что сейчас делает? – спросила подруга, усиленно сконцентрировавшись на разговоре, и даже подавшись всем телом вперед, в сторону качающейся на ручке Сони.

Та взорвалась:

– Ну, почему ты сразу так конкретно? Сразу про него?! Ну, он дома, дома он, я не выпустила его на улицу, заперла в квартире, он спит, спит он сейчас и при чем здесь он? Всегда ты спрашиваешь про него, с какой стати?

И Соня вдруг стала чуть всхлипывать и немного всплакнула, сдерживая слезы, оправдывая свою грубость. Подруга ее озадаченно вздохнула, стараясь подыскать слова утешений:

– Ну что ты заплакала, какая вдруг причина, все же у тебя хорошо, ты выглядишь,

правда, красиво, может у тебя причина слез в том, что нету денег или Он?

Соня с ненавистью опять рванулась:

– Причем здесь он? Ну, бывает же так, беспричинно!.. Я просто не знаю... чувства... ну все внутри... ну, понимаешь? И отчего у тебя всегда причина или в деньгах или в мужчине? Какие вообще деньги?..

– Ну потому, что это так. Истоки всегда кроются где-то там. Причина всегда есть. Ты, просто, ее не формулируешь, – сказала подруга с досадой и добавила: – Ну да, я вообще очень реальный человек. Земной. Наверно, в этом мой минус. Но когда ты начинаешь о нем говорить, всегда отчего-то глаза блестят, плачешь, он что, бьет тебя, что он там с тобой делает?

– Ничего он со мной не делает. Я плачу не из-за него. Я просто заплакала от нервов, от тоски, от чувств, ну как ты не понимаешь, разве с тобой такого не бывало?.. И не будь как он, ты же хорошая, ведь разве не бывало?

– У меня всегда бывали причины, – сказала подруга. Подругу звали Полиной, она достала сигарету из пачки, закурила, Соня тоже взяла сигарету, затянулась ею и тут же потушила в какой-то чашке с кофе на столе. Всю ее как-то дергало, она взяла с колен свою бумажку, на которой от руки было что-то написано, стала читать ее про себя, очень при этом заражаясь волнением – рука у нее дрожала. Лист перекрывал ее лицо, она была поглощена полностью. Полине надоело это наблюдать. Она сказала:

– Ну, тогда давай прочитай вслух про свои чувства, а то так вообще ты меня запутала, я ничего не понимаю!

Соня стала читать откуда-то с середины:

– Ну вот, например... Хотя здесь тоже не очень понятно...

“У нее столько чувств было вначале, так огромна их история для нее – это весь ее мир, что она день за днем ощущает умирание чего-то огромного, по капле вытекающего... судорожно пытается словить, но уходящее льется ей на лицо в самые неожиданные моменты, перекрывая ей дыхание...”

Соня подняла голову, голос ее дрожал:

– Понимаешь?

Подруга ее, закусив губу, нахмуренная, сделала неопределенный жест рукой и все-таки сказала:

– Это что, про него? Ну, ладно, ладно, не отвечай, давай читай, что у тебя там дальше, ну в бумажке.

– “...когда он спокойно погружается в себя, кажется, что она сейчас крикнет так, что он умрет от разрыва сердца... Она устала, хочет принадлежать самой себе, ОСВОБОДИТЬСЯ, она уже не чувствует своего “я”, даже дышит для него...” Ну, что-то такое, теперь ты понимаешь?

Полина загадочно погяддела на нее, но ее реальная земная суть опять выдала ее, не дала потянуть паузу:

– Освободиться? – повторила она, вспоминая слово. – Есть два пути освобождения: или убить себя, или убить его. Ты какой путь избираешь?

– Ну, какая разница? Какая разница, какой путь? – закричала Соня и бросила бумажку на пол. Замолчала.

Окно в комнате, где они разговаривали, было открыто. Был вечер на дворе. Закричала какая-то женщина. Полина стала вслушиваться в крик. Соня заметила ей:

– И что тебя всегда интересуют посторонние крики? Я вот, их, например, и не слышу. Давай поговорим лучше о нашей теме.

Полина. Разница есть. Одного мужчину я хотела убить сама и даже описывала ему, как я его убью. Чтобы он знал свое будущее...

Соня. Ну и как?

Полина. Двумя ножами в живот, и чтобы ножи были длинные и пересеклись между собой там, внутри у него! – Полина встала и показала жест двумя руками. – Но это не твой стиль, Соня. Ты всегда что-то подготавливаешь и скрываешь, скрываешь...

Соня. А второй путь?

Полина. Второй раз я решила умереть сама и написала завещание, чтобы никто не вскрывал мое тело и не расследовал причины юридическими путями.

Соня (задумалась). Господи, какая разница? Какая разница!!! Дай мне померить свое платье.

Полина сняла платье через голову, отдала подруге. Та встала, пошла с ним куда-то в коридор, произнося:

– Только ты извини, я без трусов сегодня. Не одела их, торопилась и вообще я их выкинула... – И ее голос потерялся там где-то в комнатах. Полина в это время подошла к окну и опять стала прислушиваться к вою какой-то женщины на улице. Вслух она сказала:

– Чего она так кричит?

Вышла Соня в ее платье.

– Тебе идет, – сказала Полина.

Соня. Нет, все что идет тебе, никогда не идет мне. Мне надо идти. У меня и было-то времени в обрез.

Полина. Я пойду провожу тебя. Куплю сигарет. И темно уже. Что он так на тебя воздействует, не позволяй это делать над собой? Я правда, ничего не поняла, но тоже чувствую... чувствую...

Они вышли на улицу. Полина купила сигарет на улице. Тут же вскрыла пачку и попросила у мальчика-продавца прикурить.

Тот прикурил, Соня при этом нервно оглядывалась по сторонам и одергивала короткую юбку. Пошли пешком.

Соня. А я дома заклеила все окна... Ему сказала, что "такая пыль!.."

Мимо них прошел здоровенный парень. Девушки проводили его взглядом.

Соня. Какой здоровый, полный сил!..

Полина. Ты так идеализируешь мужчин, да он шел, полный только спермой, ничем больше!.. Что ты так все возвышаешь?

Соня. Да? Возвышаю? А мне кажется, нормально, и так приятно ходить без трусов...

Полина. Смотри, говорить ты не умеешь, что чувствуешь – ничего не понятно, записать тоже не смогла, надо тебе еще какой-то путь искать... Надо что-то делать, а то ты все страдаешь, страдаешь...

Соня (раздраженно). Да не страдаю я! Мне хорошо. Мне очень хорошо. Я

вообще сейчас жду освобождения, понимаешь? Понимаешь? После такого... (она неопределенно помахала рукой в воздухе) ...всегда ждет облегчение!.. Я же тебе все объясняю, объясняю, а ты не понимаешь!..

Полина. Всегда говоришь неточно, загадочности какие-то... Почему не говоришь правды? Я, кстати, тебе могу подарить свое белье...

Соня. Да говорю я! Говорю! Отстань от меня!

И она забежала чуть вперед Полины. Теперь Полина видела только ее нервно вздрагивающую спину. Они вошли в какой-то скверик. Молча, друг за другом, пересекали его. Полина только один раз окликнула ее:

– Опять плачешь?

Та только дернула плечом и убыстрила шаги.

Они подошли к дому Сони. На втором этаже старого дома горел свет. Девушки встали под окном. В окне прошла фигура, принадлежащая ЕМУ. Полина первая нарушила молчание:

– Ну? Что мы тут стоим? Я ничего не понимаю!..

Соня (не сводя с окна глаз). Не окликай его, не окликай!

Полина. Я и не собиралась. Он такой щедушный, он же не курит?

Соня. Не курит. У него диета. Вообще он приболел... У него нос заложило... – Соня раскрыла свою ладонь – там у нее была монетка, чтобы позвонить. – Стой здесь, я пойду ему позвоню!

Соня перешла дорогу – там был телефон-автомат. Набрала номер телефона, дико как-то улыбаясь:

– А-а-ллё! Это ты? (Говорит очень нежно.) Ну, как ты?

ОН. Ты где?

Соня. Я здесь на улице, прямо напротив дома. Захотела услышать твой голос. Помнишь, я писала сегодня, ну, что “без него у нее будто бы отрубали крылья на большой высоте, и она испытывала весь ужас падения”?..

ОН. Да болею я, какой такой голос!.. Ушла, ключи унесла, по всей квартире чем-то воняет!.. Что ты опять хочешь?

Соня в это время смотрела на окно во втором этаже опять полными слез глазами.

Соня. Не говори сегодня со мной так, не говори...

ОН. Это я устал, не могла бы ты быть немного понежнее?.. Ну, я читал, читал, что ты писала, ну? Что тебе еще надо?

Соня. Ну, ладно, не буду тебе говорить плохих слов сегодня... а ведь у тебя насморк, как ты можешь чувствовать запах? Ну ладно, не буду говорить тебе плохих слов сегодня... Я, наоборот, хотела все красиво, хотела попросить тебя в последний раз... одну вещь!

ОН (с тайным раздражением). Какую вещь? Что опять?

Соня. Не мог бы ты не присматриваться никуда, не искать ни запахов, ни вони, а выключить свет в нашем окне, подойти... там на кухне на подоконнике я оставила свечку. Зажги ее! Я посмотрю с улицы, как это выглядит. И сразу вернусь домой, к тебе! Пожалуйста, любимый мой!

Он молчал.

Соня. Сделаешь? Не отказывай мне сегодня, не сопротивляйся. Ведь ты же мой?

ОН. Свечку на подоконнике? Опять в сотый раз...

Соня. Да! И помаша мне рукой... как бы на прощание, понимаешь? Все в любви должно быть красиво, пойми, это же не трудно!

ОН. Ладно! Если это тебя так возбуждает...

Короткие гудки.

Соня постояла, вернулась к подруге, ждущей на парапете.

Полина. Ну? Я не зову его.

Соня. Сейчас, сейчас...

Свет в кухне погас. Темная фигура подошла к окну. Помахала слабо.

Полина. Что он там махает?

Но не договорила, вспыхнул огонь спички, вдруг внутри кухни все наполнилось взрывом, и к ногам девушек прилетел кусок белой шторы и кусок чего-то неопределенно-кровавого.

Полина, опомнившись, повернула голову на Соню. Кажется, она что-то стала понимать, но тоже не до конца, да и вообще, реально ли понять другую душу до конца?

ОФЕЛИЯ, БЕЗВИННО УТОНУВШАЯ

новелла для Киры Муратовой

Регистратура в больнице родильного отделения. За стеклом, за столом сидит девушка, главная героиня, как все ее здесь зовут – Офа, и объясняется кокетливо с очередным отцом, ожидающим новорожденного:

– Ну что ты! Нет, нет, нет, я не касаюсь детей, я даже не имею такого образования – вытаскивать их из чрева! Я касаюсь только бумаг, только бумаг! – и она улыбается мужчине. Тот проходит мимо нее в коридор, она встает и второй женщине, стоящей у стеллажей с картотекой, быстро и приветливо говорит:

– Я скоро вернусь. Я на минутку!

Поднимается вверх, надевает марлевую маску на лицо. Входит в одну из палат – там сидит девушка на кровати в расстегнутой рубашке, значит, только что кормила ребенка.

Офа. Где же твой ребеночек, Таня? Унесли? Ну, как тебе? Что ты думаешь, Таня? Что ты решила, Танечка? Не молчи, не молчи, Таня, это все обернется против тебя. Я же знаю. – Она говорит мягко и любезно, но с тайным нажимом. Таня эта не реагирует на ее слова, сидит с отрешенным лицом, ничего не отвечает... – Таня, Таня, Таня!.. – продолжает Офа, – не делай того, что я не

советую тебе, я пока тебе друг, не превращай все в обратное, слушайся меня. Одну только меня! Никого не слушай, а только мой голос, Таня!.. – она хочет взять Таню за руку, но та с ненавистью отнимает руку и отталкивает белую, чистую, красивую Офу. Лицо у Офы страдальчески морщится, она что-то еще готова сказать, но в палату входит другая роженица, и Офа словно пугается и, поспешно отшатнувшись от Тани, быстро выходит из палаты, сдирает на ходу марлевую маску.

На лестнице ее догоняет парень, молодой врач. Они закуривают у окна.

– Офа, милая, красивая Офа! Как вы неожиданно мне встречаетесь, я так влюблен в вас, в ваш голос, в вашу походку, по которой вас можно определить издалека, вы всегда одна, загадочная Офа, куда вас можно пригласить? Куда вы любите ходить? Что я должен предпринять, чтобы вы не отказали мне? Говорите!

Офа засмеялась, не отвечая и затягиваясь сигаретой.

– Я должен знать, что вы любите есть, пить, какое время суток вы предпочитаете, какой сезон в природе, погоду, цвет, запах, какого персонажа и из какого произведения вы видите в своем воображении, когда вы засыпаете или вот когда вы так покуриваете, глядя непонятно?

Офа улыбаясь помолчала и тихо ответила:

– Да, ну вы же знаете, и все знают, что я люблю Офелию, безвинно утонувшую...

– отметила она в конце фразы и замолчала, разглядывая доктора. – И нет прекраснее и чище ее!

Доктор засмеялся, ведь все это звучало как шутка: насмешливо, иронично.

– Поэтому вас сократили до Офы, хотя ваше имя иное?.. – сказал он.

– А я не против, а я не против, между прочим... – она затушила сигарету, делая движение уйти. Он схватил ее за руку:

– Не уходите, вы пришли в мое отделение ведь не просто так?

Офа. Не просто так...

Он. А чтобы увидеть меня, так, Офа?

Офа (невинно). Почему?..

Он. Вы никогда не касаетесь палат, вы заведуете бумагами...

Офа (нахмурившись). Да, я пришла увидеть вас.

Он. Ну?

Офа. Я увидела. Пойду. Руку отпустите, доктор.

Доктор. Милая, любимая Офа, не играйте со мной, я же действительно без ума от вас!

Офа. Идут! Сюда идут! (Пытается вырвать руку, но он оглядывается: видит, что она его обманула, что никто не идет.)

Доктор. Вы что, боитесь меня? Никто не будет любить вас так, как я.

Офа. Ах!.. Встретимся в семь после смены.

Он отпускает ее. Улыбается. Она ему тоже улыбается, быстро убегает, снизу с лестничного пролета спрашивает:

– А что мы с вами будем делать?

Стрелки больничных часов показывают без трех минут семь. Офа снимает халат. Доктор уже ждет ее за стеклом. Она берет сумочку, за полкой с картотеками

поправляет чулки на резинках, красит губы и выходит к нему, как и каждый раз, поражая и веселя его.

– О, Офа! – говорит он ей.

Они вышли на улицу. Идут по улице, разговаривают.

Офа идет чуть впереди, наклонив голову, послушно отвечает на вопросы.

– Что вы любите пить?

Офа. Ну, чай крепкий. С лимоном. Это утром. И кофе с сигаретой – вечером.

Доктор. А погоду?

Офа. Осень – хорошо. Когда дождь. И чтобы была ночь. Так люблю, доктор.

Доктор. А цвет? Какой вы любите цвет?

Офа. Я люблю белый. Я люблю черный. Я люблю красный. Я люблю сверкучий, из чешуи.

Доктор. А море?

Офа (задумавшись). Да, я люблю воду.

Доктор. А вы хотите замуж?

Офа. А, вы меня проверяете, все думают про меня что-то не то. Нет, я не фригидная, доктор. Я люблю мужчин.

Они подошли к скамейке, доктор бросил на нее свой портфель. Вслед за этим и сели на скамейку.

Доктор. А почему вы ушли из старой больницы, Офа?

Офа. Старая больница – сырая, грязная, стены у нее больные, мне не нравился район, где она стояла. Мне прискучило все там! Все они интересовались моей жизнью. Что я им сделала? Они не давали мне покоя. Нужно менять места – такое мое правило. И эти мужчины!..

Доктор. Вы говорите, как эта Таня из моего отделения. Она сегодня уходит домой, мы составляли документы на ребенка, ведь вам уже отнесли дело в регистратуру?

Офа (скрывая возбуждение). Какое дело? Ничего не приносили!

Доктор. Дело в том, что она отказывается от ребенка.

Офа. И она уходит сейчас?

Доктор. Что? А, уходит, уходит... Офа, милая...

Он наклоняется к ней и целует ее – она не сопротивляется. После поцелуя, отстранившись, она спрашивает:

– А что мы будем делать?

Доктор. Поедемте ко мне?

Офа. А вы взяли с собой презервативы?

Доктор в некоторой растерянности и смущении что-то невнятно отвечает:

– Ну... не-е-ет...

Офа встает со скамейки и обращается к нему уже сверху вниз:

– А я без них не буду. Прощайте, доктор, – и она быстро уходит, оставив его одного на скамейке с удивленным и оскорбленным и озабоченным лицом.

Едва завернув за поворот, пропав из поля зрения, поля видимости доктора, Офа начинает уже откровенно бежать в сторону своего больничного корпуса.

Вбегает в свою регистратуру. На столе ее сбоку уже появилось новое “дело”. Она, не садясь, стоя, склоняется над ним, судорожно листает, ищет конец дела,

читает, захлопывает его. Слышит чьи-то шаги, прячется за стеллаж с картотекой. Сквозь полки видит, что прошла одинокая фигура девушки по имени Таня. Офа ждет, когда та пройдет и хлопнет дверью.

Переждав несколько мгновений и услышав, что никто не идет, Офа бесшумно выскальзывает на улицу, идет некоторое время следом за фигурой девушки, не окликая, не догоняя ее, а только выслеживая. Так они проходят несколько кварталов. Довольно пустынно на улицах города в эти часы. Наконец, Офа нагоняет девушку. Идет с ней некоторое время молча нога в ногу. Закуривает на ходу. Девушка говорит ей:

– Угостите меня тоже.

Офа молча дает ей прикурить. Девушка меньше ее ростом – Офа царственно вглядывается в нее.

Таня (затянувшись несколько раз, говорит). Какая вы добрая, Офа. Только вы одна...

Офа. Я бы не назвала себя доброй... Я бы назвала себя человечной. (Тут Офа, оглянувшись, нагибается и поправляет сползший чулок с ноги.)

Таня. Отчего вы носите чулки? Это же неудобно.

Офа. Удобно, но я могу снять, если тебе не нравится. Зайдем в подъезд, а то тут вдруг кто-то пойдет. Я сниму, а ты поддержишь сумку.

Офа оглядывается по сторонам. Девушка покорно качает головой.

Офа. Нет, этот подъезд не годится... (Они проходят мимо нескольких подъездов и подворотен.) Нет, это не то... Нет, вот там дальше будет...

Вдруг навстречу им попадает незнакомый мужчина, он игриво цокает языком и не дает им пройти, но, наконец, пропускает и идет дальше.

Таня. Кретин, старый урод... Ненавижу мужчин. Эти мужчины!..

Офа. Вот подъезд, сюда!

Она завернула в какую-то глухую подворотню, верно, вообще нежилого дома. Они остановились в подъезде.

Офа. Да, ненавижу мужчин. Ненавижу женщин.

Девушка взяла из рук Офы ее сумочку, отвернулась спиной так, чтобы не стеснять регистраторшу и, стоя спиной, сложив на животе руки с сумкой и подталкивая ее коленями каждый раз, спросила лирически, глядя из подъезда на улицу:

– А кого же вы тогда любите, Офа?

Офа. Я? (Снимая чулок с ноги.) Я люблю детей.

Она занесла над ее головой ленту чулка, перекинула на шею и резко затянула, поднимая вверх, заваливая набок и перекручивая тело девушки намного меньше себя. Когда та уже совсем свалилась на пол, вниз лицом, Офа оседлала ее, поставив коленку той на спину, та продолжала несильно дергаться у нее в руках через концы чулок, которые она продолжала натягивать.

Офа. Больно тебе? Не больно, не больно...

Далее следовала техническая часть – долго-долго не отпускать чулок. Так Офа и сидела с настороженными глазами и ушами в проеме подъезда – вид у нее был со стороны, конечно, престранный: чулка-то издали не было видно и казалось – сидит девушка на каком-то пригорке с высоко поднятыми руками, как дирижер, и лицо у нее морщилось от физического напряжения.

Но все когда-то завершается. Офа вышла из подъезда, надев перед этим чулок, даже и нигде не пострадавший, не порвавшийся.

Офа побежала по улицам, проверяя телефонные аппараты – многие из них не работали. Один все-таки сработал. Дрожащими пальцами она набрала номер телефона:

– Доктор! Доктор! – заговорила она в трубку. – Это ваша Офа. Я все сделала неправильно: зачем я вас оставила, простите ли вы меня теперь? Я совсем одна тут стою на улице и мне очень-очень-очень страшно, доктор! Я записываю ваш адрес! – она его не записывала, но кивала, улыбаясь.

Ночью рядом с его плечом она резко очнулась. Встала, тихо оделась, вышла на улицу, вернулась на место убийства, зашла в подъезд – девушка все продолжала лежать найденной. Офа наклонилась над ней, чуть перевалила ее, и стала тянуть из ее рук забытую сумочку свою. К ужасу Офы девушка “не отдавала” ей сумочку. Видно, пальцы сильно сцепились. Офа встала перед ней на колени и по пальцу разжала руку. Забрала сумку. Вышла из подъезда. Уже наступал рассвет.

Она села у доктора на кухне (ведь двери уходя она лишь прикрыла, оставив небольшую щель), быстро сняла платье, оставшись в рубашке, закурила. Ее напугал вставший доктор. Она вздрогнула, когда он вошел.

– Ты много куришь, Офа, – строго и нежно сказал он.

– Я так еще неопытна, – пожаловалась она ему.

Он воспринял это по-своему, по-мужски – улыбнулся.

– И еще, – добавила она, – наверно, я сегодня сделалась беременной. И это что, я должна вынашивать твоего зародыша? Но я не хочу вынашивать твоего зародыша в себе, я должна делать карьеру!

– Какую карьеру? – изумился доктор.

– Мне дают место в архиве роддома. Я буду заведовать этими секретными архивами, всеми связями и данными, подложными фамилиями и адресами ускользнувших, расписки отказавшихся женщин будут в моих руках, одновременно я буду обладать их адресами и подлинными фамилиями – такое судьба посылает не каждому!

– Не каждому, – отозвался доктор. – А что же, Офа, ты не любишь меня, как говорила ночью?

– Я не люблю мужчин. Я не люблю женщин. Я не люблю детей. Мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль.

– А кого же ты любишь, Офа?

– Я, наверное, люблю животных, – сказала она, – и не задавай мне этого вопроса, потому что у меня рождаются ассоциации. И не провоцируй, не провоцируй меня на лишнее! У меня отдельный большой план жизни, а ты, мой милый, сбиваешь, сбиваешь меня с толку. И не приближайся ко мне, пока я не уйду.

Настенные часы в больнице показывают семь часов вечера.

Офа сидит в архиве за столом, пьет кофе и курит, наблюдая, как собирается ее пожилая напарница.

– Ну, до свидания, Офа, – говорит ей напарница, открыв входную дверь. – Неужели вы не устали, всегда такая веселая, бодрая, услужливая, такая чистоплотная, добрая девушка?

– Я люблю касаться бумаг. – Она взяла со стола одну из карточек, – вот, например, в семидесятом некая Косматова Жанна отказалась от своего первенца-мальчика, его звали Петей и отдали в семью Тополь через год по адресу: Авиационная, 71.

– Тише-тише! – сказала ей напарница. – Это же секретные данные! Вдруг нас кто-нибудь подслушает?

– Вдруг никогда ничего не бывает, – сказала Офа, – все закрючованно, имеет свои заделы и забросы – есть судьба, и если ты ей не противоречишь, она несет тебя в заданном направлении ко всем тем поступкам, на которые ты запрограммирован и рассчитан изначально. И даже помогает и сохраняет тебя. И пока ты это не выполнишь, ничего с тобой не случится!

Женщина удрученно задумалась у дверей, вздохнула и сказала:

– Ну, ладно, пойду, Офа. Закроете потом все. – И ушла, тихо затворив за собой дверь.

Офа тут же вскочила и закрыла за ней дверь на замок. Как только она повернула ключ, тут же в дверь стал стучаться доктор.

– Офа, открой, это я! – забарабанил он в дверь. Офа молчала, застыв у дверей.

– Пусты меня, Офа, – не унимался доктор.

– Не пущу, – наконец отозвалась она загадочно. – Тебе чего?

– Я принес тебе яблок, – сказал тот.

– Положи под дверь и уходи.

– Их украдут, Офа. Давай я тебе их передам. Заходить не буду, только передам через дверь.

Офа щелкнула замком. Сделала маленькую щель и высунула только руку:

– Давай! – она помотала в воздухе рукой, не показывая своего лица. Он вложил в руку сетку с яблоками, руку успел поцеловать. Она тут же закрылась снова, приговаривая:

– Спасибо. Ты уже помогаешь мне, значит, я на верном пути, – сообщила она.

– Я не хочу чтобы ты видел мое лицо, оно такое... разгоряченное! Просто я у цели, доктор!

Он покорно слушал ее.

– Иди! – приказала она ему, и он побрел по коридору вон из больничного архива.

Офа пошла в глубину архива, стала рыться на одной из полок и, наконец, достала тонкое “дело” – она закрыла лицо руками, тоненько взвыла даже, постояла секунду, словно от головокружения, схватившись за лоб, потом побежала к столу и судорожно начала читать, листать шевеля губами и перелистывать.

Вслух, несколько раз она прошептала:

– Цветочная, 25, квартира 5. Цветочная, 25, квартира 5!

Захлопнула дело, сложила его в два раза и запихала в свою белую сумочку с потрепанными ручками.

Офа стоит на углу дома 25 по улице Цветочной. Заходит в подъезд. На этаже звонит в квартиру 5.

- Кто там? – слышится женский голос.
- К вам по делу, пустите, – проговорила вежливо Офа.
- Не пуцу, – сказал голос. – Я одинока, и уже ночь на дворе.

Офа вышла во двор, посмотрела на окно пятой квартиры – увидела женщину лет пятидесяти с лишним. Запомнила ее внешность.

Утро следующего дня. Офа сидит на скамейке. Подъездная дверь открывается, выходит та самая женщина. Офа говорит сидящему рядом мальчику лет одиннадцати:

– Пойди и толкни ее. На, – она дает ему деньги. Парень бросает сигаретку, поправляет на пальце фальшивый перстень и бежит за женщиной. Делает вокруг нее несколько кругов – та настороженно остановилась, наблюдая за его манипуляциями. Мальчик толкнул ее в спину, тогда она врезала ему палкой прямо по голове – палка у нее была тоненькая, дамская, но, видно, била больно, потому что мальчик заорал как резаный и убежал, схватившись за окровавленную голову.

Женщина пошла дальше. Приятно пораженная, Офа двинулась следом за ней. При всей своей защищенности, вид эта женщина имела незащищенный, и даже беззащитный, лирический. Двигалась она женственно и небыстро, прическу имела кудрявую и ухоженную, взгляд – рассеянный и отрешенный. На палочку она не опиралась, но несла в руках как зонтик. Палочка была белая, и в платье она одета была тоже белом, длинном, даже каком-то массивном, навевающим какие-то доисторические ассоциации.

Офа шла за ней, выслеживая, куда же та пойдет. Та вырулила в конце концов в парк и села на скамейку у реки в довольно глухом, уединенном месте, заросшем ивами. Скамейка была полуразрушенная. Хрустнув кустами, Офа подошла к женщине и села на скамейку. Та глянула на нее недовольно, шевельнув в руках книгой, которую она читала.

– Не знаете, здесь купаются? – спросила Офа очень нежным голосом.

– Да вы что! – сказала женщина. – Из этой реки потом нельзя выбраться. Здесь илистое дно и зыбкий берег.

Офа слушала и кивала ей, но самое главное – ее целью было лишить эту женщину палочки, которая стояла у той за спиной, прислоненная к скамейке. Офа вытянула руку по краю скамейки и пальцем толкнула палку, чтобы она свалилась в траву.

– Так-так-так... – деловито отозвалась Офа.

– Вы мне мешаете этим своим “так-так-так”, – сказала женщина.

– Сразу видно, – сказала Офа, – что у вас нет детей!

– Чтобы они повторяли мою судьбу? – та отрицательно помотала головой.

– А что у вас за судьба, чтобы вы не хотели, чтобы они повторяли? – трехсложно, как песню пропела, спросила Офа настораживаясь.

– Здесь совпадения падают подчас и на детали, девушка...

– Можно, знаете, проверить. Вот, ну неужели вы сейчас читаете книгу про

невинно утонувшую Офелию?

Женщина немного удивленно глянула на нее.

– Да, – сказала она. – Офелия – мой любимый персонаж, но вы, девушка, наверно, подглядели!

– Нет, – сказала Офа, – я просто действовала вашим методом совпадений. Но если все так получается, то это – ужасно!

Она стала внимательно вглядываться в лицо женщины, вырвала у нее из рук книгу, посмотрела оглавление и название. Вернула книгу и сказала: – Простите мне мои сиротские выходки.

– Вы – сирота? – равнодушно поинтересовалась женщина. – Ну, ничего, ничего.

– Чем же мне вам помочь? – спросила ее Офа. – Вы не голодаете?

– Нет, – ответила женщина.

– Вы счастливы?

– Нет.

– А за что вы любите эту бедную Офелию? Скажите мне.

– Ну, за ее красивую, пожалуй, смерть, – неожиданно ответила женщина. – Я завидую ее смерти, как вы точно выразились, невинно утонувшая. Ах, как это притягательно. Но мне самой так никогда не удастся. Где моя палочка? – нежно проворковала она. – Мне надо идти, пора обедать. – Офа вскочила и стала как бы искать палочку, высказав предположение:

– Я помогу вам, я помогу вам, она, наверное, закатилась под уклон к берегу.

Обе женщины подошли к самой воде, вглядываясь себе под ноги.

– Как все само совпадает и решается, – сказала Офа и толкнула женщину в спину. Та, не удержав равновесие, полетела в воду, ухнула в нее и ее длинное платье, набираясь и пропитываясь водой, потянуло ее на дно.

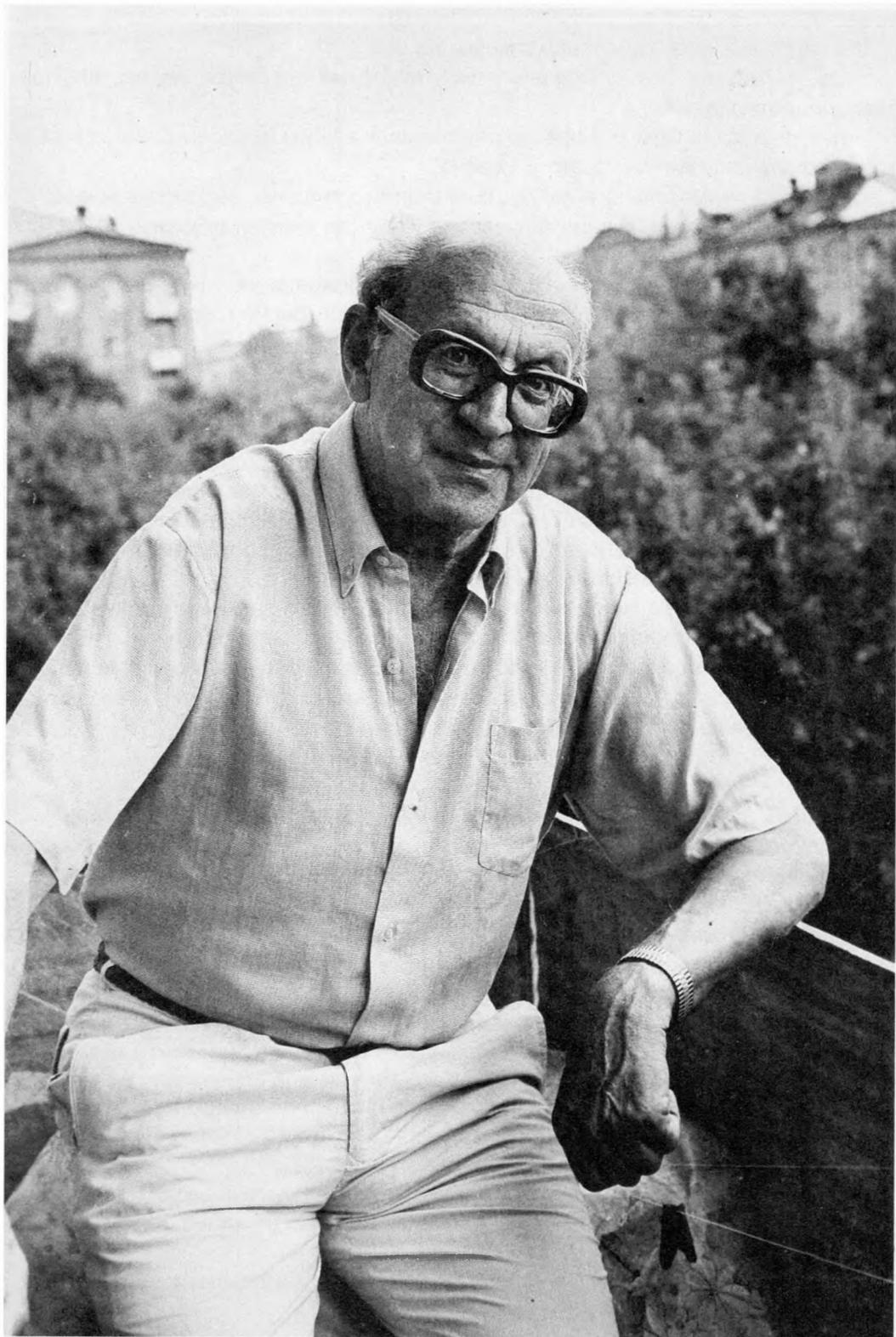
Женщина стала цепляться за иву, опустившую свои ветки в воду, но они были очень скользкие. Офа нашла палочку и оттягивая подальше от женщины спасительные ветки в сторону, говорила ей так:

– Ну это же хорошая смерть, мама! Ты же сама мечтала и грезила о ней, а я воплотила ее в жизнь. Давай прощаться, ведь все складывается независимо от нас, мама!.. И ты ни в чем теперь не виновата передо мной, я прощаю тебя!

Женщина, еще раз глотнув воздуха, скрылась с головой в прозрачную воду, утянутая своим надуманным Офелиевским платьем. Через некоторое время все было с ней покончено: тихое течение шевелило ее труп на дне между трав – вода была прозрачная, и дно проглядывалось. Тело матери лежало на спине и двигалось, словно дышало, как живое с извивающимися прядями вокруг головы.

Офа сидела на скамейке, держа в руках вынужденное из сумочки дело ее матери из архива: как настоящий судья, перекинув ногу на ногу, опершись одной рукой о палочку.

Закуривая, она подпалила и дело. Палочку выкинула далеко в воду, встала и покинула место преступления.



Валерий Фрид

58 1/2

VI. Едем на Север

Перевозят зеков – на дальние расстояния – двумя способами: или в “столыпинских” вагонах (официальное название – “вагонзак”), или в товарных. Когда-то их называли “телячьими”, а в наше время “краснухами”.

Краснухи – это теплушки, в каких еще в первую мировую войну возили солдат. На красных дощатых стенках в те годы натрафаречено было: “40 человек или 8 лошадей”.

Наш этап так и грузили – человек по сорок в каждый вагон, особой тесноты не было. В обоих концах теплушки – нары, поперечный дощатый настил. На нем расположились воры; их в моей краснухе ехало шестнадцать лбов. Я и другие фраера устроились внизу. Моих товарищей по камере рассовали по разным вагонам, даже поговорить было не с кем. Я лежал и слушал разговоры блатных.

Молодой вор, низкорослый и худосочный, подробно рассказывал, как они втроем “лепили скачок”, брали квартиру. Все у них шло гладко, пока не вернулась из школы хозяйская дочь, десятилетняя девочка. И рассказчику пришлось резать ее.

Этого слушатели не одобрили. Возможно, теперь критерии изменились, но в те годы ценилась у блатных не сила и жестокость, а мастерство. Не бандиты были самой уважаемой категорией, а карманники – “щипачи”. В их деле требовалась и филигранная техника, и артистизм, и отвага.

Так что молодой вор, зарезавший девочку, много потерял в глазах своих коллег; да он и сам понял, что совершил faux pas: не надо было убивать, а если уж так вышло, не стоило этим “хлестаться”, хвастать.

Мне было любопытно: первый раз за все время я присутствовал на воровском “толковище” – обсуждении этических проблем преступного мира. К слову сказать, это книжное “преступный мир” ворами почему-то очень нравится. Даже в песню оно попало: “Я вор, я злодей, сын преступного мира”. (Юлик Дунский пел: “Я вор, я злодей, сын профессора Фрида”.)

Не прошло и часа, как я и сам встал перед нешуточной этической проблемой. Получилось это так. Один из пассажиров нашей краснухи, Женька Эйдус, сидел со мной еще в Бутырках. Там Эйдуса не любили: была в нем какая-то мутноватость. Еврей – а благополучно пережил плен; в камере перед всеми заискивал; разговаривая, в глаза не глядел. Одет он был вполне прилично, в новенькую английскую форму. (Его англичане освободили из немецкого лагеря, но отдали нашим – видимо, он и союзникам не понравился). И вот теперь, чтоб отвести от себя угрозу раскуроченья, Женька настучал блатным про меня – вернее, про мои уже упомянутые ранее “самосудские” сапоги.

Кто-то из уркачей подсел ко мне и предложил поменяться. Не грубо сказал – отдай, мол, мужик, прохаря, они тебе в коленках жмут, а попросил по-хорошему:

– Давай махнемся? Их у тебя в лагере все равно отвернут. А я тебе на смену дам

– смотри, какие хорошие.

И он показал мне действительно хорошие, почти ненадеванные кирзовые сапоги. Мои, конечно, были лучше, но не в этом дело. Какое там “попросил похорошему”! Если соглашусь, ясно, что струсил, отдал “за боюсь” – так это у воров называется. А если не отдам?.. Тут я всерьез задумался: я один, а их шестнадцать. И никто не придет на выручку, это уже проверено. Конвой тоже не заступится: он и не услышит... Изобьют до полусмерти, а то и удавят... Короче говоря, я не стал заедаться, поменялся с воров сапогами – и сразу запрезирал себя за малодушие.

Забегая вперед, скажу, что у этой истории было забавное продолжение. На лагпункте, куда нас привезли, администрация блатных не жаловала. Новеньким в первый же день устроили шмон, отобрали все, награбленное в пути, и сложили на земле перед конторой: подходите, фраера, забирайте свое! Целый курган получился – из шинелей, пиджаков, ботинок, сапог. Были там и мои, но я, ко всеобщему удивлению, не пошел брать их: стыдно было, что отдал без боя. Глупо, конечно, но решил таким способом наказать себя за трусость, остался в кирзовых, полученных на сменку. И вдруг подлетает ко мне незнакомый блатарь, кричит:

– На, падло, подавись своими колесами! Кидает мне под ноги офицерские хромовые сапожки и требует назад свои кирзовые. Хромовые были не мои, а кирзовые не его, но жулье – народ сообразительный: когда надзиратели стали водить по зоне слишком хорошо одетых и обутих блатных – в поисках бывших владельцев барахла, – этот воришка решил “опознать” меня, чтоб выйти из дела с наименьшими потерями. На мне ведь были очень приличные сапоги, наверняка лучше тех, что он дал кому-то на сменку. Я не стал отказываться, поменялся с ним “колесами” и стал обладателем чужих “хромовячих прохарей”.

Не знаю почему, но в этом случае совесть моя промолчала. За что бог покарал меня уже через неделю: в офицерских сапожках я сходил на работу и вернулся в зону в одних голенищах – подошвы остались в болоте. Пришлось обуваться в лагерные “суррогатки”, они же говнодавки – башмаки, сшитые из расслоенных

автомобильных покрышек. А хромовые голенища мне удалось сменять у лагерного сапожника на полторы буханки хлеба... Надо сказать, что сапожникам жилосо в лагерях хорошо: всегда в тепле, всегда сыты. В детстве отец не раз грозил мне: “Отдам в сапожники!” (Я плохо учился.) Но ведь не отдал – а жаль. Между прочим, заложивший меня вора Женька Эйдус был по профессии сапожником и на лагпункте прекрасно устроился.

Но до лагпункта надо было еще доехать, а пока что вернуться в краснуху. Я не помню, сколько времени мы добирались из Москвы до станции Кодино – это там, в Архангельской области, располагалось Обозерское отделение Каргопольлага НКВД СССР. Думаю, что не больше двух суток. Не помню и особых тягот: нас вовремя кормили, питьевой воды хватало, приспособились мы и пользоваться вместо параша покатым деревянным желобком, выведенным наружу. Ехать было скучно – и парнишка, знавший меня по Красной Пресне, попросил рассказать что-нибудь. Воры на верхних нарах заинтересовались, стали уважительно упрашивать: тисни роман, керя!

Как и в камере, я стал пересказывать трогательные голливудские мелодрамы. Вот когда пригодилось вгиковское образование! Трофейные фильмы еще нигде не шли, а нам их показывали.

Особенным успехом у сокамерников пользовалось “Седьмое небо” с Джеймсом Стюартом – о любви мусорщика и проститутки. И еще “Дожди наступили” – тоже про любовь; там индийский раджа страдал по красавице американке, Мирне Лой.

В краснухе я рассказывал эти фильмы на сон грядущий, вместо колыбельной – а за окошком все не темнело и не темнело. Пошли в ход и “Летчик-испытатель”, и “В старом Чикаго”, но все равно день никак не желал кончаться. Я устал рассказывать, хотелось спать... Не сразу мы поняли, что это уже утро следующего дня – мы приехали в белую ночь. Поезд замедлил ход, остановился. Забегали вдоль вагонов конвоиры, с грохотом отъехала в сторону дверь нашей теплушки.

– Вылезай, приехали!

Весь этап – человек двести – построили возле путей, пересчитали и повели к лагерю.

Высокий дощатый забор, поверху – колючая проволока; вышки по углам, и на вышках “попки” – часовые. А над тяжелыми воротами – полоса кумача и по красному белые буквы: “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”.

Мы очень удивились. Не “Оставь надежду, всяк сюда входящий” и не знаменитое беломорстроевское “Кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет”, а именно приветливое “Добро пожаловать!”

Позднее выяснилось, что приглашение адресовано было не нам. Просто здесь, на “комендантском”, неделю назад проходил слет ударников лесорубов – заключенных, разумеется. Их под конвоем свезли сюда с разных лагпунктов; их-то и приветствовало местное начальство. Слет кончился, а транспарант, как водится, поленились снять.

VII. Комендантский

Открылись ворота и наш этап впустили в зону. По узкому дощатому тротуару неторопливо шел к вахте угрюмый красномордый мужик в “москвичке” (так на Севере называли короткое полупальто; Москва об этом и не подозревала). Рядом со мной кто-то из блатных пробормотал:

– У-у, волчара!.. Вот за кем колун ходит.

Я был уже достаточно образован, чтобы понять: воры чутьем угадали в красномордом врага, от которого им хотелось бы избавиться. Убивали, как правило, не колуном, а топором, но “колун” звучит как-то страшнее.

Мой блатной сосед оказался почти пророком: на этого “волчару”, коменданта Надарая, решительного и жестокого грузина, уже через месяц кинулся Иван Серегин*) – правда, не с колуном и не с топором, а с ножом. Зарезать не зарезал, но довесок до червонца получил (т. е., добавили срок до десяти лет).

Пока нас пересчитывали и переписывали, Петька Якир – он, оказывается, ехал в другом вагоне – незаметно вышел из строя, минут за десять обежал всю зону и вернулся с утешительной информацией:

– Доходить доходят, но помирать не дают. У них тут три стационара, ОК и ОП.

Это означало: работа тяжелая, кормежка плохая, но на лагпункте три лазарета,

Отдыхающая Команда и Оздоровительный Пункт, так что жить, в общем, можно. Хочу сразу сказать, что помирать все-таки давали. Как правило, два-три человека в день списывались “по литеру МР”, умершие. Но ведь сюда, на комендантский (почему он так назывался, понятия не имею; ясно, что не в честь заключенного коменданта Надарай), – свозили со всех лагпунктов Обозерского отделения дистрофиков, пеллагрозников, туберкулезников и всяких других. Лечили, как могли – а врачи были хорошие, свои же зеки, – но всех не вылечишь. В ОК, Отдыхающую Команду, зачисляли недели на две сильно истощенных, но не больных. Работягу, измученного непосильными нормами, могли месяц, а то и два продержать в ОП, Оздоровительном Пункте; там кормили, а работать не заставляли. Если уж и это не помогало, списывали в инвалиды. Вот оттуда возврата не было: доходяги рыскали по помойкам в поисках чего-нибудь съедобного, часами варили траву в ржавых консервных банках и вконец растраивали здоровье. Не все, конечно. Кто-то нес свой крест молча, с достоинством, не унижался до попрошайничества и до помоек – у таких было больше шансов выжить. Но до чего же трудно голодному человеку не переступить черту! Впадали и в полный маразм. Так, Юлию Дунскому признался один фитиль, что подкармливается корочками сухого кала; собирать их он рекомендовал в уборной возле барака ИТР – инженерно-технических работников: те питаются лучше и экскременты у них более калорийные. Но это было не у нас, а в другом лагере. Там, рассказывал Юлик, смертность составляла 160 %. Это значит, что, при списочном составе лагпункта 1000 человек, умирало за год 1600. Кончилось тем, что тамшнее начальство пошло под суд: воруй, но знай меру...

А наш этап в первый же день прогнали через санобработку, т. е. помыли в бане и прожарили одежду. Парикмахер, блатнячка Сусанна Столбова, брила мне лобок, командуя:

– Тяни хуишко направо!.. Так. Теперь налево его!

(Она была забавная девка. Разговаривала капризным детским голоском, растягивая слова – в основном матерные. И этот контраст между текстом и мелодией



Первые дни в лагере. Фотографировал по блату лагерный фотограф з/к Ласс

придавал ей какой-то шарм... До конца срока Сусанке оставалось полгода; выйти на волю хотелось в человеческом обличе. И когда пришел день освобождения, она сменила лагерную одежду на шмотки, выменянные у литовок и эстонок: чуть ли не дореволюционные шнурованные сапоги до колена, шубку с изъеденным молью песцовым боа.

Всегда веселая, уверенная в себе, Сусанка растерялась перед свободой – отвыкла за восемь лет. Вертелась перед зеркалом в жалком своем наряде, с тревогой поглядывая на меня, столичного жителя:

– Ну как? Ничего?

Я уверял что ничего – даже очень красиво. Не хотелось огорчать девчонку.)

После бани нас повели на “комиссовку”. Врач и фельдшер определяли на глаз, по исхудалым задницам, кому поставить в карточку ЛФТ – легкий физический труд, кому СФТ – средний, кому – тяжелый, ТФТ. Ягодицы у меня были в порядке, но краснопресненские ножевые раны еще не

совсем зажили, мокли – поэтому мне прописали СФТ. И мы разошлись по баракам, осматриваться и устраиваться на новом месте.

Самые яркие впечатления первого дня:

1. Исследовательский талант Петьки Якира, который уже к вечеру точно знал, “с кем здесь надо вась-вась, а с кем – кусь-кусь”;

2. Профессор Нейман, пожилой московский зоолог, который до крови избил старожилу доходягу, – тот посягнул на профессорскую миску баланды.

– Такой не пропадет, – одобрительно сказал фельдшер Загорулько. И действительно, назавтра Неймана поставили бригадиром.

3. Полинка Таратина, “така красивенька на тонких ножках”, по определению того же фельдшера. Она сидела на крыльце санчасти и пела, тренькая на гитаре:

Ты не стой на льду, лед провалится,

Не люби вора, вор завалится.

Вор завалится, будет чалиться,

Передачу носить не понравится.

Ты рыдать будешь, меня ругать будешь,

У тюремных ворот ожидать будешь...

Была певунья совсем доходная, ноги худые, тоненькие, как у цапли; но вся картинка действовала как-то успокоительно: раз еще поют – значит Петька прав, здесь в самом деле жить можно.

4. Надпись на побеленной известью стене барака: “ЧЕСТНЫЙ ТРУД – ПУТЬ К ДОСРОЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ”. Вернее, не сама надпись, а мрачный юмор художника, загнувшего слово “освобождению” вниз, так что самый кончик уходил в землю. А может, это был не юмор, а просто парень не рассчитал, не хватило на стене места.

Бригада, куда меня определили, строила новый лагпункт – Хлам-Озеро. До места работы было километров десять. Нас водили под конвоем, по болоту – там я и оставил подошвы своих несправедно нажитых хромовых сапожек. Часть пути мы, разбившись попарно, шли по лежневке – рельсовой дороге для вывозки леса. Рельсы были не стальные, а из круглых жердей. Идешь, как по буму; чтоб реже оступаться, руку держишь на плече напарника. А он – на твоём. Моим напарником был Остапюк, эсэсовец из дивизии “Галичина” – красивый

меланхоличный хлопец, очень истощенный.

Нас двоих поставили отпиливать концы бревен – чтобы угол сруба был ровным. Остапюк работать пилой умел, но не хватало силенки. А я был посильней, но не хватало таланта. В результате угол получился таким безобразным, что меня с позором перевели на другую работу – шпаклевать щели между бревнами. Дело нехитрое, любой дурак справится: берешь мох (пакли не было) и вбиваешь его ударами тупой стамески в щель. Но если работать честно и старательно, то норму ни за что не выполнишь.

И тут я получил первый урок туфты. Кто-то из работяг похитрее объяснил, что если не втрамбовывать мох глубоко, только слегка заткнуть щель, а излишек ровненько обрубить той же стамеской, ни бригадир, ни прораб не отличат на глаз эту наглуую халтуру от добросовестной шпаклевки. Так я и стал делать, отгоняя от себя мысль: а что если в этой бане – мы строили лагерную баню – придется мыться самому, да еще зимой? Ведь мох подсохнет, и холодным ветром его выдует к чертям. Но – “без туфты и аммонала не построили б канала”. Эта присловка, родившаяся на ББК, Беломорско-Балтийской стройке, стала руководством к действию многомиллионной трудармии зеков Гулага... **

Главная и неприятнейшая особенность лагерной жизни – это неопределенность, унижительная неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, завтра может и повезти: заболеешь, попадешь в стационар – или же придет посылка из дому. Но чаще всего перемены бывают к худшему: переведут на тяжелую работу, посадят на штрафную пайку, а то и отправят на этап. Так и живешь в тревожном ожидании неприятностей. Но мне на первых порах везло.

С Хлам-Озера всю бригаду перевели на лесобиржу, где можно было не надрываться на работе.

Каргопольлаг – лесной лагерь. На лесоповальных лагпунктах заготавливали древесину; стволы деревьев по реке – молевым сплавом – приплывали к нам, на комендантский, и попадали на лесобиржу. Это была очень большая рабочая зона, обнесенная колючей проволокой и заставленная штабелями леса.

Бревнотаска вытягивала из затона

шестиметровые баланы*** и поднимала на высоту примерно трехэтажного дома. Там цепь волокла бревна по длинной узкой эстакаде, а крепкие ребята вагами скидывали их на штабеля: на какой – сосну, на какой – ель, на какой – спичосину.

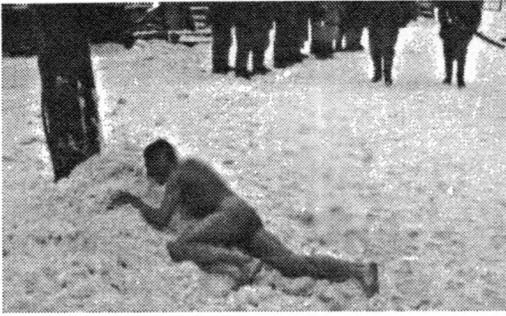
Моя задача была проще. Я стоял с багром в руках на середине штабеля и помогал бревнам скатываться вниз, где другие зеки оттаскивали их в сторону, сортировали и пускали в разделку. Пост мой удобен был тем, что, оперевшись на багор и слегка покачиваясь, я мог время от времени отдышать и даже дремать: издали это выглядело как работа. Если же бригадир или десятник оказывались в опасной близости, тут уж надо было вкалывать по-настоящему.

Зеки умеют извлекать выгоду из любой ситуации. Так, мой товарищ Саша Переплетчиков поймал козу, забредшую за ограждение. Ее убили, а тушу разделали циркульной пилой. Развели костер, наскоро поджарили козу и всей бригадой схавали без соли.

Всю осень я ходил на лесобиржу. Шкуруил баланы, учился распознавать, какой лес пойдет на рудстойку, какой – на деловую древесину, какой – на дрова. А вот управляться с топором и пилой так и не научился. И что интересно: другие работяги не попрекали меня неумелостью, видели, что стараюсь.

Уставал, конечно. По утрам не хотелось вставать, идти на работу. Но за отказ можно было угодить в ШИЗО, штрафной изолятор. ШИЗО – это карцер; в лагерьном просторечии – кандей или пердильник. Голые нары, триста граммов хлеба в день – не очень приятная перспектива. Но некоторые шли на это. Прятались под нарами, на чердаках. Их, конечно, искали; кого найдут – волокли на развод.

Разводом называется процедура отправки на работу. Бригады выстраиваются перед воротами. У нарядчика в руках узкая, чисто строганная дощечка: на ней номера бригад, количество работяг. (Бумага дефицитна, а на дощечке цифры можно соскоблить стеклом и назавтра вписать новые.) Конвоир и нарядчик по карточкам проверяют, все ли на месте, и если все – бригада отправляется на работу. А если кого-то нет – задержка, пока не отловят и не приведут отказчика. Если фельдшер



Эпизод с раздеванием воспроизведен один к одному в фильме “Затерянный в Сибири” (реж. А.Митта, оператор В.Шевчик)
фото Валерия Кречета

вынесет приговор – “здоров”, придется встать в строй.

У нас на комендантском развод шел под аккомпанемент баяна. Освобожденный от других обязанностей зек играл бодрые мелодии – для поднятия духа.

На разводе можно было увидеть много интересного. На меня большое впечатление произвел такой эпизод: блатарь-отказчик вырвался из рук надзирателей, скинул с себя – с прямо-таки немислимой быстротой! – всю одежду до последней тряпки, закинул один валенок на крышу барака, другой за зону и плюхнулся голым задом в сугроб. При этом он орал: “Пускай медведь работает, у него четыре лапы!”

Помощники нарядчика под общий смех – развлечение все-таки – выкинули его за ворота. Ничего – оделся, пошел куртиться.

У блатных было много трудных способов продемонстрировать нежелание работать – например, прибить гвоздем мошонку к нарам. Своими глазами этого я не видел, врать не буду. Но мне рассказывали, что одного такого, прибившего себя – правда, не к нарам, а к пеньку – побоялись отдрать. Пришлось спилить пень и вместе с пострадавшим отнести на руках в лазарет.

Расположением вольного начальства пользовались бригады, умевшие выгнать на работу всех своих работяг. (“Незлым тихим словом” этого, конечно, не добиться было.)

Таким бригадирам разрешались некоторые вольности. Один здоровенный мужик, под два метра ростом, забавлялся,

например, тем, что тайно выносил в рабочую зону свою возлюбленную. Тридцатью годами позже мы с Юликом видели в Японии, как мать макака носит на груди детеныша. Так вот, точно таким манером, цепляясь руками за шею, а ногами обвив талию, маленькая щупленькая девчонка пристраивалась на бригадирской груди, и он, запахнув полушубок, спокойно проносил ее мимо надзирателей. Один раз попался, но обошлось, посмеялись только.

... Голый отказчик в сугробе, девчушка под полушубком – в обоих случаях дело происходило зимой. Это значит, что на общих работах я оставался до первых морозов. Не очень долго – но за это время и в лагере, и в мире произошло немало событий: началась и кончилась война с упомянутой выше Японией, объявили амнистию. И двое из моих однодельцев, Миша Левин и Нина Ермакова, вышли на свободу: под амнистию попадали все, у кого срок был не больше трех лет, – независимо от статьи. Мишке с Ниной здорово повезло: кроме них я видел только одного “политика,” которому дали три года.

Это был Коля Романов, парашютист – но не немецкий, а советский. Его вместе с группой десантников выбросили над Болгарией в самом начале войны. По сведениям нашей разведки, болгары все поголовно были за русских. Поэтому Коле и его товарищам велено было: как приземлятся, сразу идти в первую попавшуюся деревню и организовать партизанский отряд. Братушки не выдадут!.. Умное начальство так уверено было в успехе, что ребят даже не переодели в какие-нибудь европейские шмотки. На них были красноармейские гимнастерки – правда, без петлиц – или юнгштурмовки. Всех их, конечно, сразу же выловила болгарская полиция. До конца войны Коля просидел в софийской тюрьме; никаких военных секретов не выдал (по незнанию таковых) и оказался так стопроцентно чист даже перед советским законом, что отделался, можно сказать, легким испугом: по статье 58-1б “измена Родине” дали всего три годочка. В другой стране дали бы, возможно, медаль – за страдания – и денежную компенсацию.

На Лубянке в одной камере с Юлием Дунским сидел французский офицер, который скрупулезно подсчитывал, сколько

денег ему выплатят, когда он вернется на родину, и до какого звания повысят – но это там, это “их нравы”. А у советских собственная гордость...

Из внутриллагерных событий той осени отмечу, во-первых, повальную эпидемию поноса с рвотой, дня на три парализовавшую наш лагпункт. Болели все без исключения: и работяги, и придурки, в том числе врачи с фельдшерами.

Вообще-то за все десять лет я хворал раза два – и несерьезно: например, чесоткой. Ну, намазали в санчасти серной мазью, и все прошло. А простужаться не простужался, хотя было где. Видимо, напряженная лагерная жизнь мобилизовала какие-то скрытые резервы организма. У многих даже язва желудка проходила – чтобы вернуться уже на воле. Говорят, так же было на фронте.

Но тогда, на комендантском, от унижительной хвори не спасся никто. Лечили по-простому: выпиваешь две поллитровые банки тепловатого раствора марганцовки, бежишь в уборную, блюешь и все прочее – а после терпеливо ждешь, когда эта мука кончится. Ждать приходилось недолго: не больше двух-трех дней...

Другое событие, куда более приятное, касалось меня одного: приехал на свидание отец. В войну он преподавал в военно-медицинской академии, был подполковником медицинской службы. А до революции, в царской армии, капитаном, что соответствует майору в советской (советскому капитану соответствовал штабс-капитан). Мы с ребятами смеялись: за двадцать пять лет профессор Фрид продвинулся по армейской лестнице только на одну ступеньку; не густо!.. Мой арест на родителях почти не отразился: маму, лаборантку, попросили уволиться из поликлиники НКВД, но дали отличную характеристику. А отцу – он был директором и научным руководителем Института бактериологии – вместо положенного к какому-то юбилею ордена дали не то медаль, не то орден поменьше. Вот и все. Ему в жизни везло: в 37-м всех директоров бактериологических институтов пересажали как вредителей, а в отцовском никого не тронули. Какое-то время он один снабжал весь Советский Союз вакцинами и сыворотками. Но страху Семен Маркович в

том недоброй памяти году натерпелся...

Был он человек законопослушный, да еще коммунист, да еще еврей. И, наверное, не без дрожи в коленках отправился на свидание с сыном-террористом. Но он сильно любил меня. Надел свой китель с погонами подполковника и поехал на Север.

Погоны сработали. У нас в администрации Обозерского отделения не было офицера званием старше капитана. (В зоне был и генерал, но то не в счет.) Отцу сразу разрешили свидание, и вертухай отвел меня в контору Управления.

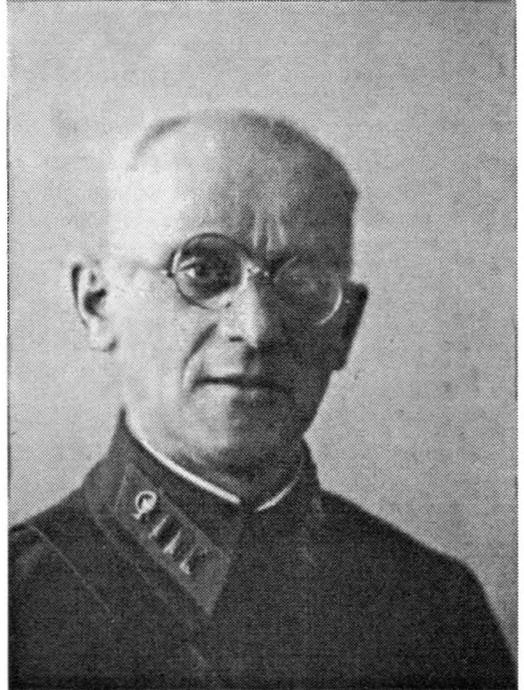
К этому времени я сносил всю вольную одежду и явился на свидание в лагерном обмундировании. На мне был бушлат, перешитый из солдатской шинели (один рукав черный, чтобы сразу видно было: арестант), застиранные добела брюки в ржавых пятнах, ватные стеганные чулки – один серый, другой в цветочках – и суррогатки. Причем на моих кордовые союзки подшиты были не подогнутыми внутрь, а вывернутыми наружу; каждая подошва, соответственно, была с теннисную ракетку – я ходил как бы на канадских лыжах-снегоступах. На голове – лагерная тряпичная ушанка, одно ухо книзу, другое вверх, как у дворняги. Не очень красивый наряд, но для работы удобный;



Вот в Ташкенте Фрид с
представителем перед отцом на
свидании.



Молодой доктор Фрид, капитан царской армии



Подполковник Красной Армии,
профессор С.М.Фрид

ноги сухие, в тепле... Я и не понял, почему отец, увидев меня, заплакал.

Свиданию никто не мешал, только время от времени заходил кто-нибудь из начальства поглядеть на полковника. А "полковник" каждый раз вскакивал и стоял чуть ли не навтыжку перед лейтенантами и даже старшиной-надзирателем. Мне было стыдно вато – да и им, по-моему, неловко.

Пришел познакомиться с отцом и начальник санчасти Друкер, фельдшер по образованию. Рассказал про странную эпидемию, попросил совета и впоследствии важно вставлял в разговоры с подчиненными: "Я консультировался с московской профессурой". Батю он заверил, что найдет для меня какую-нибудь работу по медицинской линии, и оставил нас одних.

Понизив голос, отец спросил:

– Валерочка, скажи... правда ничего не было?

Я даже не сразу сообразил, что он говорит о нашем покушении на Сталина. Успокоил его, рассказал, что успел, про следствие – и свидание подошло к концу. Отец снова расстроился:

– Может быть, в последний раз видимся.

Старый насос уже не тот. – Он похлопал себя по сердцу. Я не поверил, велел не выдумывать глупости. А зря: через полгода он умер – правда, от рака, а не от болезни сердца.

Отец уехал, и Друкер выполнил свое обещание: предложил послать меня на другой лагпункт, санитаром. Но я отказался – думаю, к его облегчению: покровительствовать зеку с режимным восьмым пунктом пятьдесят восьмой статьи было рискованно. "Кум", оперуполномоченный, этого не одобрил бы.

Отказался я от лестного предложения не ради душевного покоя начальника санчасти. Просто не хотелось уезжать с насиженного места, от Петьки Якира, с которым мы "хавали вместе" – знак тесной дружбы. Появились уже и новые друзья. А тут как раз освободилось в конторе место хлебного табельщика. И бухгалтер продстола Федя Мануйлов взял на эту должность меня.

Главную роль здесь сыграло не личное обаяние, а посылки, которые каждый месяц слали мне родители. С посылочниками было полезно водиться: кормежка и на нашем благополучном лагпункте была никудышная:

жиденькая, как понос, кашка из гороха или же из магара, несортového проса, суп из иван-чая – изобретение отдела интендантского снабжения. Иван-чай, красивый лиловый цветок, в инструкциях ОИС проходил по графе “дикоросы”. А зеки называли его Блюмин-чай, по фамилии начальника ОИС. Баланда из Блюмин-чая – темная прозрачная жидкость, от которой нёбо делалось черным, как у породистой собаки. В суп закладывалась и крупа – “по нормам ГУЛАГа”. “Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой” – так описывал это блюдо лагерный фольклор. И еще так: “суп ритатуй, сверху пусто, снизу...” – понятно что. По тем же нормам зеку раз в день полагалось мясо или рыба. Чаще всего это был маленький, с полспичечного коробка, кусочек соленой трески. А если ни трески, ни мяса на складе не было, заменяли крупой: сколько-то граммов добавляли в кашу. Словом, “жить будешь, а... не захочешь” – грустно констатировал тот же фольклор. О еде говорили и думали постоянно. Продуктам давали ласковые уважительные прозвища: “хлеб – хороший человек”, “сахареус”, “масленский”. Как волшебную сказку, мы слушали рассказы старых зеков (кстати, в Каргопольлаге говорили “зыков”) о довоенном времени, когда в лагерных ларьках можно было купить халву. Халва – она сладкая, жирная, тяжелая. Чего еще надо для счастья? Посылка из дому ждали, как второго пришествия, – и некоторым, в том числе мне, “обламывалось”. Съедал я посылку не один, а вместе с Петькой и новым начальником Федей Мануйловым. Якир продолжал учить меня лагерным правилам хорошего тона:

– Зачем ты ешь хлеб маслом сверху? Переверни, как я. Вкус такой же, а никому не завидно.

У него я пытался выяснить, почему по фене посылка “бердыч”. Может, в честь Бердичева? (Еврейские мамы, как известно, очень заботливы.) Петька не знал.

Обязанности хлебного табельщика были не очень сложны: получить от бригадира рабочие сведения – листок оберточной бумаги со списком работяг и процентом выполнения нормы против каждой фамилии – и начислить питание на завтра.

Разные виды работ вознаграждались по-разному. Скажем, лесоруб мог заработать

три дополнительных, т. е., кроме “гарантийки”, 650 граммов, получить еще 300гр. хлеба и три дополнительных каши – не скажу сейчас, за какой процент выполнения, кажется, за 120. А вот на откатке, где раньше трудился я, такого не дадут и за двести процентов.

Память у меня тогда была хорошая, все нормы я помнил наизусть и без труда составлял ведомость, по которой кухня получала нужное количество продуктов из каптерки. Считать на счетах я не умел, но насобачился складывать цифры в уме с удивлявшей всех скоростью. Я и сейчас быстро считаю.

Главную часть работы приходилось делать вечером, когда бригады возвращались в зону. А днем я праздно сидел в конторе, за барьером, отвечал любопытным на вопросы и наблюдал за лагерной жизнью.

Она была пестрая – как и население лагпункта, которое делилось по трем признакам: социальному, национальному и половому. (К этому времени – 45-й год – еще не было строгого размежевания лагпунктов на мужские и женские, в отличие от школ на воле. А когда там вернулись к совместному обучению, нас, наоборот, отделили от женщин, что сразу же ужесточило нравы.)

В социальном плане зеки делились – по горизонтали – на блатных, бытовиков и контриков, а по вертикали – на работяг и придурков.

Придурки – это заключенная администрация, от комендантов и нарядчиков до дневальных и счетоводов, – словом, все, кто сидит в тепле под крышей. “Придуриваются, будто работать неспособны”, – завистливо говорили те, кто вкалывал на общих. Вот откуда малопочетное название. Со временем оно утратило первоначальный смысл – как всякий привычный образ. Ведь не представляем мы себе яму и лопату, когда говорим “встал как вкопанный”.

Кто такие блатные, я уже рассказывал. Бытовиками считались все осужденные за “бытовые” преступления, от насильников и растратчиков до прогульщиков. (Сейчас уже трудно поверить, что при Сталине можно было угодить в лагерь на два-три года за обыкновенный прогул, а то и за опоздание.)

А контриками (так же и фашистами) назывались все подпавшие под какой-нибудь из пятнадцати пунктов пятьдесят восьмой. Судили за измену Родине, за террор, за антисоветскую агитацию, за саботаж, за никому непонятное пособничество иностранному капиталу – не то 3-й, не то 4-й пункт 58-й. Особенно много было изменников (58-1а и 1б) – думаю, больше половины списочного состава. Случалось, вся бригада сплошь состояла из изменников.

– Предатели! – весело кричал бригадир-“бытовик”. – Получай пайку!

Или просил у другого бригадира:

– Одолжи мне на трелевку двух предателей поздоровше.

Никто всерьез не принимал суровых формулировок УК. Понимали, что изменники – это побывавшие в плену, агитация – неосторожная болтовня, а саботаж (58-14) – неудавшийся побег из лагеря. Любопытно, что, получив срок по 14-му пункту, блатные автоматически превращались из социально близких в “политиков” и попадали, как кур в ощиц, в особые лагеря для особо опасных. Но об этих лагерях разговор позже.

Побегов за время моего пребывания на комендантском было два, причем один из них прямо-таки анекдотический: возвращаясь с работы в зону, воришка бежал “на рывок”, т. е. рванул прямо на глазах у конвоира в лес. Вохровец стрелял вслед наугад: за деревьями разве увидишь. Была зима, морозный день. Беглец заблудился, замерз и, проплутав в лесу целый день, к вечеру прибежал на вахту Хлам-Озера и сдался. Его даже не судили – вернули на комендантский, дали десять суток карцера и все.

Второй побег был посерьезнее. Бежали с Юрк-Ручья, штрафной командировки; и не блатные, а контрики – один русский, три норвежца. Русский – вернее, советский поляк – был, говорили, в войну нашим разведчиком, работал против немцев в Норвегии. В награду получил 25 лет за измену Родине. А норвежцы – их у нас было пятеро, один журналист и четверо рыбаков – попали в лагерь по обвинению в шпионаже в пользу англичан.

Троих норвежцев, крепких молодых парней, еще не успевших дойти на лагерной пайке, полячок выбрал себе в спутники неспроста: от Кодина до Норвегии было не

так уж и далеко, а границу ему случилось переходить не раз, дело привычное.

Бригада, где работали все четверо, прокладывала в лесу дорогу. Водил их на работу один конвоир – с каждым днем все дальше от лагпункта. Готовились к побегу они солидно. У посылочников выменяли на хлеб сало и еще кое-что из еды и припрятали в придорожных кустах. А бежали, как и тот воришка, “на рывок”. В назначенный день и час по сигналу поляка бросились врассыпную и скрылись в густом лесу. Конвоир растерялся: в кого стрелять?.. Пострелял все же для порядка, потом построил бригаду и бегом погнал в зону. А путь был неблизкий; пока дошли, пока оповестили кого следует, беглецы получили фору часа в четыре. Понятно, за ними отправилась погоня – стрелки, собаки. (У одной из овчарок, самой заслуженной, был – так рассказывали – золотой зуб: сломала свой при исполнении служебных обязанностей.) И через два дня население Юрк-Ручья оповестили: беглецов настигли, они оказали сопротивление, и всех пришлось перестрелять. В доказательство привезли и повесили на гвоздь у вахты кепку поляка – очень приметную кепочку в шахматную клетку. А на место поимки повезли заключенного врача – составить акт о смерти. Что он и сделал.

Но никто из зеков не поверил; я и до сих пор думаю, что этот побег был одним из немногих удачных. Да, как правило, живыми беглецов не брали, стреляли на месте. Но трупы всегда привозили и оставляли на день перед вахтой в назидание всем остальным. А тут под предлогом трудностей транспортировки привезли одну кепку. Что же касается акта о смерти, то доктору оставалось до освобождения две недели – к чему ему было конфликтовать с начальством? Могли ведь и в последнюю минуту навесить новый срок по 58-й – такое случалось. Попросили подписать туфтовый акт – подписал. И спокойно ушел на свободу. Но, конечно, это только мое предположение, может, все было и не так...

Норвежцев осталось двое – Вилли-Бьорн Гунериуссен, журналист, и совсем молоденький Биргер Фурусет. С их сложными именами лагерным писарям нелегко было справиться, особенно с Биргером. Имя это или фамилия? В



Трупы беглецов на вахте (это, конечно, из фильма).

результате на него завели две “арматурные книжки”, куда вписывалась вся выданная одежда: бушлат, телогрейка, куртка и брюки х/б: одну на Биргера Ф., другую на Фурусета Б. По незнанию русского языка он не мог объяснить, что ему выдают лишний комплект обмундирования – и сменял его на хлеб. В скобках замечу, что необязательно было быть норвежцем, чтобы твою фамилию перепутали местные грамотеи. И татарин Сайфутдинов превратился у нас – навсегда – в Сульфидинова, а Прошутинская – в Парашютинскую ****.

Что до Фурусета, он был рослый парнишка и все время хотел есть. Я ему симпатизировал – вот уж кому выпало в чужом пиру похмелье! И злоупотребляя служебным положением, время от времени исхитрялся выписать ему пайку побольше (для себя не жульничал, честно говорю!)

Русского языка ни один из норвежцев не знал; разговаривали мы с Вилли-Бьорном на английском, а с Биргером – на немецком, в котором я был, мягко говоря, не силен, да и он тоже. Но лагерь, как я уже отмечал, мобилизует способности, и, к своему удивлению, вспоминая обрывки фраз из школьного учебника (“Ich weiss nicht was soll

es bedeuten...”, “Odysseus irrte...”, “Wir bauen Traktoren...”), я ухитрялся кое-как объясниться. Да много ли для этого надо?

Был у нас знаток английского языка, малолетка**** из Мурманска, города, куда в войну из Англии приходили караваны судов, конвои. Так он на воле подрабатывал сводничеством, предлагая морякам:

– Джон, вонт фик-фок рашен Маруська? И матросики прекрасно понимали его.

Лагерь тех лет – настоящее вавилонское столпотворение: имею в виду обилие языков и говоров. Прощаясь на Лубянке с Олави Окконеном, я был уверен, что больше уж ни с кем говорить по-английски не придется. А на комендантском оказались два американских финна – шофер Фрэнк Паунен, очень славный малый, приехавший, как и Олави, строить советские пятилетки, и коминтерновец Уолтер Варвик. И еще была английская еврейка Эстер Самуэль, работавшая в Мурманске переводчицей, за что и поплатилась. Английские и американские капитаны, естественно, предпочитали ее другим переводчицам, знавшим язык не намного лучше предприимчивого малолетки. Приятельские отношения с британцами и янки обошлись



Эстер Самуэль после лагеря

ей в пять лет ИТЛ (гражданство у Эстер было советское).

Не знаю, что стало с финнами – оба не отличались здоровьем. А Эстер вышла из лагеря инвалидом, на костылях, и умерла в Ленинграде – лет десять назад.

Кроме финна Варвика был у нас еще один коминтерновец – врач-китаец по фамилии Гладков. Не очень китайская фамилия, но и Варвик (как у “делателя королей”) тоже не очень финская. У воров клички, у коминтерновцев псевдонимы...

Русские, пожалуй, были на комендантском в меньшинстве. Преобладали украинцы-бандеровцы (почему-то у нас говорили “бандеровцы”, а собирательно – “бандера”), латыши и литовцы. Этих называли “йонасы-пронасы”: Ионас и Пронас – не Пронас! – самые распространенные литовские имена. Их дразнили – довольно безобидно:

Возле мяста Каунас

Йонас, Пронас, Антанас.

Все на камушке сидят

И на бибисы глядят.

(“Място”, кому непонятно, это город, а “бибис” – анатомическая подробность.) Или еще так: “Герей, герей, десять лет лагерей”. “Герей”, а точнее, “гяряй”, по-литовски “хорошо”.

Как-то раз по лагпункту пронесся слух: пришел этап эстонцев, разгружается на станции. Все в шляпах, в фартовых лепенях! Т.е. в хороших костюмах. Этап действительно прибыл, но в нем оказались не одни эстонцы, но и блатные. Именно на них были эстонские лепеня и шляпы: отобрали в пути. На комендантском большую часть барахла вернули эстонцам; впрочем, вскоре и шляпы, и костюмы перешли к лагерным придуркам – нарядчикам, нормировщику, прорабу – в обмен на обещание легкой работы.

А я этот этап запомнил потому, что в зону их впустили поздно вечером, когда я уже выписал продукты на завтра. Надо было

составлять дополнительную ведомость – а я только что получил письмо от мамы, вскрыл и успел прочесть: умер отец. Хотелось уйти куда-нибудь, погрузить в одиночку, но не оставишь же людей голодными!.. До сих пор стоят перед глазами эстонские фамилии, которые я вписывал в ведомость: Хаак, Ратх, Линдпере, Тоомсалу, Мандре...

Новоприбывшие оказались честными и несмышлеными. Их собрали в одну бригаду – и не обманули, послали на сравнительно легкую работу, на лесобиржу. Но бригадир-эстонец весь объем выполненной работы делил по справедливости – поровну на всех. И вся бригада изо дня в день получала урезанную пайку, так называемые “минус сто”, т. е. 550 граммов вместо положенной гарантии – потому что не хватало двух-трех процентов до выполнения нормы.

Каждый божий день ходок от бригады, пожилой эстонец, помнивший русский язык еще с царского времени, возникал на пороге конторы, снимал шапку и вежливо здоровался:

– Драстутте... Добро поссаловатт. Касытте, сто мы будем покуссат сафтра?

И я ничем не мог его обрадовать. Завтра они опять “будут покушать” минус сто. Им просто не приходило в голову, что можно посадить двух работяг на 60%, а освободившиеся проценты разделить между остальными – так, чтоб у всех, кроме тех двоих, вышло выполнение на 103-104 %.

Все бригадиры владели этой лагерной арифметикой. Наказывали работяг по очереди и за счет наказанных кормили остальных.

Кончилось тем, что эстонцам дали бригадира из русских – ссученного вора по фамилии Курилов. И я стал начислять им по 650, а то и по 750 граммов хлеба вместо пятисот пятидесяти. Для оголодавшего человека разница немаленькая.

Но тут бригаду подстерегла новая беда. Курилов был заядлый картежник – то, что воры называют “злой игрок”. Три дня подряд он проигрывал весь хлеб своей бригады. Два дня эстонцы терпели, а на третий пожаловались лагерному куму – оперуполномоченному.

Меня вызвали в “хитрый домик” как свидетеля и переводчика.

– Курилло – лейба нетт, – жалобно повторял голодный эстонец. А Курилов,

разыгрывая праведное негодование, божился:

– Гражданин начальник! Не брал я ихних паек, гад человек буду – не брал! – И поворачивался к работяге. – Я ж тебе отдал пайку! Ты что, падло, не помнишь?!

Эстонец кивал:

– Да... Да. – И твердил свое: – Курилло – лейба нетт.

На хлеб играли многие. В лазарете самым доходным из игроков доктор Розенрайх собственноручно крошил пайку в миску с супом – чтоб не проиграли. Впрочем, играли и на суп, со сменкой: проигравший отдавал победителю гущу, а тот ему шлюмку... Но чтобы проиграть хлеб всей своей бригады – это уже слишком! Пришлось еще раз менять бригадира.

Я эстонцам очень симпатизировал. Да и все знали: эстонец не украдет и не обманет, при эстонце можно что хочешь говорить – стукачей среди них почти не было. Называли их куратами; самое страшное ругательство, какое можно было услышать от эстонца, это “курат” – черт.

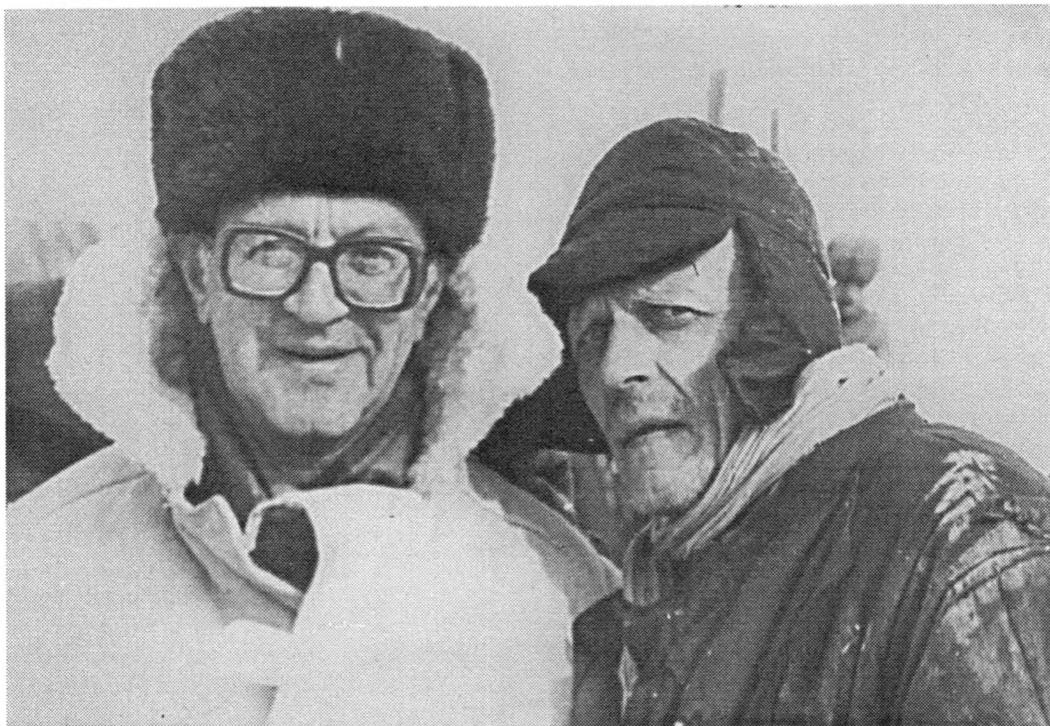
Другие национальности тоже имели лагерные названия. Я уже упоминал, что цыган по фене “мора”; татарин звался почему-то “юрок”, кавказцы были “звери”. Евреев блатные называли жидами, но у них, как у поляков, это не звучало оскорбительно, евреи-воры пользовались среди своих уважением.

Национальной розни – во всяком случае, на нашем комендантском – не было. Ну, дразнили блатные среднеазиатов, но вполне добродушно:

– Моя твоя хуй сосай, твоя моя рот ебай!
– Так, якобы, узбек “тянет” (ругает, отчитывает) русского.

Ворья на нашем лагпункте было не очень много. Самых заметных спроваживали на Юрк-Ручей.

Откуда-то с этапом пришел и Васька Бондин, тот, с которым я дрался на Красной Пресне. Увидел меня в конторе, забеспокоился: вдруг захочу “устроить” ему? (Так зеки и говорили: “Ну, падло, я тебе устрою!” – не уточняя, какую именно неприятность.) Я, конечно, мог устроить, я ведь был уже авторитетный придурок, но мне и в голову не пришло: я считал, мы с Васькой квиты, и вообще – я человек злопамятный, но не мстительный. А он и без моей помощи



Много лет спустя на съемках фильма “Затерянный в Сибири”.

Там я был добровольным помощником реквизиторов, гримеров и костюмеров.

проследовал на штрафняк.

Кое с кем из блатных мне было интересно разговаривать. Часто заходил к нам в контору Серега Силаев, чахоточный щипач. Мне нравился его совершенно неожиданный, даже компрометирующий настоящего вора, интерес к литературе. Я давал Сереге читать, что у меня было, и он прекрасно отличал хорошую книгу от плохой. Но ходил он в контору не только за книжками.

Ошиваясь около барьера – вроде бы (“с понтом”) пришел узнать про завтрашнюю пайку, он “насовывал”, т. е. шарил по чужим карманам. Почти каждый раз его ловили за руку и били.

Вообще-то серьезные вору в лагере не воруют, фраера им и так принесут, “за боюсь”. Ворует мелкота, торбохваты – Серега был как раз из таких. Метелили его здорово, но это и в сравнение не шло с тем, как разделялся с провинившимися комендант Иоффе, который сменил на боевом посту грузина Надараю. Иоффе был высокий красавец еврей, балтийский моряк – капитан второго ранга; в лагерь загремел за длинный язык. С трубкой в зубах он

разгуливал по зоне во флотском кителе и хорошо начищенных ботинках. Я видел, как он, не вынимая из кармана рук, а изо рта трубки, бил своей длинной худой ногой проворовавшегося полуцвета – не Серегу, другого. Иоффе выбрасывал ногу как-то вбок; наверно, так бьет своего врага страус. (Не ручаюсь – как дерутся страусы, не видел.) Воришка пытался встать, но удар комендантской ноги снова валил его на землю. Я не вмешивался: знал, что бесполезно. Бог наказал капитана: через год он умер от рака в лагерьном лазарете.

Вольное начальство во всех лагерях поддерживало порядок с помощью самих заключенных – комендантов, нарядчиков, заведующих ШИЗО, завбуров (БУР – барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма). Чаще всего это были ссученные вору или бытовики; для контрика Иоффе сделали исключение – он сидел по легкому десятому пункту. Была у нас и самоохрانا из расконвоированных бытовиков-малосрочников. Та, про которую пелось в старой песне:

Далеко, на Севере дальнем,

Там есть лагеря ГПУ
И там много историй печальных –
О них рассказать я могу.
Там, братцы, конвой заключенный,
Там сын охраняет отца,
И он тоже свободы лишенный,
Но должен стрелять в беглеца.****

Внутри нашей зоны была еще одна, женская. Хотя лагпункт и был смешанный, зечек полагалось изолировать от мужчин. Изоляция была довольно условная: все бригады кормились в одной столовой, сдавали рабочие сведения одному нормировщику, да и зону женскую огораживал заборчик, через который пролезть не составляло труда. Правда, на вахте сидел сторож з/к, в чью задачу входило не впускать мужиков. Но за полпайки или за одну закрутку махорки он охотно изменял служебному долгу. Я, по неопытности, поперся “без пропуска”, а когда он загородил дорогу да еще и обматерил меня, стукнул его в грудь. Стукнул несильно, но он упал как подстреленный. И я, к ужасу своему, увидел, что из одной штанины торчит деревянная нога. Помог встать, стал извиняться – что его очень удивило. Чего извиняться? Нашел слабее себя – бей! Сам он сидел за хулиганство... Сказать не могу, как мне было стыдно.

С этого дня инвалид приветливо здоровался со мной и пропускал в женскую зону без звука. (Зато однажды обознался и не пустил домой Эстер Самуэль. И я могу его понять: тощая, плоскогрудая, в ватных стеганых штанах, она больше походила на доходягу мужского пола, чем на женщину.)

Ходил я в ихнюю зону с самыми невинными намерениями. Еще когда работал на общих, стал учить английскому языку старосту женского барака, а она за это подкармливала меня. Это была Броня Моисеевна Шмидт, польская комсомолка. Году в тридцать пятом она по заданию компартии нелегально перешла советскую границу и вскоре очутилась в лагере. Подвела фамилия: был какой-то враг народа Шмидт, которого чекисты записали ей в родственники.

Срок у Брони кончился в начале войны, но ее оставили в лагере “до особого распоряжения”. Таких пересидчиков – их еще

называли указниками – у нас была куча. Многие из них так привыкли к лагерю, что о свободе думали со страхом. Когда старичка, заведовавшего больницы каптеркой, вызвали на освобождение, он упросил врачей положить его в лазарет. Но держать вольного в лагере нельзя, и пришел повторный приказ: вывести из зоны и, если надо, положить в больницу для в/н. Тогда он спрятался на чердаке. Его искали целый день, к вечеру нашли и поволокли к вахте; а он упирался и плакал вот такими слезами. Это было на моих глазах. Маразм? Да нет, не совсем. На комендантском он жил в отдельной каморке, в тепле и сытости – даже девочку имел, прикармливал ее. А что его ждало на воле?..

Броню Шмидт тоже, в конце концов, освободили – по-моему, уже после смерти Сталина.

Кургузенькая, с выпученными базедовыми глазами и сильным еврейским акцентом, она пользовалась всеобщей любовью и уважением. Была добра, справедлива и рассудительна; без труда улаживала все склоки, возникавшие во вверенном ей бараке. А публика там жила всякая: воровки, бытовички и – как же без нее? – пятьдесят восьмая. В бабском бараке я услышал такую веселую частушку:

Подружка моя,

Моя дорогая!

У тебя и у меня

Пятьдесят восьмая...

По другой статье, 155-й, получила свои пять лет переводчица из Мурманска с заграничным именем Хильда. При ближайшем знакомстве выяснилось, что по-настоящему она Рахиль, а проституция – это роман с английским моряком. Статьи своей она стеснялась не меньше, чем имени, – говорила всем, что сидит по 58-й.

Из того же Мурманска были две подружки, Катя Касаткина и Маша Пиликина. Попали они вместе, по одному делу, о котором стоит рассказать подробнее.

На воле обе они тоже завели романы с морячками – но с американскими. Те, видимо, всерьез увлеклись красивыми русскими девчонками и придумали увезти их из голодного Мурманска в Америку. Девушки охотно согласились, пробралась на корабль, и матросики спрятали их в трюме, загородив ящиками и бочками. Строго-

настрога наказали: сидеть и не высовываться!.. Корабль отошел от причала, шли часы, но никто из Катиных и Машиных покровителей не появлялся. Девочкам захотелось есть, а главное, писать. Они решили на свой страх выбраться из убежища. Раздвинули ящики и отправились на поиски своих ребят – но напоролась на офицера, который совсем не обрадовался: ведь они все еще были в советских территориальных водах. Сразу же отправлена была радиограмма: “Всем, кого это касается! На борту две русские девушки!”

Кораблю еще предстояло – о чем Катя с Машей не знали – стать на короткую стоянку в порту Полярное, заправиться углем. “Все, кого это касается”, отреагировали оперативно. Как только судно стало на якорь, к борту пришвартовался катер, энкаведешник помахал голубой фуражкой и весело крикнул:

– Приехали, девчата! Американский порт Сан-Франциско!

Дальше, рассказывала Машка, события развивались так. Еще на берегу они с Катей договорились: если что, обе бросаются за борт и топятяся. Но Машка забоялась и не прыгнула. А Катя прыгнула. Ее выловили, высушили и вместе с подружкой отправили в тюрьму.

Они славные были девчонки, не жаловались на судьбу: ну, не получилось, так не плакать же? Обе, надеюсь, вышли в свое время на волю – срока у них были небольшие: Кате за незаконный переход границы дали три года, а Машке, которая не прыгала за борт, пять – наболтала себе довесок по 58-10 уже в камере.

Любопытно, что три года за незаконный переход границы причитается и по новому УК. Знакомый парень уже в наше время получил те же три года за то, что перевел отказника-еврея через финскую границу – перевел, а сам вернулся в Россию. Кате с Машкой, я считаю, повезло: могли бы судить за измену Родине...

Женщинам в лагере приходилось туго.

- Тем из них, кто спал с нарядчиком или еще с каким-нибудь влиятельным придурком, жилось, конечно, полегче. И не всегда это были самые хорошенькие. Как мне с гордостью объяснила хорошо устроившаяся бладнячка, “симпатия ебет красоту”. (Прямо, как героиня Раневской: “Я некрасива, но чертовски мила”).

Но были и другие способы избежать общих работ – например, самодеятельность. На комендантском я познакомился с Софой Каминской, ленинградской актрисой-кукольницей. Узнав, что я учился на сценарном факультете, она попросила меня дописать текст опереточной арии: она ее собиралась петь на концерте, а половину слов забыла. Эту просьбу я исполнил – что-то на уровне “Ах, боже, боже, а муж на что же?” Потом она уговорила меня сыграть с ней в комедии “Весна в Москве” – кажется, так.

В лагерном формуляре, в графе “профессия”, у меня значилось: киносценарист. Что такое “сценарист” мало кто знал, но можно было предположить, что я имею отношение к сценическому искусству. Все участники самодеятельности ревниво ожидали моего дебюта. На премьере я опозорился; говорил так тихо, что из зала кричали: “Громче! Громче!” Но этим я завоевал расположение остальных артистов – им не надо было бояться конкуренции. А раньше относились настороженно, с опаской: москвич, учился в специальном институте...

Кроме Софы в спектакле принимал участие только один профессионал – Сашка Клоков, игравший до ареста в театре Северного флота, которым в годы войны руководил Валентин Плучек. Остальные были любители – но посильнее меня.

Потом уже, на другом лагпункте, я освоился и играл не без успеха молодых красавцев лейтенантов. Красавцем я не был никогда, но молод был – а кроме того, успеху помогал отцовский китель: его после смерти отца прислала мама. Я надевал его не только на сцене; носил всегда, и он производил впечатление. Однажды пожилой надзиратель робко обратился ко мне:

– Гражданин начальник, как бы мне рисом получить?..

Дело в том, что лагерный продстол выписывал продукты “сухим пайком” не только зекам-бесконвойникам, но и вохровцам. И тот надзиратель хотел бы получить свою норму не “конским рисом”, т. е. овсянкой, а настоящим. Такое одолжение я ему сделал, он был не вредный.

Вохра, охранявшая нас, набиралась из местных архангельских мужиков. Про себя они говорили – полувсерьез: “Мы не русские,

мы трескоеды". И охотно выменивали у бесконвойников треску, отдавая мясо из своего пайка. Тамошнее присловье – “тресоцки не поешь, не поработаешь” – известно всем. Чем им так хороша была соленая лежалая “тресоцка” – понятия не имею. Но вернусь к пище духовной.

В программу лагерных концертов обязательно входили танцевальные номера – чечетка или цыганочка, обычно в исполнении какого-нибудь “полуцвета”. (Серьезным вора́м по их закону не полагалось принимать участие в официальных забавах.) Певцы исполняли и романсы, и советские песни, и народные. А что до драматического репертуара, то ставились, как правило, одноактные пьески из сборников для самодеятельности. В соответствии с духом времени там действовали шпионы, диверсанты и разоблачающие их чекисты. Зеки играли и тех, и других с одинаковым рвением: к реальной жизни эти персонажи отношения не имели, были чисто условными фигурами, как все равно пираты или индейцы.

На мужских лагпунктах женские роли исполнялись – как в шекспировские времена – мужчинами. С улыбкой вспоминаю Борю Огорокова, рослого парня с длинными, как у девушки, ресницами и грубыми шахтерскими руками. Он очень хорош был в ролях обольстительных шпионок. Но с Борей мы познакомились много позже, на Инте. А в Кодине женщин играли женщины.

Имелась у нас и акробатическая пара. “За низа” работал только что прибывший крепыш Ян Эрлих, а “за верха” – профессиональный цирковой акробат Володя. Его отыскивали в ОП – оздоровительном пункте, и был он таким доходягой, что с трудом держал стойку на исхудалых, почти без мышц, руках. Но держал все-таки; а со временем слегка отъелся и работал прекрасно.

Особым успехом пользовался у зрителей клоун Еремеев. Это был мрачный неразговорчивый мужчина, что вполне соответствует литературному клише: клоун – меланхолик, трагик – весельчак и мечтает сыграть комическую роль... Откуда-то – видимо, из армейской самодеятельности – Еремеев вынес запас дурацких балаганных реприз и, размалевав лицо белилами и румянами, всю потешал нетребовательную

публику. Но вскоре его сценической карьере пришел конец.

Дело в том, что основным местом работы у Еремеева была хлеборезка. Хлеборез – это очень завидная должность: хлеборез всегда сыт – и не хлебом единым, хлеб можно менять на продукты из посылок. Что Еремеев и делал. На него настучал его же помощник; завели дело – и меня как свидетеля вызвали на допрос. Хлеборезу предстояла очная ставка с моим начальником, бухгалтером продстола Федей Мануйловым. Главный вопрос почему-то был такой: пили Мануйлов с Еремеевым водку в хлеборезке? Я, конечно, знал, что пили, знал и про более серьезные их прегрешения; но делал честное лицо и уверял следователя, что не пили и вообще никаких предосудительных поступков не совершали.

Вторым свидетелем был помощник хлебореза – тот, что настучал.

– Ты вспомни, – уговаривал он меня. – Ты ж сам приходил с Мануйловым.

– Приходил. А водку никто не пил, пили какао – я угостил, из посылки... Что ты можешь знать? Ты шестерка, тебя к столу не приглашали.

Следователь прекрасно понимал, что я нагло вру; ну и что? В протокол ему пришлось записать: водку не пили, ни о каких махинациях не договаривались.

Эх, поздновато пришла зековская мудрость: ни в чем не признаваться, все начисто отрицать. Уговоры следователя, угрозы, мат – все это в протокол не попадает. В деле остается только: не знаю, не видел, не слышал. Нам бы понять это раньше, на Лубянке. Конечно, в конце концов сломали бы нас, правильно говорил мой ст. лейтенант Макарка: “И не таких ломали!”***** Но не сразу же – и это помогло бы сохранить к концу следствия хоть каплю самоуважения. Следователи во все времена уверяют: “чистосердечное признание облегчает совесть”. – “И утяжеляет наказание”, добавляют опытные арестанты...

Еремеева все же судили, добавили ему два года. Срок пустяковый, да и дело было несерьезное. Не то что прогремевшая на весь Каргопольлаг афера, когда продстол и кухня выписали по всей форме ведомость на 31 апреля, получили по ней продукты и продали за зону. И ни одна из ревизий не

вспомнила, что в апреле нет тридцать первого числа – пока кто-то не настучал из зависти. Но это было давно, до нас с Федей.

По еремеевскому делу Мануйлов отделался пятью сутками карцера. Эти пять суток он провел не без пользы. Каждую ночь вертухай, не желая портить отношения с продстолом, впускал к нему в камеру медсестру Лиду, Федькину возлюбленную. А роман их начался не без моей помощи, чем я до сих пор горжусь.

На фронте Федя был лейтенантом; ***** его контузило, и он жаловался на потерю потенции. Ладный, в суконной комсоставской гимнастерке и хромовых сапогах, да еще на такой хлебной должности – ясное дело, к нему подкатывались многие девчонки. Но Федька только разводил руками, отшучивался:

– Девочки, бесполезняк. У меня давно на полшестого смотрит. (Стрелки часов, показывающих полшестого, смотрят, если помните, безнадежно вниз.) Девушки верили, отступались. Все, кроме медсестрички Лиды: она влюбилась в Федю вполне бескорыстно, еды ей и в санчасти хватало. Но мой шеф панически боялся опозориться. Он уже домой успел написать, чтоб жена не ждала его, выходила за другого: сам он теперь для семейной жизни непригоден.

Не знаю, почему я, с моим минимальным опытом, взял на себя роль сексопатолога (мы тогда и слов-то таких не слышали) и психотерапевта. Наверно, потому что, как сказал однажды Саша Галич, “евреи любят давать советы”. И я уговорил Федю попробовать: Лидочка хорошая, добрая, уже и не такая молоденькая – знает, что к чему. (Лиде было лет 28, но мне-то всего 23.) И потом – она медсестра, она поможет... Короче говоря, Федя послушался, решил попробовать. И ведь пошло как по маслу!..

После карцера Мануйлов вернулся на свой пост, а хлеборезом сделали бухгалтера Тимофея Гостищева, донского казака. Этот очень дорожил репутацией неподкупного честяги. Ходил исключительно в лагерной одежке, перепоясывался веревочкой и на всякий случай изображал из себя совсем темного мужичка-простачка. Как-то раз я застал его в бараке с книгой в руках и удивился:

– Тимофей Павлович, читаете?

Он испуганно вздрогнул и бросил книжку на нары:

– Сызмальства не приучен.

А был неглуп, наблюдателен – и в самом деле честен.

Примечания автора.

* Серегин не был блатным. И на воле, и в лагере он работал бухгалтером – невысокий спокойный человек с тихим голосом. Но вот глаза!.. После знакомства с Иваном я понял, что определение “глаза убийцы” это не выдумка романистов. Он явно был психопатом: при малейшем противоречии впадал в бешенство и кидался на обидчика, как бультерьер. Серегин имел уже две или три судимости – каждый раз за попытку убийства, удивлявшую судей своей немотивированностью.

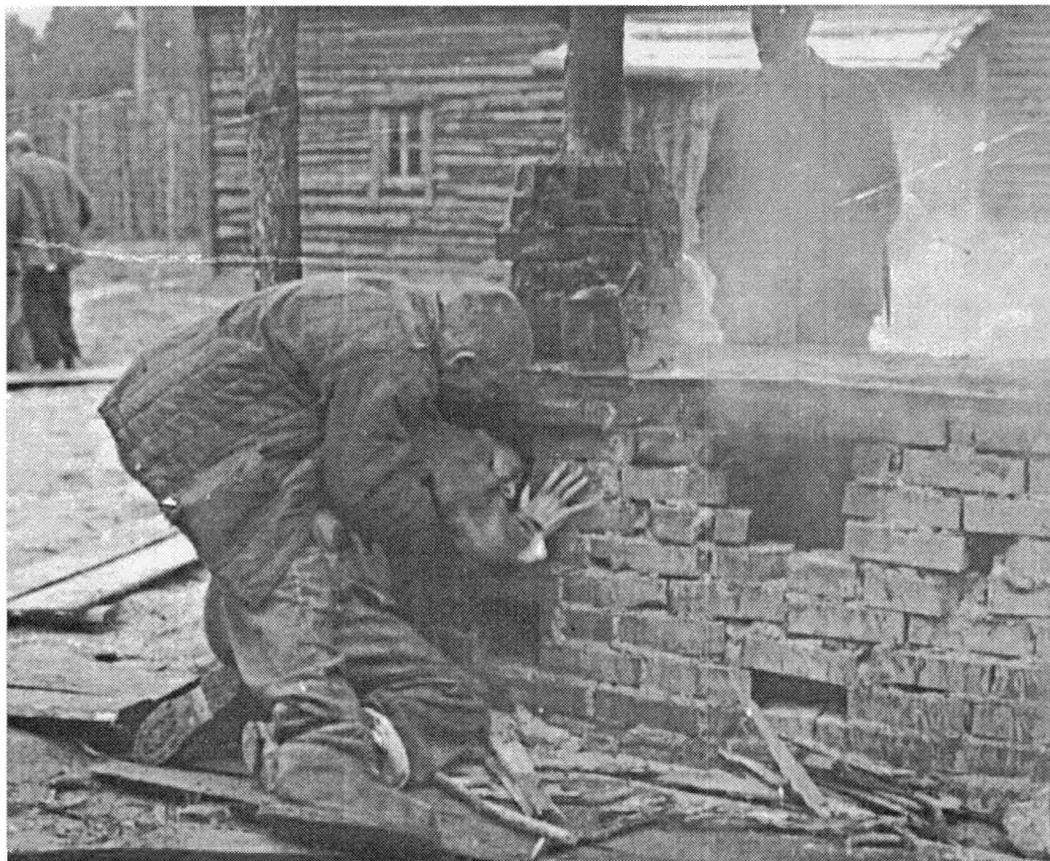
** ГУЛАГ – Главное Управление ЛагереЙ. Узнав от Солженицына эту аббревиатуру, сегодняшние авторы – особенно западные – употребляют ее неправильно; наверно, по ассоциации с немецким “шталагом”. Отправляли не в Гулаг, а в Каргопольлаг, Ивдельлаг, Сиблаг, Севдорлаг и т. д. Исправительно-трудовые лагеря – ИТЛ. Отдельный лагерный пункт назывался ОЛП. Так и говорилось: на седьмом ОЛПе, на нашем лагпункте, в лагере... А ГУЛАГ упоминался только в деловых бумагах.

*** Ствол сваленного дерева называется “хлыстом”. Там же, в лесу его распиливают на шестиметровые бревна – “баланы”. По-фински балан – кусок: наверно, у финнов-лесорубов и переняли название.

**** Когда я рассказал про Сульфидинова и Парашютинскую Мише Левину, эрудиту, он тут же вспомнил, что при Иване Грозном состоял дьяк по фамилии Велосипедов, хотя велосипедов тогда не было (Велосипедов в переводе с латинского значит Быстроногов).

***** Малолетка – паренек или девушка моложе 18 лет. Термин имел и собирательное значение: весь несовершеннолетний контингент называли “малолетка”. Говорили: “пришла этапом малолетка; малолетка совсем обнаглела”. Они официально пользовались некоторыми послаблениями – на особо тяжелые работы их не посылали, рабочий день был короче.

В большинстве это были уголовники, и



Воспитательный момент.

Эпизод с Юликом и малолеткой, дословно воспроизведен в “Затерянном в Сибири”.

их опасались куда больше, чем взрослых воров. У тех были хоть какие-то сдерживающие центры, а малолетка из кожи вон лезла, чтоб заслужить одобрение паханов. Юлик Дунский однажды попал учетчиком в бригаду малолеток, и они ему сильно портили жизнь – крикливые, несносные, как стая злобных обезьян. Когда стало совсем уже невтерпех, Юлик схватил одного, по кличке Ведьма, за шею и сунул головой в печь (дело происходило в вицепарке, где готовят вицы – прутья, которыми вяжут плоты на сплаве).

Малолетка завизжал, завопил:

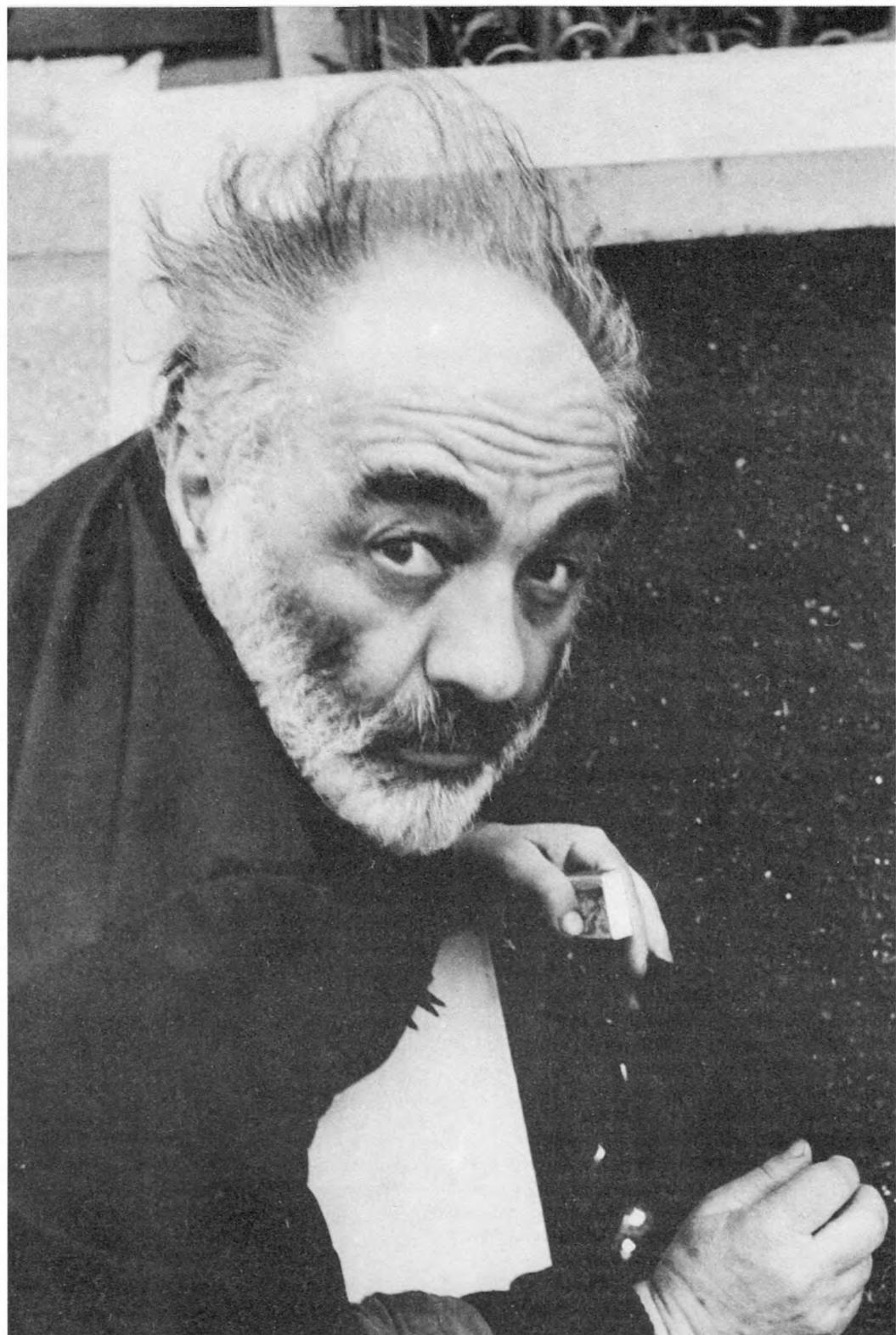
– Ой, глаза!.. Глаза лопнули!

Юлик выдернул его из топки, и выяснилось, что глаза у Ведьмы не лопнули, но ресницы и брови обгорели. После этого случая к Юлику никто не лез.

***** Ломали и не таких... Мой школьный товарищ, сын генерала авиации А. А. Левина,

расстрелянного в июне 41 года, познакомился с делом отца – пробился-таки на Лубянку. Он сделал выписки из протоколов. Я читал, и плакать хотелось: какие люди! Боевые летчики, Герои, Дважды Герои Рычагов, Лактионов, Смушкевич, а с ними и сам Левин признавались, что работали на немецкую разведку, что завербовали друг друга, что занимались вредительством, что... Господи!.. Шурик сделал выписку и из показаний Берии: “Его сильно побили” (это, кажется, про Лактионова). “Сильно...” Как же их лупцевали, что с ними вытворяли, если сломались все! Себя не так жалко, как их.

***** Замечено, что лейтенанты – ну, может быть, и капитаны – в лагере приживались, пробивались на хорошие должности. А подполковники и полковники – нет. Неужели, чем дольше в армии, тем меньше у офицера инициативы и энергии?



Посвящается моей матери
Г.Д.Катанян

В. КАТАНЯН СЕРЕЖА

или Страсти по Параджанову

Главы из книги*

“Нужно ли удивлять?
В искусстве – безусловно!”

Вот что я прочитал об одном человеке (имя его я временно скрою под инициалом N), и меня поразило, насколько прочитанное совпадает с тем, что можно написать о Параджанове:

“Тому, кто хорошо знал N, трудно судить о нем беспристрастно. Хорошо знать N – значит любить его. Обаяние и блеск его красноречия не укладывались в обычные рамки, а страдания и тревоги вызывали участие друзей. Говорят, блеск N был искусственным, а страстные рассказы превращались в затверженные “номера”, которые он менял, как пластинки. Возможно. Никому не дано каждое мгновение становиться новым, это значило бы перестать быть самим собой. Но этот “номер” восхищал”.

Если вместо “N” вписать “Сергей Параджанов”, то получится его портрет. Сережа не знал этого человека и до последнего времени даже не слышал его имени.

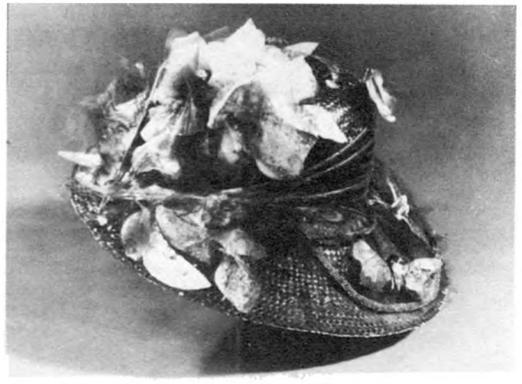
“Поразительное разнообразие дарования N долго мешало современникам оценить его произведения. Невероятная активность этого человека, который умудрялся быть одновременно выдающимся поэтом, драматургом, художником, удивляла и обескураживала окружающих. Им трудно было понять, что подобная разбросанность может быть формой проявления гения. Его метания шокировали людей, не обладающих столь универсальным умом. “Я живу, укрывшись плащом легенд”, – говорил он, сам же и помогая соткать этот плащ, ибо считал, что под его покровом тайная тайных личности становится невидимой. О нем говорили, что – подобно Оскару Уайльду – он был гениален в жизни и талантлив в творчестве. Нет, он был гениален в творениях, а в жизнь вложил свой большой талант, сочетавшийся с неловкостью почти ребяческой, ибо всегда оставался ребенком, изумленным и нежным.

Нужно ли удивлять? В искусстве – безусловно. Шоковое лечение открывает глаза и души. Но шок по своей природе краткосрочен, и ничто так быстро не пройдет, как новизна. Искусство авангарда очень скоро становится штампом, и умы опять погружаются в спячку. Вот почему, если хочешь разбудить их, нужно всякий раз атаковать в неожиданном направлении и непрерывно обновляться. Так N угадал инстинктом эту стратегию сюрприза”.

И, наконец:

“Он принадлежал к той породе людей, которые на всю жизнь отмечены печатью детства. Волшебный мир, в котором они живут, хранит их от ожесточения, наступающего с годами. Они больше других страдают от жестокости мира взрослых и до старости мечтают о

*Начало публикации см. в № 6 – 1993 г.



Декоративные шляпы. Из алтаря шляп “Памяти несыгранных ролей Наты Вачнадзе”

комнате, согретой материнским теплом, где они могли бы уютно свернуться клубочком, собрав вокруг себя свои игрушки и своих любимых”.

(Вот почему, я думаю, Сережа никак не мог расстаться с отчей берлогой, несмотря на все соблазны комфорта в новостройке.)

Итак, для тех, кто не догадался: все вышеприведенное написал Андре Моруа о Жане Кокто.

А если уж речь зашла о Кокто, то не могу не привести отрывок из его речи на открытии выставки Пикассо в Мадриде:

“... Пабло – гениальный старьевщик. Как только он выходит из дома, он принимается подбирать все подряд и приносит к себе в мастерскую, где любая вещь начинает служить ему, возведенная в новый, высокий ранг”.

Разве это не про Параджанова? Он же тоже, как только выходил из дома, заглядывал в кучи мусора и извлекал из них нечто, мимо чего мы с вами старались бы поскорее проشمгнуть. Но “его перстов волшебные касанья” вскоре трансформируют это нечто в

Жан Кокто тоже не чурался шляп.



произведение искусства.

В начале восьмидесятых годов он увлекся шляпами. Самыми настоящими – огромными, цветастыми, которые пришли ему в голову из начала века. Впервые я увидел их на его выставке, у стенда “В память несыгранных ролей Наты Вачнадзе” – настоящее буйство цветов, кружев и птиц вокруг портрета кинозвезды с жемчужной слезой, которую Сережа исторг из ее глаз при помощи старой серьги. Это были шляпы, сочиненные непонятно для каких ролей, но ясно, что для несыгранных.

После выставки шляпы переехали в его берлогу и образовали живописную клумбу рядом с огромной свалкой на кухонном столе.

В своем короткометражном фильме о Пиросмани он снял эти шляпы и так и этак – не менее любовно и изысканно, чем картины художника. “Пиросмани мешает мне, а я ему”, – сокрушался Сережа. В данном случае это было верно.

Он брал соломенную шляпу с полями (иной раз притащив со свалки), обтягивал тюлем, кружевами, еще чем-то неведомым или просто красил тушью... Затем украшал ее цветами, перьями, птицами, блестками, обломками веера или обрывками перчаток, бахромой от занавески, лоскутком рыболовной сети, осколками елочных украшений и пуговицами... Все галантерейное барахло, которое валялось по углам комодов у старых кекелок, начинало сверкать и поражать в его волшебных пальцах, коротких и толстых.

“Узнай у Аллы Демидовой, какая ей нужна шляпа – вернее, какого цвета у нее платье в “Вишневом саде”, – я ей пришлю для спектакля”. Алла Сергеевна ответила, что платье белое и она полностью доверяет его вкусу.

Через несколько дней, поздно ночью, в проливной дождь звонит из отеля “Украина” молодой дьякон Георгий. Он привез шляпы, просит их забрать и принести ему переодеться во что-нибудь сухое: он только что прилетел из Тбилиси, попал под ливень и промок насквозь.

Елки-палки! Второй час, мне завтра вставать в шесть, лететь в Будапешт, но я хватаю какую-то одежду, зонт и иду за шляпами, благо отель напротив. В вестибюле меня встречает Георгий, одетый, как модный рокер: ничего “святого”. И ничего сухого. В руках он держит нечто, более подходящее ассистенту Кио, чем священнослужителю.

Это две настоящие шляпные картонки, они перевиты лентами, кружевами, тесьмой, украшены цветами и еще чем-то неведомым. На одной крышке из белых перьев сделана чайка, бока картонок обклеены старыми открытками, фотографиями Плисецкой в ролях и Крупской, слушающей граммофон. Дно коробки украшено изображением рыбы, выложенной – черт-те что! – из дамских полукруглых гребенок, и называется “Воспоминание о черной икре”. Все, вместе взятое, – произведение искусства, помноженное на неумную выдумку.

Алла Демидова:

“К посылке со шляпами было приложено письмо-коллаж на трех страницах. Когда его разворачиваешь, получается длинная лента, украшенная фотографиями. На одной из них Параджанов у себя в комнате держит плакат, на котором от руки выведено: “Фирма “Услуга”, а на обороте фотографий написано:

“Алла Сергеевна! 1. Извините – на большее не способен! (невыездной).

2. Шляпа “Сирень” (условно). Шарф. Середина шарфа обматывает все лицо и делает скульптуру!!! Необходимо очертить рот, нос! Сверху шляпы заколка! Шляпа “Аста Нильсен”. То же самое, черный шарф, потом шляпа, заколка... Желаю успеха! Он неизбежен”.

Для Раневской была черная шляпа, украшенная черными же и темно-зелеными с серебром розами. Тулья из черных перьев. Потом, когда Параджанов жаловался на исколотые от шитья пальцы, он сказал: “Обратите внимание, Алла, это тулья от шляпы моей мамы”. На что Катанян невозмутимо заметил: “Не ври, никакой не мамы. Где-нибудь подобрал на помойке”. Сережа не спорил.

Коробка из-под сиреневой шляпы была вся раскрашена, обклеена кружевами, и Параджанов щедро украсил ее бабочками. Дело в том, что однажды я рассказала ему историю, как я была Феей-бабочкой для дочки моего приятеля, художника Бориса Биргера. Когда девочка впервые пришла ко мне домой, то я, чтобы поразить ее детское воображение, украсила всю свою квартиру бабочками из блестящих лоскутков и фольги. Большая бабочка



Инна Генс и Алла Демидова в шляпах "от Параджанова"

висела также и на входной двери. Параджанов не забыл этой истории и прислал мне привет бабочками на шляпной коробке.

К обеим шляпам были приложены шарфы. К черной – длинный кружевной, к сиреневой – сиреневый из шифона, расписанный от руки сине-белыми лилиями. Когда я позже спросила Параджанова: "А зачем шарфы?", – он сразу стал показывать: "Ну вот, смотрите, вы надеваете черную шляпу. Хорошо! Но это просто Демидова надела черную шляпу, которую ей сделал Параджанов. А ведь когда уезжает Раневская, она уезжает, продав свое имя. Поэтому я хочу, чтобы вы выбелили лицо, нарисовали на нем ярко-красный рот и до глаз закрыли лицо кружевным черным шарфом, завязав его так, чтобы концы его развивались, точно крылья. Лицо скрыто как бы полумаской, через черное кружево горько усмехается алый влажный рот, кожа бледная-бледная, а сверху – шляпа. Вот тогда это имеет смысл. Точно так же и сиреневый: когда Раневская приезжает из Парижа, этот шарф – легкий, яркий, – как бы летит за ней как воспоминание о парижской жизни".

Когда я показала шляпы и шарфы Эфросу, он мне не разрешил в них играть.

Он сказал, что это кич. Я не согласна, что это кич. Кич – всегда несоответствие. Хотя, если вдуматься, шляпы Параджанова действительно не соответствовали спектаклю Эфроса, очень легкому и прозрачному. Эти шляпы утяжелили бы рисунок спектакля. Но сами по себе они – произведения искусства.

Сегодня они висят у меня на стене рядом с любимыми картинами".

Я не ошибусь, если скажу, что ни одного дня своей жизни он не провел без творчества. Идет, к примеру, по улице, остановится возле витрины, все осмотрит, зайдет в магазин и порекомендует все переставить с ног на голову. Едет в троллейбусе – и обязательно расскажет окружающим препотешную историю. Сядет за стол в гостях, тут же встанет, все пересервирует, а еду подправит специями и травами (спасибо, что мебель не переставит). Если посмотрит спектакль, то пойдет за кулисы и засыплет актеров, художника и режиссера предложениями. Узнав, что нас с женой пригласили выступить в тбилисском Доме кино (это было зимой 1985 года), он страшно загорелся и возбудился. Как в результате прошел этот вечер, я описал в письме Эльдару Рязанову и привожу его лишь потому, что оно имеет прямое отношение к Сереже.

"Дорогой Эльдар!

Мы улетели, не позвонив, ибо сначала все было неизвестно с билетами, а потом все сломя голову. Мы уже четвертый день в Тбилиси, вчера прошло наше выступление в Доме кино и было так: поскольку всю организацию поручили Сереже, то мы, естественно, никак не могли его найти и узнать, что же нам делать? Наконец, вечером пришел его любимый ассистент Шурик Атанесян и сказал, что Сережа очень занят: он шьет шляпу для собаки, которая будет участвовать в нашем вечере... Он весь день провел на студии, где выbral

из шестидесяти приведенных собак одного пуделя... Я похолодел. Пудель в шляпе? Что он надумал?

В полном недоумении отправились мы утром на репетицию, как велел Сережа. Там был полный раскардаш. В первом ряду сидел и дрожал от недоумения и холода коричневый пуделек, завернутый в чью-то черно-бурую лису. По сцене неторопливо ходили высокие черноглазые красавицы в вечерних платьях и Сережиных шляпах, обходя стороной стол для президиума, на котором стояли бутылки с боржоми без открывалок. Принесли неудобные кресла, от которых сразу повеяло тоской. Увидев убранство, Сережа не своим голосом начал кричать на дирекцию: "Надо устроить революцию в вашем тухлом Доме кино! Так дальше невозможно! Сделали же революцию в 17-м году – и сколько радости!" На это никто не возразил, и руководство тихо растаяло. Вечером на сцене – стараниями Сережи – стоял гарнитур стиля рококо, обитый золотой парчой, и декадентские вазы (окрещенные Ильфом и Петровым "берцовая кость"), а в них цветы, ветки и перья. Красиво и необычно. Затем Параджанов выпустил актера во фраке и с кружевным жабо, который рассказал, какой я замечательный и необыкновенный, и которого мы выслушали с большим недоумением...

Закончил он словами: "А теперь полистаем семейный альбом". Тут прибежали два мальчика-близнеца в канотье и накидках от телевизора, которые Сережа трактовал, как матросские воротнички... За ними чинно шла гувернантка в немыслимой Сережиной шляпе. Близнецы сели за рояль, гувернантка дала знак, они заиграли гаммы и польки, выступая в роли таперов. На экране появился дом, где я родился, папа и мама, я в младенчестве, затем школьником – и пошло! Сережка каким-то образом все собрал, снял и смонтировал. Когда же я рассказывал о его выставке, то в зал вошли несколько дам в Сережиных шляпах, поднялись на сцену и уселись в креслах, приняв томные позы. Для меня это было полным сюрпризом, как и для Инны: когда она говорила о новинках японского кино, на сцену внесли большой букет в стиле "икебана", который назывался "В честь Тосиро Мифуне". Таким образом, нам пришлось выступать в атмосфере импровизации, что придало вечеру непосредственность и принесло успех. Я считаю, что благодаря Параджанову.

Потом мы отправились к Сереже. Одна его поклонница принесла ему в Дом кино три кило настоящих сосисок, но по дороге домой он-таки успел два из них раздать детям (где он их откопал в позднее время?), и на ужин было по полсосиски на человека. Но, конечно, не в этом дело, раз за столом сидел Сережа.

Он подарил Инне красивую шляпу, в которой она и красовалась весь вечер, а тебе почему-то решил послать пестрые трусы чудовищного размера, на Гаргантюа. Жди.

Сережа шлет привет тебе с Ниной, а мы вас целуем. Вася.

Тбилиси, 21 декабря 85 г.

PS. Пуделек же в вечере не участвовал. Он очень нанервничался на репетиции и его решили уберечь от вторичного потрясения. Так мы и не знаем, какая роль была ему уготована Серезжкой... А жаль!"





Он очень любил рамы.

Слово “коллаж” я услышал от него впервые, пожалуй, лет тридцать назад, когда у нас им, в сущности, никто не занимался. Его работы уже тогда были абсолютно индивидуальные и ничуть не напоминали коллажи Матисса или Делоне, Гофмейстера или Превера, Альтмана или Степановой, не было в них ничего и от фотомонтажей Житомирского или Родченко. Материалом ему служило буквально все – от драгоценности до утиля. Если я говорю “утиль”, то имею в виду разбитые электролампочки, наклеенные в причудливом сочетании на лист фанеры и вставленные в раму. Назвал он это “Инфаркт”. Почему бы нет? Если я говорю “драгоценность”, то имею в виду, например, комплиментарное письмо к нему Федерико Феллини, которое Сережа, инкрустировав осколками перламутра, павлиньим пером и засушенными лепестками лотоса, повесил в старой декадентской рамке под каретным фонарем у себя в изголовье.

Рамы Сережа любил особо: он их мастерил и красил, привозил отовсюду, выпрашивал, выменивал и даже забирал без спроса. Пролонговатые, овальные, золоченые, бархатные, церковные оклады – все шло в дело. Он не считал работу законченной, пока не находил ей обрамления. Ничего не стоящий утиль, заделанный им в раму, обретал художественную суть. Одинокая дамская туфля, старомодная и стоптанная, сразу останавливала ваше внимание, будучи помещенной в круглую раму на стене его галереи.

В 1985 году в тбилисском Доме кино устроили, наконец, его персональную выставку. Она называлась “Бал в мастерской кинорежиссера”, у нее был большой успех и пресса.

Неблагодарен труд описывать живопись (читай: коллаж), но попытаюсь.

... Вот большой картон, где сколлажированы офицерский погон, россыпь золотых монет и ассигнация, с которой вместо портрета императора на вас смотрит красивое и грозное лицо старухи. Рядом молодой офицер с глазами из изумрудных бус, огарок свечи, обрывок

зеленого сукна и обломок веера – все это объединила рама из рваных, обгорелых валетов и дам.

Вы вспоминаете Пушкина и не можете оторвать глаз от композиции, как не мог Германн оторвать глаз “от страшного, но чудного лица”.

Вот ассамбляж “Тбилиси 1942”. Настоящее окно в зале было крест-накрест заклеено полосками бумаги. Около него – кухонная полка с пустыми банками, лишь в одной на дне осталось немного красного лобии. На керосинке в кофейнике греется вода... От всего так и веяло скучным бытом военных лет. И тут Параджанов ввел компонент, которым на моей памяти еще никогда не пользовались в искусстве, – запах. Он налил в керосинку (наверняка кем-то выброшенную) настоящий керосин, зажег ее, и вдруг вы ощутили запах, который мгновенно перенес вас на десятилетия назад, в войну... Каждое утро он приходил на выставку, чиркал спичкой и отбрасывал нас в юность и детство.

И еще он приносил горсть пшена. Посреди зала стоял его автопортрет – фигура в средневековом кафтане, а тулья шляпы была сделана из клетки, в которой чирикали два настоящих попугайчика. По утрам Сережа “вычищал шляпу”, насыпал пшено и наливал птичкам воду. А они весь день пели ему хвалу.

Когда мы переезжали с квартиры на квартиру, то, естественно, выбрасывали какой-то скарб, накопившийся с годами. Тут подвернулся Параджанов, который из мусорной корзины аккуратно все переложил в свой чемодан. И вот на выставке я вижу:

Кукла-автопортрет, где седая окладистая борода сделана из... ежика для мытья бутылок; старая перчатка Инны, на которой ювелирно выписан король с лицом Параджанова, а в руке у короля держава – его любимый гранат; из рваного чемодана была сооружена голова слона: ремни и пряжки непостижимо образовали глаза, уши и хобот, а название сему – “Индия приветствует Кору Церетели” (это его любимый редактор).

Вспоминаю наугад его коллажи и композиции с куклами: “Царь Давид в бане”, “Вор никогда не станет прачкой”, “Ретро”, “Детство Чингисхана”, “Лиля Брик”, “Даная”, “Лермонтов”...

Одну стену на выставке он освободил и поставил там большой лист фанеры. В нем двадцать шесть рваных следов от пуль. Он назвал это “Памяти 26-ти бакинских комиссаров”. Те гвоздики, которые принесли Сереже, он тут же укрепил в этих дырах-следах, и вся стена покрылась алыми цветами.

По выразительности и простоте насколько это больше говорило сердцу, чем громоздкие многомиллионные сооружения!

Когда же ему предложили продлить срок выставки, он ответил: “Нет, пусть останется легенда”. Она и осталась.

И еще: “На лестнице, что ведет в залу, стоят по бокам одиннадцать блестящих гвардейцев в старинных мундирах, в золотых касках. А двенадцатый тут же внизу, совершенно расхристанный, весь взмыленный, на глазах у публики... стирает в корыте. Понимаешь: он не успел одеться, рубаха оказалась грязная, и он ее стирает, стирает, торопится... Вздывается пена в корыте, пар, с него валит градом пот...”

Это был замысел, который он не успел воплотить – то ли корыто не привезли, то ли лосяны не нашли.

Да, эти вечные его фантазии, которым не суждено было сбыться! Сколько несостоявшегося и непоставленного, о котором жалел он и не перестает жалеть мы!..

Киночиновники были не хуже императрицы.

Где-то в семидесятых началось их содружество с Виктором Шкловским. Когда Сережа еще не родился, Шкловский был уже очень знаменит, и вот полвека спустя два этих ярких чудака и выдумщика находят друг друга, чтобы оставить нам – увы! – лишь контуры некоего несостоявшегося чуда, пунктиры, эскизы... Сегодня никакой проблемы (кроме материальной) для их замысла не было бы, но в те годы существовали только одни

препятствия. Параджанов предложил писать сценарий “Демона”. Решили, что каждый напишет свой, а потом их соединят, взяв лучшее из того и другого.

“С. Параджанов

“Демон”

Сценарий написан для экспериментальной студии. Москва, 1971 год”.

Перелистываю сегодня полуслепой машинописный текст...

“Демон” волновал Параджанова и личностью Лермонтова, которого он собирался играть еще в юности, и природой Кавказа, где он родился и вырос, и тем пространством поэмы, которое вдохновляло его фантазию, и возможностью использовать огромное количество фактур, столь им любимых, – все эти скалы и потоки, старинные замки и развалины, ковры и утварь... И, конечно, сама драматургия будущего фильма – перевоплощение духа в плоть, любви в смерть, черного в белое, дьявола в ангела, лебедя в женщину... Вообще, образ лебедя, птицы, парения и полета ощущается, именно ощущается, на каждой странице сценария, пронизывает весь несостоявшийся фильм-поэму, хотя ни разу не написано “летал над грешно землей” или “верхи Кавказа пролетал...”. В фильме даже сама поэма будет написана пером, оброненным пролетевшей птицей, – это перо найдет в горах молодой гусар и...

Ирреальное пространство и фантастический сюжет он остраивает своими воспоминаниями, ощущениями детства, например, эти буйволы и буйволицы. Они поражали и пугали маленького Сережу:

“Тамара боялась черных и лиловых мокрых буйволов...”

“Лиловый буйвол пил воду”.

“Игуменя кричала на буйволов”.

“Тамара спала и... механически доила буйволицу”.

Сценарий написан так, как не пишут, но он был понятен ему самому, его единомышленникам:

“Хор гранитных скал воспеваает красоту алмаза”.

Или:

“Пахло мокрыми белыми лилиями”(Пахло!).

Или:

“Кровавые следы на облаках, следы пораженного Демона”.

Я обратил внимание, что весь сценарий написан чисто образно. Поэтические образы “Демона” переводятся на язык образа живописного. И лишь в любовной сцене – там, где “злой дух торжествовал”, – несвязный любовный лепет, сплетенный из обрывков лермонтовской строфы. Но Виктор Шкловский, однако, пишет ему в письме: “Дорогой Сергей, мы не можем снять немую ленту. Люди должны говорить, и это главное препятствие”. А ведь Сергей снял “Саят-Нову” – немую ленту, ленту без слов! Я уверен, что снял бы и эту, вопреки всем “не можем”.

Читаю дальше: “... Тамара в черной домотканой рясе взбиралась по нежным ветвям миндаля, Тамара качалась на ветвях миндаля... Качались в ритм с ней монашенки на соседних ветвях...”

Тамара срывала миндаль и бросала в корзину, привязанную к спине. Над Тамарой качались ветви, а над ними бежали облака, и раскачивался купол в голубой мозаике”.

Я так и вижу это необычное раскачивание женщин в черном на тонких ветках миндаля... Но попробуйте загнать туда массовку, да так, чтобы она не шлепнулась оземь! А Сережа загнал бы, и монашенки раскачивались бы, и мы бы восхищались, и в киношколах изучали бы эти кадры...

Шкловский предложил: “Зимний дворец с колоннами, и Лермонтов перед императрицей, женой Николая Первого, читает “Демона”. Она зеваает, закрывает рот веером. Ей нравится Лермонтов, но ей не нравится “Демон”. И “Демон” не проходит. Потом его осуществляет Параджанов”.

Если бы! Но киночиновники оказались не хуже императрицы.

– Что же помешало тебе снять фильм?

– Понимаешь, нужно было двадцать верблюдов-альбиносов, ярко-белых верблюдов,

но студия не могла их нигде найти. Сказки: “таких, мол, не существует в природе”. Бездарности! Что значит – не существует? Тогда покрасьте коричневых верблюдов с головы до ног перекисью водорода, как в парикмахерской. Превращают же там брюнеток в сатиновых блондинок! Тоже не смогли, разгильдяи. Ну, и я, конечно, отказался снимать картину”.

Так он отшутился. Суть же, разумеется, в неординарности замысла, в его, параджановской, “безмерности в мире мер”.

В его сценарии “Дремлющий дворец” (“Бахчисарайский фонтан”) срез нескольких эпох. Хан Гирей, экскурсовод, Екатерина Вторая, Пушкин, туристы, Суворов, внуки, шоферы, Зарема, автобусы и любимые белые верблюды. Все они должны предстать на экране в сложном взаимодействии, и остается сожалеть, что остались они жить лишь на страницах сценария в музейном архиве.

Вообразите: “Карета, запряженная арабскими скакунами, въехала в Бахчисарай. Наткнувшись на запруженную автобусами улицу, кони рванули назад”.

Или:

“Пушкин во дворе дворца... Дождь перестал... Экскурсанта в мгновение воссоздали фотоштамп и, улыбаясь, смотрели в аппарат.

И только после проявки и печати услужливый – записавший адреса – фотограф обнаружил присутствие на фотографии Пушкина Александра Сергеевича.

И фотогильотина, komponуя кадр, механически срезала случайно попавшего человека в цилиндре, со стеклом...”

Непоставленных сценариев у него больше, чем у кого-либо.

В 1983 году при аресте у него сгнило более пятнадцати написанных вещей. Но уцелело много тех, что он сочинял в заключении. Сочинял, но не записывал: и не было возможности и опасался за их судьбу во время бесконечных обысков. Он черпал сюжеты из окружающей его страшной действительности, он держал их в голове, подобно Ахматовой, которая годами держала в уме “Реквием”.

Несколько таких историй Сережа рассказал режиссеру Юрию Ильенко и подарил ему идеи, образы и сюжеты. “Сколько можно дарить зонты и платки?” – сказал он. Так появился фильм Ю. Ильенко “Лебединое озеро – зона”.

В один прекрасный день 1986 года он показал мне заявку на балет по роману Горького “Мать”! Этот насмешник, вольнодумец, аполитичный, по своей сути, художник – и вдруг:

“Постановка балета “Мать” посвящается великой дате семидесятилетия Великой Октябрьской революции”.

– Ты это серьезно?

– Абсолютно. Вот читай:

“Двенадцать картин, как бы балетных притч, возникнут на сцене Театра им. Захария Палиашвили, создавая балетно-психологическую гармонию становления характера революционера Павла Власова и идущей рядом матери – Ниловны, прозревающей и сопутствующей судьбе и сына, и революции.

... Композитор Р. Щедрин или Г. Канчели.

... Композитор создаст партитуру балетной эпопеи на основе революционных гимнов и песен... В основу музыкального коллажа войдут детские хоры, частушки, переплясы, церковные песнопения... В финале балета – симфоническое “Интермеццо” и апофеоз арф и колоколов в сочетании с вокализмом колоратурных сопрано... Исполнительницы роли матери – Майя Плисецкая, Ирина Джандиери... Новое прочтение “Матери” Горького – праздник искусства, необходимый Советскому государству в целях воспитания молодежи и популяризации революционной классики...”

– Сережа, неужели это из тебя вылезли такие слова?

Я был ошарашен. Но он тут же прочитал мне либретто первой картины. Это было на уровне школьного сочинения – рассвет, заводской гудок, почему-то уже с утра измученная толпа рабочих, зевая, бредет на фабрику, среди них – изможденная Ниловна... Что ни строчка, то “капитализм,” “эксплуатация,” “кровопийцы”...

Министру культуры Ур.ССР
Асаитиам В. Р.
Копия Э. Шандарова, Э. Калужа

Творческая заявка

После встречи с Вами утраченное
режиссерство в кратчайший срок Вам
будет представлено либретто, в основе
которого будет положена великая
произведения русского народного
искусства Максима Горького – МАТЬ

Экранизация картины, как бы балансирует
призе, возмущает на сцене театра
им. Захаря Палиашвили – создавая
блестящую психологическую картину
становления характера революционера
Павла Власова и идущей рядом матери –
Кимовой, проявляющей и сочувствие
судье и силе и революционности

– А вот послушай финал. Во весь пол
сцены расстелено знамя, посреди звезда.
Справа стоит Ниловна, протягивая руки
кверху, а из-под колосников, как бы паря в
воздухе, к ней спускается... угадай кто?

– Неужели Карл Маркс?

– Га-га-рин! И лицо у него то Павла, то
Юрия, то Юрия, то Павла... Звонят колокола,
и поет хор колоратурных сопрано”.

Я был уверен, что он меня
мистифицирует. Отнюдь. Наоборот,
попросил позвонить Плисецкой и Щедрину
и рассказать о его предложении. Я
отнекивался долго.

“Считай, что я этого не слышала”, –
ответила Майя Михайловна. Да и сам
Параджанов вскоре остыл – непонятно
только, как его могло занести на страницы
столь чуждого ему романа, под все эти вихри
враждебные... Думаю, что импульс был в
самой эпохе, в костюмах и бытовых
фактурах, ведь он любил это время, начало
века. Но я не предполагал, что до такой
степени!

Сергей писал из лагеря: “Светлана,
дорогая, когда я родился, я увидел облако,

красивую мать, услышал шум ветра, звон колокола, и все это – с балкона детства, и за все
это надо платить”.

В письме он считал несвободу платой, хотя это была расплата. Но хотел он за “все это
с балкона детства” заплатить благодарностью, фильмом-воспоминанием. Образы родных,
дома и детства до конца дней будоражили его, тени забытых предков постоянно
присутствовали в рассказах Сережи. И сценарий “Исповедь” – это действительность,
расцвеченная его фантазией.

Впервые, видимо, он подумал о фильме в Киеве, когда его уложили в больницу с
воспалением легких. Он позвонил мне в Москву и велел прислать двадцать штук лимонов
для соседа, а себе, смущаясь, попросил два карандашика “биг-клик”, они тогда только
появились, их привозили из-за границы, и ими было очень удобно писать. Потом уже я
узнал, что именно в больнице он написал (наверно, этими “биг-кликами”) первый вариант
“Исповеди”, на котором поставил: “Не для печати!” По ассоциации я вспомнил Эйзенштейна,
который тоже, впервые попав в больницу и, видимо, почувствовав, что все не вечно, начал
там свои автобиографические записки... Так или иначе сценарий оформлялся в Киеве,
потом он не раз передумывался, переделывался, одни персонажи исчезали из замысла
или умирали по ходу действия, их место занимали другие, возникали новеллы о соседях,
истории о сервизах, буфетах, диванах и роялях. Жизнь клана Параджановых – а семья
была большая, темпераментная, разнохарактерная, как говорят теперь “взрывоопасная”,
– изобиловала экстраординарными поворотами и насквозь была пропитана бытовыми
подробностями. “Чистой воды сюрреализм”, – думал я, погружаясь во все эти перипетии.

... Бабушки и прабабушки, бредущие в черных кружевах по трамвайным рельсам и
прячущие золотую монету в резинку чулка... Белый ансамбль золоченых арф, притаившихся
на кладбище... Мадам Жермен со своим не востребуемым проносом... Унесенные ветром
тюлевые платки, которые ловят юноши, чтобы сквозь них прогладить складки на брюках...
И среди этих фантазмагорий – он! Он, протестующий против всех изгнаний и гонений,
против того, что в церкви стирают белье в цинковом корыте и кормят собак, и которому
лучше с призраками, чем с живыми, в этом абсурдном мире.

В сценарии не только воспоминания, но и ностальгия по ушедшему миру знакомых и красивых вещей, который Сережа старался удержать и в своем доме, и в своем творчестве. Ни разу в жизни не нажав ни на одну кнопку, он, подобно своим героям, “пугался и не понимал электричества, газа, пультов, ракет и бульдозеров”. – “Прошу вас, мадам Жермен, перед смертью не любуйтесь открытками с изображением атомных установок в Брюсселе, а смотрите лучше на розу, которую нарисовал на шелку задолго до вашего рождения китаец”.

Сережа говорил, что еще в Киеве рассказывал о замысле Тарковскому, а тот ему о своем “Зеркале”, над сценарием которого он тогда работал. Там был эпизод, где мать маленького Андрея моет голову, полощет волосы. “Какого цвета была вода? – спросил Сережа. – Какой был цвет у воды?”

Его почему-то интересовала эта подробность.

“Когда Тбилиси разросся, – писал Сережа, – то старые кладбища стали частью города. И тогда наше светлое, ясное, солнечное правительство решило убрать кладбища и сделать из них парки культуры. Деревья, аллеи оставить, а могилы, надгробья убрать. Приезжают бульдозеры и уничтожают кладбища, и ко мне домой приходят духи – мои предки, потому что они стали бездомными, они просят убежища. Мой дед, и моя бабка, и та женщина, что сшила мне первую рубашку, и тот мужчина, который первый искупал меня в турецкой бане... В конце я умираю у них на руках, и они – мои предки – меня хоронят.

Это фильм об обысках 37-го года, о том, как арестовывали отца, как прятали котиновую шубу. В тридцатых годах отец купил шубу у хозяина табачной лавки, и всю жизнь ее прятали, сначала от НКВД, потом от КГБ, потому что она была “богатой”, красивой. Мама надела ее дважды. Как-то ночью пошел снег, муж разбудил ее и сказал: “Встань, идет снег” (снег в Тбилиси редкость, а мех любит холод). Мама встала, как сомнамбула, влезла через чердак на крышу и простояла в шубе, надетой на ночную рубашку, до утра. Это было одно из самых сильных моих детских впечатлений: мама стоит на крыше в мокрой шубе. Мне отчего-то показалось, что ее всю ночь жевали... буйволы! Второй раз она надела ее на похороны мужа. Я ей сказал: “Надень шубу”. Это было в августе”.

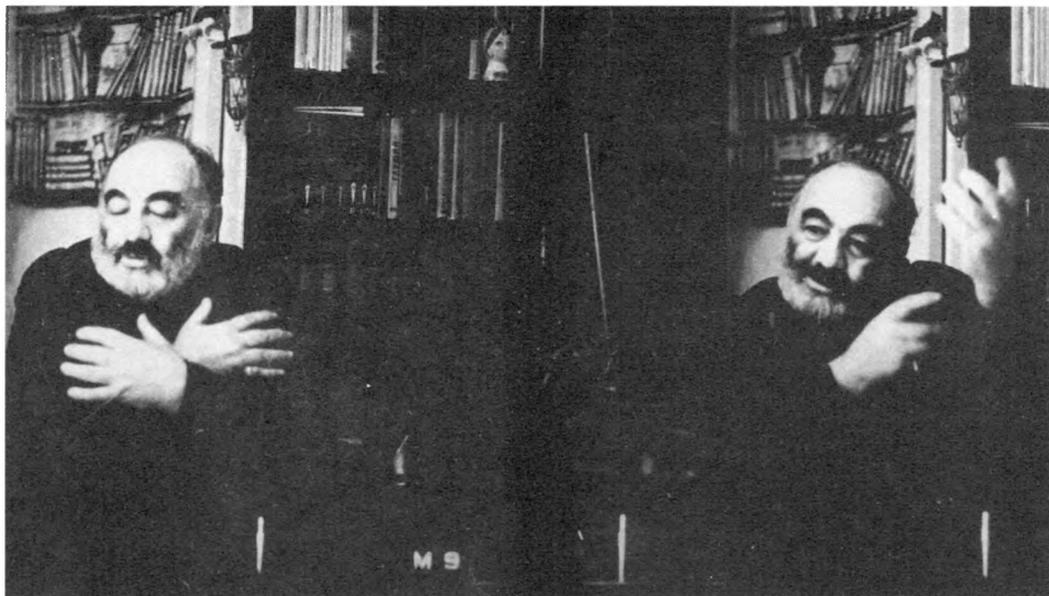
Сережа мне показывал несколько фотоэскизов к фильму. На одном – грустная мама сидит на ступеньках крыльца и держит на коленях транзистор, который так чужд всей обстановке и быту семьи. А на нее, словно черный ангел из поднебесья, спускается эта знаменитая котиновая шуба... (Котик – любимый мех Сережи, но у него никогда не было, кажется, даже воротника на пальто. Как-то мы ему подарили котиновую шапку-пирожок, но вскоре увидели ее на ком-то из его друзей.)

Второй фотоэскиз был коллажирован из фото мамы, клочков разорванной фотографии папы и укоризненного лица Сережи. Это к эпизоду “Ревность”.

Гарик Параджанов: “Я не успевал следить за метаморфозами “Исповеди”. Однажды там вдруг появилась наша соседка, грузная дама Анна Андреевна. Она жила на втором этаже, и мы, играя в футбол, иногда забивали мяч ей на балкон. Она подходила к перилам, кричала “Гол!” – и кидала мяч обратно. Но однажды она не отреагировала, и мальчишки, поднявшись, увидели ее сидящей на диване. Она крепко спала и не слышала, как они забрали мяч. А потом выяснилось, что она в это время была уже мертва. Когда она лежала в гробу, то все заметили, что у нее кривая шея. “Это потому, что она слишком увлеклась игрой на скрипке”, – объяснил мне Сережа. Родственники увезли только рояль, его спускали



В студенческие годы он мечтал сыграть Лермонтова



на веревках с балкона, а все остальное выкинули на свалку, в том числе и трогательные фигурки, которые она делала из любви к искусству и которые так пленяли дядю в детстве, а потом и меня. У Анны Андреевны раньше были родители: папа – композитор, а мама работала суфлером в опере и больше всего любила тишину. (“Имея мужа-композитора ее можно понять”, – замечал Сережа.) Так вот, вернувшись с работы, где за ее спиной весь вечер играл оркестр, а перед ней пел хор и солисты, она, вне себя от музыки, повязывала голову полотенцем и требовательно кричала: “Тише!” Показывая ее, дядя наворачивал полотенце, кричал “Тише!”, одной рукой затыкал ухо, а другой готовил ужин”. Мне же Сережа рассказывал такой эпизод из соседской жизни: “Опускается вечер, духота медленно отступает, на галереи выходят кекелки и переговариваются через двор с соседками, которые сидят на балконах, как махи на картине Гойи, делая вид, что они светские дамы. Другие же просто пялят глаза друг на друга, положив арбузные груди на перила. Лень, апатия после рабочего дня. Мужчины в майках проветривают подмышки – вот так – или играют в нарды. Типичный вечер в кавказском внутреннем дворике. Все безмятежно, но все в ожидании. И – вот оно: “Слушай, весь Тбилиси! Слушай, весь Тбилиси!” – кричит, выскочив на балкон, свирепый тучный Гиви. Тут уже высовываются из всех окон. “Слушай, весь Тбилиси! Эта дрянь, эта дура, эта разбойница...” – у него от возмущения не хватает слов, он ловит ртом воздух. “Кто?” – хором спрашивают соседи, отлично зная кто, ибо повторяется это каждый вечер в час назначенный.

– Эта мерзавка, эта ослица... Слушай, весь Тбилиси! Это моя жена! Сколько раз я ей говорил, что люблю видеть то, что я пью, но эта идиотка не может этого понять, вот и сейчас – вай ме! – вместо того чтобы налить мне чай в стакан, – слушай, весь Тбилиси! – она мне подает его в чашке!!!”

И Сережа торжествующе поднимает над головой чашку, словно вражеский скальп. Глаза его сверкают.

Однако ни суфлерша, ни преступница с чашкой в окончательный вариант не попали, тем более не были сняты, о чем я несказанно жалею, – я так живо все это вижу!

Как-то по телевизору, который Сережа не любил смотреть, показывали немую комическую “Домик в Коломне”. Мы ужинали, и деваться ему было некуда: телевизор стоял в столовой. Иван Мозжухин блестяще играл Парашу в очень смешной сцене “Кухарка брилась”. Сережа моментально зажегся: “У меня в “Исповеди” есть эпизод, как проходит утро в нашей семье. Сестры идут в школу, я настраиваю скрипку, а мама бреется.

– Как – бреется?

– Вот так (он показал). Что вы на меня уставились? Она каждое утро брилась. Если бы она не брилась, то у нее были бы усы, как у Буденного. Представляете, приходит за мной в школу мама, а у нее лицо маршала, она в буденовке и напевает: "Мы красные кавалеристы"... Дальше ему было уже неинтересно рассказывать, он легко добился своего – мы покатывались со смеху. Этого тоже не оказалось в сценарии – может, он забыл про Буденного, может, еще что?

Гарик Параджанов: "Про своего отца, моего дедушку, Сережа написал в сценарии несколько эпизодов, но в окончательном почти ничего не осталось. Правда, он говорил, что кое-что из этих набросков он все равно снимет обязательно. Я помню такую сцену, его воспоминание: "Это было в тридцатом, мне было шесть лет, папа вернулся с очередной отсидки на Беломорканале. Меня одели в матроску и привели в столовую: "Покажи папочке, как ты играешь на скрипочке". Я запиликал что-то невыносимое, очень похожее на скрип старой дверцы буфета. Или сарая. Вскоре терпение отца лопнуло: "По моим подсчетам, за то время, что я сидел, ты мог бы выучить концерт Вивальди. Пре-кра-тить!!" На этом моя карьера виртуоза закончилась".

Или вот еще один эпизод, рассказанный дядей: "Когда твоя мама собиралась выйти замуж за твоего папу, то наши родители заартачились. Скандал. Аня плачет, грозит умереть. И, действительно, как в "Господах Головлевых", решила сделать отраву из спичечных головок. Настояла их, оставила записку и выпила. И вот я в Киеве получаю телеграмму:

"Немедленно приезжай папа".

Для меня это было непросто, и я спрашиваю – зачем, собственно. Ответ был обескураживающий:

"Отказываюсь объяснять понятное папа".

К счастью, все обошлось. Аня что-то напутала в пропорции или спички не те стали, не знаю. Иначе мы с тобой тут не сидели бы".

"Амаркорд", "Фанни и Александр", "Зеркало" – биографические фильмы великих режиссеров. Параджанов задумал свою картину первым в этом ряду, но успел он – и то много лет спустя – реализовать лишь один эпизод, смерть соседки Веры. Ее похороны он снимал во дворе своего дома. Больше он к киноаппарату не подходил...

Я говорил ему, что мне в "Исповеди" не нравится тема его смерти. На каждой странице: "Я умер в своем детстве"... "Я улыбаюсь, умирая"... "Умер Человек, ищущий истину"... "Мадам Параджанова на похоронах сына" и т. д.

"Предсказания поэта сбываются", – вспоминал я пророческие слова Цветаевой, сказанные ею Ахматовой по поводу "Молитвы":

"Отними и ребенка и друга..."

Увы – все так и было!

(Окончание – в следующем номере.)

**Подписаться на журнал "Киносценарии"
вы можете, начиная с любого номера**

**Стоимость подписки
на I полугодие 1995 года – 3600 р.
Индекс по каталогу ЦРПА – 70434**

Джозеф фон Штернберг:



"Марлен Дитрих-
необычайная женщина"

Марлен Дитрих – необычайная женщина. Примечателен не только ее талант, но и критическая способность воспринимать себя как бы со стороны. Где бы не находилась Марлен – в Аргентине, Лас-Вегасе, Висбадене или Париже – она постоянно вспоминает тех, кому обязана своей славой.

И меня она не забывала. Сам факт, что Дитрих говорит о других только хорошее, на многих производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Снова и снова она утверждает, что обязана мне всем. Могу только сказать, что я не просил распространять обо мне подобные истории.

Имя Марлен Дитрих известно во всем мире. Есть корабль, названный в ее честь, и многочисленные дети носят имя, ранее не известное ни одному человеку. Оно является производным от двух имен – Мария и Магдалена. Когда его обладательница приехала в Америку, то попросила дать ей другое имя, испугавшись, что не-немцы не смогут произнести его правильно. Я на это не пошел, объяснив, что скоро ее имя станет популярным повсюду, вне зависимости от того, правильно его говорят или нет.

Когда мы впервые встретились, такие вещи не имели для нее значения. Центром жизни была маленькая дочка и несколько пластинок певца по имени Шепчущий Джек Смит. Марлен охотно подшучивала над собой и другими, но всегда оставалась лояльной к своим друзьям, чего нельзя сказать о последних. И чувство сострадания ей не чуждо. Она всегда готова помочь тем, кто в этом нуждается, не показывая своего превосходства, которого в ней нет и в помине. Свои суждения Марлен излагала так непосредственно, что порой казалась бестактной. В ее личности прихотливо смешивались рафинированность, стильность и прямо-таки детская наивность.

Когда мы познакомились с Марлен Дитрих поближе, я узнал больше о ее происхождении, семье, друзьях. Стремление подняться над своим окружением и энергия, с которой она это осуществила, всегда меня поражали. Правда, порой на нее нападала жесточайшая депрессия, которая сменялась потом длинными периодами необыкновенной активности. Тогда эта женщина становилась необоримой. Исключительный энтузиазм помогал ей овладевать все новыми гранями творчества. Не раз Дитрих приводила в замешательство общество своей суеверностью и при этом отличалась примечательным здравомыслием и умом образованного человека. Страсть к лицедейству у нее в крови. Ему она привержена душой и телом. Хорошо образованная, Марлен знала творчество Гамсуна, Лагерлеф, Гюфманстала и Гельдерлина, боготворила Рильке и постоянно цитировала Эрика Кестнера. Однажды она прислала мне его книгу, в которой было подчеркнуто стихотворение "Печаль приходит и уходит без причины".

Несмотря на склонность к меланхолии, Марлен очень следит за собой. Всегда хорошо одета, причесана и покрашена. И тем не менее на всех фотографиях она выглядит как некто, переодетый женщиной. Я понимаю, что мой вывод слишком радикален, но постараюсь доказать это в дальнейшем.

Во времена "Голубого ангела" появилось немало фотографий Марлен, которые никак нельзя назвать лестными. Они запечатлели перепуганную молодую женщину, которая



выглядит так, будто привыкла сидеть, забившись в уголок. Однако именно эти фотографии Марлен любила дарить своим поклонникам и при этом строила такую мину, словно делала подарок необыкновенной ценности. На одной из этих фотографий, до сих пор хранящихся в моем архиве, начертанно ее рукой: "Без тебя я – ничто". Я бы охотно переадресовал ей это лестное утверждение, хотя и не могу отрицать свою ответственность за тот имидж, который воплощала Марлен в моих фильмах. Должен сказать, что никогда прежде мне не приходилось встречать более красивой женщины.

Правда, позднее некоторые поклонники Марлен из числа знаменитых писателей упрекали меня в том, что я навязал ей манеру, не соответствующую ее истинной сущности. Люди всегда видят то, что хотят видеть. Я не сообразил образу Марлен на экране ничего такого, чего бы в ней не было на самом

деле. Просто одни черты ее характера были подчеркнуты, а другие, напротив, – завуалированы. Впрочем, не имеет смысла жаловаться. То, что мужчины ищут в женщине, можно без труда найти в моей героине.

Я пропал в Берлин осенью 1929 года. Следов первой мировой войны уже не было видно, но там и здесь попадались приметы, имевшие разрушительный и неприятный смысл. Они обнаружались позднее, во вторую мировую войну, когда город превратился в руины и пепел. Со стороны жителей было бы неразумно забывать времена хаоса, голода и инфляции. Собираателям марок достаточно заглянуть в свои альбомы, чтобы увидеть там немецкую почтовую марку ценой в 80 миллиардов марок! Общественные структуры рухнули, мораль превратилась в анахронизм. Бумажных денег, которые вечером еще представляли крупную сумму, на следующее утро уже не хватало на буханку хлеба. Сильный, самостоятельный народ внезапно превратился в зверя, который щелкал зубами от голода, алкая пищи. Все существовавшие ценности рухнули.

Если людям больше нечего терять, освобождаются силы и энергия, не подчиняющиеся никакому контролю. На поверхность вылезли массы попрошайек, бандитов, проституток, наркоманов и дегенератов. Появилось множество демагогов, и наконец, власть захватил злобный диктатор, поставивший мир на грань катастрофы.

В те годы Берлин напоминал охваченный волнением океан. Я жил тогда в тихом отеле на берегу Шпрее, который казался маленьким островком посреди бурлящего моря. Но стоило переступить порог, как мощное течение подхватывало меня. Вечером во время ужина в ресторане можно было увидеть за соседним столиком существо, пудрящее нос большой кистью, вынутой из того места в декольте, где минуту назад явственно виднелись груди. Попытки определить пол окружающих нередко приводили к конфузу. Не только мужчины одевались женщинами, используя накладные бюсты, ресницы, помаду, но и женщины выглядели как мужчины, а у некоторых даже были бороды и усы. Существовал и третий тип, готовый удовлетворить любые потребности. И кто высоко поднимал брови при виде этого разврата, тот неизбежно выдавал в себе провинциала. Популярное стихотворение

Эрика Кестнера тех лет начиналось строкой:

А там, где раньше мораль была,
Зияет нынче дыра.

Берлин хотел веселиться, и каждый, кто стремился к развлечениям, мог получить свою порцию. В кабаре, театрах и ночных клубах толпились актеры и актрисы. Никто не появлялся дважды в одном и том же окружении. День и ночь люди были заняты погоней за чувственными удовольствиями. Как угри они выползали из своей кожи, чтобы ринуться в новое приключение. Конечно, не все жители Берлина принимали участие в этой грандиозной гонке за удовольствиями. Однако именно это бросалось в глаза при взгляде на городскую толпу. Там и здесь стояли юные девушки с плетками в руках. Покачиваясь на высоких каблуках, они ждали знака прохожих, чтобы последовать за ними. Платья некоторых были украшены свиными хвостиками. В Берлине 1929 года витал дух Гойи, Бердслея, Цилле, Бодлера.

Я был приглашен в Берлин обществом, которое финансировалось Альфредом Гугенбергом. Он принадлежал к старому чиновничьему аппарату Прусской империи и как директор фирмы Крупп считался одним из могущественнейших людей тогдашней Германии. Известно, что он финансировал Гитлера. Я познакомился с Гугенбергом позднее, когда приехал в Берлин уже во второй раз. Он пригласил меня пообедать. После обильной трапезы Гугенберг признался, что был настроен против "Голубого ангела", а теперь рад, что дал себя уговорить. Позднее, когда нас никто не мог подслушать, Гугенберг шепнул, что напрасно оказывал поддержку Гитлеру.

Известно, что книга "Профессор Унрат", на которой частично базировался мой фильм, состояла из "черных списков", составленных самим Гугенбергом. Так что этому деятелю было нелегко соединить свои политические убеждения и денежные интересы.

За те три года, что прошли со съемок "Голубого ангела", город почти не изменился. Но на следующий день после нашего обеда с Гугенбергом произошло событие необыкновенной важности. 27 февраля 1933 года я взял такси, чтобы ехать в аэропорт. Наш путь лежал мимо горящего рейхстага. Мы остановились на минуту, и шофер сказал, что это сделали нацисты, чтобы возбудить в людях ненависть к коммунистам.

Вновь я увидел Берлин лишь в 1960 году. Город очень изменился, как в хорошую, так и в плохую сторону.

Одним словом, Берлин 1929 года оказался прекрасным фоном для женщины, которой было суждено околдовать мир.

В своей книге "Профессор Унрат" Генрих Манн дал блестящий портрет аморальной женщины, чья плоть губит добропорядочного профессора немецкой гимназии. Сотрудники рассказывали, что у соблазнительной проститутки был реальный прототип. И однажды мне представили стареющую немецкую даму, подчеркнув со значением, что она и есть "тот оригинал". Однако в своем нынешнем состоянии она могла играть разве что в цирке для слепых. Пока я сидел в бюро и работал над сценарием, перед моими глазами прошла череда чужих любовниц. Они представлялись с восторгом, которого я не мог разделить. У одной были красивые глаза, у второй – походка, у третьей – стройные ноги, у четвертой – голос, обещавший все мыслимые и немыслимые удовольствия. Но лишь богу известно, как можно объединить дюжину достоинств в одной-единственной женщине.

Нужно сказать, что к тому времени все актеры, за исключением исполнительницы роли Лолы, были найдены. Я подбирал не слишком толстых исполнителей, чтобы отвлечь внимание от невообразимой полноты главного исполнителя Эмиля Яннингса. А тот жирел день ото дня, поскольку верил, что плоть может усилить его воздействие на зрителей.

На роль Лолы я искал женщину совершенно особого типа, чем-то похожую на жившую в прошлом столетии Фелицию Ропс, и был уверен, что смогу найти в Берлине ее двойника.

Близился первый день съемок, и в моем окружении начали циркулировать слухи, что я ищу женщину, которой не существует в реальности. Однажды, когда я перелистывал каталог немецких актрис, мой взгляд упал на фотографию фрейлейн Дитрих. Как уже было не раз в подобных случаях, я попросил ассистента вызвать ее на студию. "Попка неплоха, но ведь нам нужно лицо, не так ли?" – ответил он вопросом на вопрос. Фрейлейн Дитрих пришлось



...позднее я узнал, что она может быть невероятной болтушкой.

бы разделить судьбу других соискательниц, если бы на следующий день я не увидел ее в спектакле "Два галстука" Георга Кайзера, в котором играли снимавшиеся в моем фильме Ганс Альберс и Роза Валетти. В тот вечер я впервые увидел фрейлейн Дитрих, как говорится, во плоти и крови. Трудно сказать, для чего она находилась на сцене, поскольку произносила одно-единственное предложение. Но я не мог оторвать от нее глаз. У нее было как раз такое лицо, какое я искал, и, насколько можно было судить издали, вполне подходящая фигура. Более того, нутром я чувствовал, что она может предложить то, чего я даже не искал. Все это подсказало мне, что поиски подошли к концу. В отличие от других актеров, стремящихся превратить спектакль в парад немецкого искусства, эта женщина вела себя с холодным достоинством. Конечно, она знала о моем присутствии среди зрителей, но даже не подала виду. А может быть, ей было, действительно, безразлично, здесь я или нет. Ее холодность впечатлила меня, хотя позднее я узнал, что она может быть невероятной болтушкой. В тот вечер я покинул театр с твердым убеждением, что именно эта холодная, рафинированная женщина должна сыграть в моем фильме скандальную особу. Она не только была похожа на Фелицию Ропс. Уверен, если бы ее увидел сам Тулуз-Лотрек, то обязательно бы сделал стойку на руках. Теперь я хотел опекать эту необычную женщину, обладающую такими внешними данными!

Кинорежиссура несопоставима ни с каким другим видом творческой деятельности, поскольку необходимо связать воедино множество концов. Что-то упустишь – разрушишь весь замысел. Мои инстинкты не всегда так обнажены, но на этот раз они подсказали, что ядро фильма найдено. Без магического обаяния этой женщины было бы невозможно понять причину крушения высоко нравственного профессора гимназии.

На следующий день я строго спросил моего ассистента, почему актриса, о которой я

говорил вчера, до сих пор не приглашена на пробы. Мой вопрос вызвал поток возражений. "Эта актриса никакая не актриса", – кричали мне. Я заявил, что не желаю вести дискуссию о сущности актерского мастерства. Тут в разговор вмешался Эмиль Яннингс и сказал, что приглашает меня на второй завтрак. На него всегда напал зверский аппетит, когда возникали проблемы с его коллегами.

Было четверть девятого. Понимая, что на мои деньги Яннингс способен обчистить все сосисочные Берлина, я выпроводил его из комнаты и потребовал, чтобы означенная дама была вызвана на студию немедленно. К полудню я увидел ее, наконец, в моем бюро.

В зимнем пальто цвета гелиотропа, кокетливой шляпке и изящных перчатках фрейлейн Дитрих выглядела весьма элегантно, но держала себя в высшей степени странно. Она даже не предпринимала попыток пробудить интерес к себе, являя образец полной безучастности, когда сидела, уставив глаза в пол. Я спросил фрейлейн, почему как актриса она имеет такую сомнительную репутацию. Она оторвала взгляд от рук, которые изучала с особым вниманием, и недоуменно вздернула плечами. "Смогу ли я превратить эту мумию в тигрицу?" – с сомнением подумал я тогда.

Как раз в то время, когда я пытался втолковать фрейлейн Дитрих мое видение героини, в сопровождении игриво настроенного Эмиля Яннингса в бюро появился наш продюсер Эрих Поммер. С восхитительной прямоотой он потребовал от Дитрих снять шляпку и пройти туда-сюда... Данное предложение было вполне обычным на актерских пробах и имело единственную цель – выяснить, не прихрамывает ли актриса. Фрейлейн Дитрих поднялась и встала посреди маленького бюро с понурым видом коровы. Я забеспокоился, как бы она не наткнулась на мебель, когда начнет демонстрировать походку. Оба эксперта обменялись многозначительными взглядами и, пожав плечами, покинули бюро. Позднее Яннингс сказал мне, что у коров бывает такой затуманенный взгляд, когда они производят на свет теленка. От моего главного исполнителя мне приходилось слышать еще и не такие высказывания!

После того как продюсер и главный исполнитель красноречиво, хотя и без слов, выразили свое мнение, мы остались с фрейлейн Дитрих наедине. Хотя она не казалась особенно удивленной, но когда за обоими господами закрылась дверь, обратила на меня взор, исполненный глубокого презрения. Этот взгляд она адресовала именно мне, считая, по-видимому, главным вдохновителем этого представления. Я предложил ей сесть и рассмотрел более внимательно. Внешне она казалась очень живым человеком, однако не знающим, что делать со своей витальностью. В общих чертах я обрисовал, что от нее требуется. Она ответила голосом ребенка, что рассчитывала получить роль второго плана, но никак не главную. Произнося эти слова, она казалась совершенно больной, а затем начала убеждать меня, что совсем не умеет играть. А что касается киносъемок, то получается на экране такой уродливой, что сама себя не может узнать. К тому же пресса относится к ней плохо. Она открылась мне, что уже снялась в трех фильмах, но не считает их удачными. Все происходящее явилось для меня сюрпризом. Никогда прежде мне не приходилось встречать актрис, добровольно кающихся в своих ошибках.

Позднее я узнал, что фрейлейн Дитрих снялась не в трех, а в девяти фильмах. Играла она и в мюзиклах, снискав большой успех в пьесе "Бродвей". Немало талантливых мужчин пытались что-нибудь из нее вылепить, и вот наступила моя очередь. Ее репутация не имела для меня никакого значения, о чем я и сообщил ей. Поняв, что меня не так просто обескуражить, молодая дама призналась, что уже видела мои фильмы. Отметив, что я прекрасно управляю мужчинами, она высказала сомнение, смогу ли я так же хорошо работать и с женщинами. Я рвался немедленно доказать это на практике. Когда мы прощались, фрейлейн Дитрих продолжала твердить, что мне следовало бы посмотреть три ее фильма. Что я и не замедлил сделать. Если бы я увидел фрейлейн Дитрих на экране раньше, чем на сцене, тогда, возможно, я реагировал бы на нее иначе. Показанная с непереносимой, выморочной банальностью, она казалась на экране удивительно непривлекательной женщиной. Все это стало для меня "холодным душем". С тоской я думал о предстоящих пробах с участием фрейлейн Дитрих. Кстати, она была замужем за ассистентом студии "УФА" и звалась фрау Зибер.

Пробы начались с кандидатки руководства "УФА" – очаровательной, веселой, молодой



Кадр из фильма "Голубой ангел".

Люции Маннхайм, которая появилась в сопровождении одаренного музыканта Фридриха Холлендера. Он подыгрывал ей на рояле. Я ангажировал только музыканта и не прогадал. Впоследствии он стал очень знаменитым.

Потом настала очередь фрейлейн Дитрих. Она вообще не была готова, поскольку считала всю затею пустой тратой времени. Однако именно она пользовалась моей благосклонностью, о чем, впрочем, не догадывалась. Об этом начальном периоде нашего сотрудничества ходит множество легенд. Сама Дитрих заявляла, что я разыскал ее в школе Макса Рейнхардта. Затем она утверждала, что на пробах я заставил ее спеть вульгарную песню. Другим говорила, что песня была очень "дерзкой". Полностью исключено, чтобы я

заставлял кого-то быть вульгарным. И вообще, все эти рассказы мало стыкуются с тем, что происходило на самом деле. Поскольку фрейлейн Дитрих не готовилась к пробам, то и петь могла только то, что могла. Я послал ее в костюмерную, чтобы она сменила свой уличный костюм на что-нибудь более мишурное, соответствующее духу кабаре. Она вернулась в платье таких размеров, что в нем спокойно мог поместиться бегемот. Мы кое-как закололи платье булавками, и я предложил Дитрих спеть что-нибудь на немецком, а потом и на английском. И здесь произошло чудо: между нами тотчас установилась какая-то магическая связь. Марлен реагировала на все мои замечания с поразительной легкостью, которой я вовсе не ждал от нее. Мне казалось, что ей нравится, что я вкладываю в работу с ней так много усилий. Но она даже не посмотрела пробы и ни разу не спросила меня о них. И тем не менее, ее поразительная витальность вырвалась, наконец, наружу.

На следующее утро пробы были показаны руководству, и оно единодушно отдало предпочтение Люции Маннхайм. Я не верил своим ушам, потому что сверхординарной личностью была на экране как раз вторая претендентка. Я оказался в одиночестве. Все были настроены против меня. Например, весьма уважаемый режиссер Ганс Шварц с металлом в голосе заявил, что смешно делать выбор между двумя исполнительницами. "Каждый, у кого есть глаза, не может не видеть превосходства Люции Маннхайм", – патетически заключил он. Я поблагодарил его за подобное утверждение. После моего саркастического замечания в зале стало совсем тихо. Конец дискуссии положил Эрих Поммер, заявив, что я отвечаю за подбор актеров, мне и решать. Эмиль Яннингс голосом Кассандры пробурчал из своего угла, что я еще пожалею о своем решении.

Съемки начались буквально на следующий день. Моя главная исполнительница была ангажирована за относительно низкую цену, получив за весь фильм всего пять тысяч долларов. Но эта сумма в сто раз превосходила ту нищенскую зарплату, которую она имела в театре. Пройдет совсем немного времени, и ее гонорары достигнут сказочных высот, но тогда она не имела возможности думать о будущем. В семь часов утра начинались съемки, продолжавшиеся допоздна. Так что Дитрих едва хватало времени, чтобы вовремя добраться до театра. Мне было известно, что после спектаклей она отправлялась с друзьями в ресторан, чтобы расписать во всех подробностях свои мучения на съемочной площадке. Как явствовало из ее рассказов, она не только должна была реагировать на все мои

указания, но и подвергалась жестокой режиссерской цензуре. Этот иностранец, взявший в кулак всю студию, заставлял ее не только говорить по-английски, но и имел нахальство присвоить себе роль судьи в ее родном языке! А тут еще Эмиль Яннингс, постоянно впадающий в ярость, хотя с ним носятся как с пасхальным яичком! "Нет, если приходится зарабатывать на жизнь подобным образом, тогда я ничего не хочу знать об этом", – обычно завершала Дитрих свой рассказ.

Лишь одна из этих бесконечных жалоб имела право на существование – совместная работа с Яннингсом. Он был абсолютно глух и слеп к проблемам других актеров и взирал с радостью на неопытность Дитрих. Как только сцена завершалась, Яннингс сразу становился по отношению к ней



Кадр из фильма "Голубой ангел".
Марлен Дитрих и Эмиль Яннингс.

грубым и пренебрежительным. Он даже пытался давать ей указания. Но я сразу пресек его попопозновения. Все это свидетельствовало о том, что нас ждут отнюдь не легкие времена.

На съемочной площадке Дитрих не спускала с меня глаз. Никакой реквизитор не мог быть более внимательным. Она уподобилась моей служанке. Первой замечала, если я начинал искать карандаш, и пододвигала мне стул, если я намеревался сесть. Она не выражала ни малейшего неудовольствия по поводу того, что я доминировал как режиссер, обнаруживая большую сообразительность и понимание того, о чем я говорил. Так что повторять ту или иную сцену нам приходилось в самых крайних случаях. Вероятно, я мало ее хвалил, поскольку не склонен к этому от природы.

Уже тогда я чувствовал, что присутствую при рождении новой "звезды". К слову, дирекция "УФА" этого не заметила, даже когда посмотрела готовый фильм. Потому она и не гарантировала Дитрих дальнейшей работы, хотя и подписала с ней контракт. Это была непростительная ошибка. Ведь существование любой киностудии зависит от того, сможет ли она найти перспективных актеров. Ничего не хочу сказать плохого о студии "УФА", которую возглавлял такой талантливый человек, как Эрих Поммер, однако в тот момент его мучили совсем другие проблемы. Например, чтобы фильм, снятый иностранцем, оказался понятен немецкой публике и в то же время не был слишком немецким. Сама идея, что немецкий профессор может бросить к ногам проститутки свою репутацию и карьеру, казалась нелепой. Внешний фасад немецкой гордости и немецкого благонравия дал трещину. Это заставляло предположить, что у публики фильм может спровоцировать бурю возмущения.

Такие опасения были отнюдь не беспочвенны, но позднее несколько ученых голов высказали предположение, что фильм дал верное отражение времени, в которое он появился. Например, Зигфрид Кракауер в своей книге "От Калигари до Гитлера" назвал "Голубого ангела" исследованием садизма, отметив, что "он властно проводит черту послевоенным традициям, знаменуя конец психологического паралича нации". Учеников гимназии, увивающихся за Лолой, он обозвал "молодыми гитлеровцами".

Здесь необходимо сказать, что большая часть действия является порождением моей собственной фантазии. Перед началом съемок я очень мало знал о Германии и ни разу не

встречал тех, кого называли "нацистами". Фильм был инспирирован книгой Генриха Манна, написанной в "старые добрые времена" начала века.

В Канне правитель Марокко спросил меня, почему во время съемок фильма "Марокко" я не нанес ему визит. Пришлось признаться, что я никогда не был в его стране, он мне не поверил, утверждая, что узнал на экране многие характерные места. В связи с другим моим фильмом – "Алая императрица" – я как-то спросил одного русского, похоже ли изображена его родина? "Нет, – ответил он, – но было бы неплохо, если бы она стала такой!" Так и женщина, которую я представил в "Голубом ангеле", существовала только на экране, не имея ничего общего с актрисой, которая ее играла.

Работая над фильмом, я не мог не заметить изменений, которые происходили с Дитрих. Хотя внешне ничего не изменилось, она уже чувствовала, что больше не является статисткой, мечущейся между берлинскими театрами. Например, она жаловалась всем и вся, что в рекламном проспекте речь идет только о режиссере и Эмиле Яннингсе, в то время как ее имя можно рассмотреть разве что в лупу. Ей казалось, что качество актерских решений напрямую связано с величиной имени на афише.

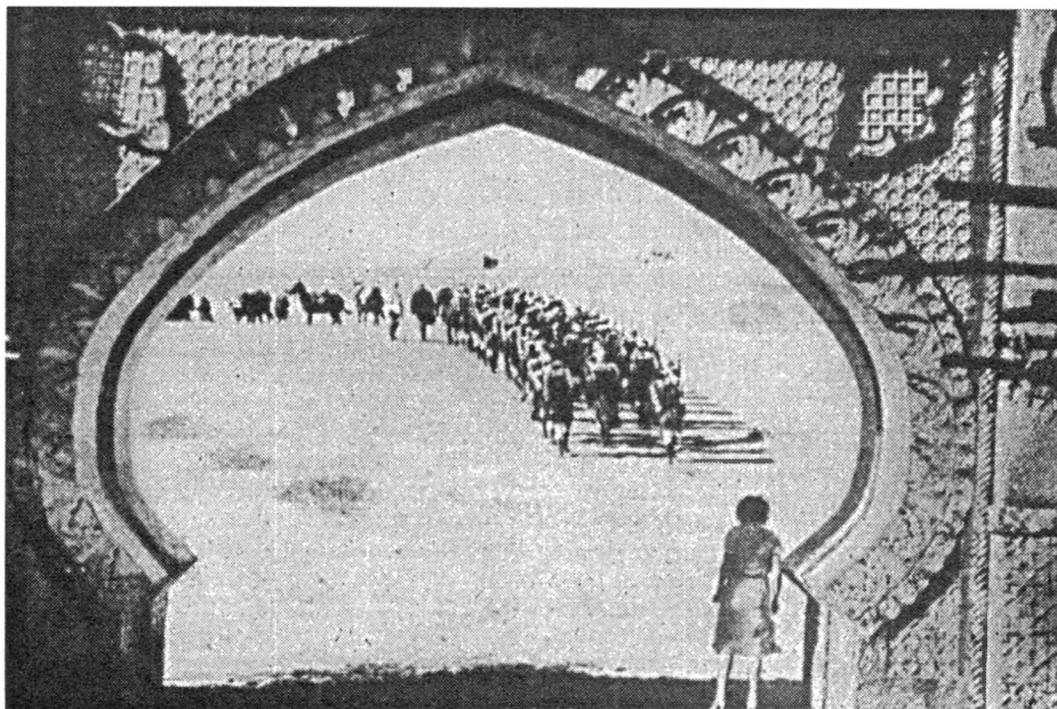
Считая, что "Голубой ангел" является наглядным свидетельством ее падения, фрау Дитрих, однако, не противилась тому, чтобы на эти руины полюбовалась немецкая публика. И, конечно, она не верила моим заверениям, что скоро будет более известной, чем все остальные актеры, занятые в фильме. Однако после окончания съемок она ценила себя куда больше, чем прежде. Во время приезда в Германию шефа "Парамаунта" Бена Шульберга я представил ему фрау Дитрих и попросил сразу по приезде в Голливуд сделать ей телеграфом предложение о сотрудничестве. Прочитав телеграмму, Дитрих тотчас сказала, что предложенная зарплата до смешного мала, и отказалась. Помнится, я был страшно возмущен и, посмотрев на часы, заявил, что у нее есть ровно пять минут, чтобы решить, нужен ей Голливуд или нет. Вместо ответа она сорвала мои часы с руки и швырнула их на пол. Позднее Дитрих полностью отрицала этот неприятный инцидент. Я не отрицаю своей вины. Пять минут слишком маленький срок, чтобы решиться на разрыв с родиной, семьей, друзьями и родным языком. На следующее утро молодая леди принесла мне в бюро букет мимоз. Вскоре после этого я покинул Германию и вернулся в Калифорнию, даже не надеясь увидеть свою героиню еще раз.

Итак, на корабле "Бремен" я возвращался в Америку. Стоящий рядом со мной ассистент сказал, глядя на удаляющийся берег: "Я рад, что все закончилось. Надеюсь, что мы уже никогда не вернемся назад". Пожалуй, эта фраза была самым сильным воспоминанием, оставшимся в памяти от того времени. Хотя обычно вспоминаешь то, что хочешь вспомнить.

1 апреля 1930 года "Голубой ангел" был впервые представлен берлинской публике. Благодаря Эриху Поммеру ни один кадр не был вырезан. Случайно или нет, но в вечер премьеры Марлен Дитрих отплывала в Америку. Она, наконец, решилась принять предложение "Парамаунта". Кинотеатр "Глория-палас" располагался неподалеку от вокзала. Поезд уходил в полночь, и Марлен Дитрих задержалась в зале до конца фильма, чтобы раскланяться перед зрителями. Рад сообщить, что ей не пришлось тайком пробираться к выходу. Нет! Она прошествовала гордо, как и положено кинозвезде! Публика наградила ее громкими аплодисментами. Так началось восхождение Марлен Дитрих к славе.

Мои сотрудники подробно информировали меня, как реагировала на "Голубого ангела" публика и критика. Пришла телеграмма и от Марлен Дитрих. Но в ней стояла только одна фраза: "Кто мой партнер?" Речь шла о ее первом голливудском фильме. Я ответил, что выбор пал на Гэри Купера, но руки чесались написать совсем другие слова. Понимал ли я всю меру ответственности, ложащуюся на меня? Как говорится в одной старой книге, кто ручается за чужака, может поплатиться за это своей головой. А Марлен Дитрих была в Америке чужой, потому что ни один человек за пределами Германии еще не видел "Голубого ангела". Сразу по приезде Дитрих в Голливуд мы начали работу над фильмом "Марокко". Любопытна история его возникновения. Когда я возвращался в Америку, то еще не знал, что в скором времени за мной последует и Дитрих. Впрочем, она сама этого не знала и на прощание послала на корабль подарочную корзину, в которой наряду со всякими вкусными вещами я нашел книгу Бенно Виньи "Эми Джолли". В ней шла речь об иностранном легионе,





Кадр из фильма "Марокко"

и из нее я узнал, что среди легионеров было немало женщин, которые ухаживали за ранеными, сопровождая их в походах. Как и мужчины, они сохраняли инкогнито.

После того как Марлен узнала, что книге суждено стать основой ее первого американского фильма, она попросила найти более подходящий материал, ибо "Эми Джолли" – это только слабенький лимонад". Что касается художественных достоинств книги, то меня этот аспект интересовал мало. Я искал материал, легко переводимый в образы и не сводящийся к бесконечным разговорам. Возможность активизировать притягательную силу кино, сделав его понятным даже тем народам, чей словарь ограничивается пятьюстами словами, – вот что самое захватывающее в профессии режиссера. Мой выбор определялся и чисто практическими соображениями. Я заранее содрогался, представляя, какие звуки будут исходить из уст моей немецкой Афродиты, когда она начнет смертельную борьбу с чужим языком. Ее французский был вполне сносным, однако английский нуждался в серьезной шлифовке, являя контраст волшебному очарованию ее внешности. Американские комики Уэбер и Филдс сколотили целое состояние, выступая с пародиями на немцев, пытающихся изъясняться по-английски. Надеяться, что моя героиня начнет говорить без акцента, не приходилось, в чем я мог убедиться, когда записывалась английская версия "Голубого ангела". Самым разумным было бы подождать, когда она полностью преодолет этот недостаток, однако я решил сразу поручить ей главную роль.

Чтобы уберечь Дитрих от неизбежных атак журналистов, я сам организовал обед, на который пригласил представителей некоторых журналов. Одна из этих каракатиц ополчилась против меня, вылив на мою персону все свои чернила. В частности, в ее статье были такие строки: "По окончании обеда фон Штернберг заявил, что у мисс Дитрих есть то, что отсутствует у большинства женщин, а именно – головка". Но я не мог говорить такую чушь, потому что не знаю женщин, способных обходиться без этой части женской анатомии. Поскольку во время пресс-конференции моя протезе хранила загадочное молчание, все набросились на меня. Дитрих была представлена публике как "миленькая немецкая домохозяйка", я же – как тиран и подлец, который всячески препятствовал ее появлению

на публике. Но в то время мне было не до нападок журналистов, поскольку я был по горло занят подготовкой к съемкам "Марокко".

Пустынный пейзаж Сахары, описанный в сценарии, был найден в Калифорнии. Туда мы и отправились пыльной дорогой, чтобы определить место, где будут поставлены хижины, покрытые пальмовыми листьями. Существенной частью декорации стал забор, украшенный парочкой черепов. Все было подготовлено к приходу легионеров, и мы могли заняться гардеробом главной исполнительницы. Чтобы задать правильные рамки ее образу, я решил использовать костюм, увиденный мною на певице в одном берлинском притоне, – фрак, цилиндр и все прочие аксессуары. В этом костюме моя героиня должна была появиться в кафе. Она поет французскую песню, прогуливаясь между столиками, потом замечает женщину и наклоняется к ней, чтобы подарить поцелуй. Я был уверен, что мужская одежда подчеркнет очарование этой сцены, но вовсе не стремился поставить лесбийский акцент. Из-за цензуры игра с сексуальными символами находилась под запретом. Мне хотелось показать, что чувственное возбуждение, исходящее от Дитрих, основывается не только на ее классической красоте. Принимая это решение, я и не предвидел, какой толчок развитию моды оно даст. Как только фильм вышел на экраны, многие женщины преисполнились мужества примерить на себя нижнюю часть мужского гардероба.

В трейлере, который был построен по моему заказу, все желающие могли сделать фотографии нашей "звезды", облаченной в белый фрак. Шквал возмущения креп и расширялся. Боссы "Парамаунта" старались изо всех сил, чтобы их жены не носили ничего, кроме юбок. Один из них даже придумал шутку, что мол брюки, в отличие от юбки, нельзя "приподнять". Это дало толчок дискуссии, длящейся часами, однако я отказался принимать в ней участие, поскольку был занят фильмом.

После того как был решен вопрос с костюмами, мы сосредоточились на актерах. По поводу Гэри Купера существовало мнение, что фильма он не испортит. А вот кандидатура Адольфа Менджу рассматривалась как весьма рискованная; впрочем, вскоре все вспомнили, что судьба фильма зависит главным образом от неизвестной актрисы, прибывшей из Европы.

Начало съемок не сулило ничего хорошего. По сценарию, первая сцена разыгрывалась на палубе маленького корабля, приближающегося к северному побережью Африки. На ней появляется загадочная женщина, которая так пристально всматривается в ночную темноту, словно пытается рассмотреть там свое будущее. На самом деле она силится прочитать табличку, на которой мелом начертано "Северная Африка". Месье Менджу, играющий путешественника, отделяется от пестрой толпы арабов и направляется к женщине, перегнувшей через поручни. Сняв шляпу, он сообщает кое-какие географические сведения, завершая свою тираду любезным предложением оказать помощь.

Все шло достаточно гладко. По сценарию, наша загадочная героиня оглядывает с ног до головы случайного попутчика и отклоняет заманчивое предложение, говоря, что не нуждается в помощи. Она произносит одну-единственную фразу: "Я не нуждаюсь в помощи". Но далась эта фраза нелегко. Первым испытал беспокойство наш звукооператор. Он был похож на рыбу, выброшенную на берег, когда услышал фразу в наушниках. Мне пришлось покинуть свое место за камерой и объяснить, как произносится слово "help". Мы пробовали так и эдак, но ничего не получалось. К этому времени студия напоминала пчелиный улей. Курьеры из разных подразделений "Парамаунта" осаждали павильон, но мы ничем не могли их порадовать. Кое-кто предлагал отснять сцену, а потом озвучить ее в тонстудии. Эта процедура была вполне обычным явлением, но в данном случае она не подходила, поскольку на следующее утро я должен был показать сцену боссам "Парамаунта". Они имели обыкновение ежедневно просматривать отснятый накануне материал. Появилась угроза, что они могут захлопнуть дверь перед носом дамы из Германии. Так что речь шла не об отдельной сцене, а о судьбе всего фильма.

Я уже не стремился к совершенству, а решил ограничиться тем, чтобы фраза звучала более или менее сносно. Может показаться нелепостью, что из-за одного-единственного слова могла разрушиться карьера очаровательной женщины. Увы, это было так! Помимо всего прочего, на карту была поставлена моя репутация как режиссера. Марлен Дитрих



...Она произносит единственную фразу: "Я не нуждаюсь в вашей помощи".

изо всех сил старалась побороть фатальное слово. Я даже попросил Адольфа Менджу сказать ей его прямо в ухо. Но уста Марлен Дитрих произносили нечто прямо противоположное тому, что слышали уши. Час шел за часом. Менджу, сославшись на головную боль, покинул площадку. И тут, как молния, меня поразила простая мысль. Я попросил юную леди забыть обо всех тонкостях английского произношения и сказать это слово на немецкий лад. Сцена была отснята. Корабль по имени "Марлен" отправился в плавание. В этот черный день моей репутации самого профессионального режиссера Голливуда был нанесен ощутимый удар.

Здесь я должен сказать несколько слов о фирме "Парамаунт". Я был ее служащим и не мог действовать независимо. Однако руководители студии смотрели спокойно на то, что я вытанцовывался из общего ряда. Это под моим напором "Парамаунт" заключил контракт с актрисой, поверив, что она имеет все данные стать международной "звездой". И она ею стала. Этому в немалой степени способствовали кинокритики, посвящавшие Марлен целые полосы своих изданий. Необыкновенной популярностью пользовались фотографии Марлен. Многие мужчины не думали ни о чем ином, кроме как положить к ее ногам все свое состояние. Знаменитости искали встреч с ней, чтобы сфотографироваться вместе, и на всех углах пели ей хвалу. Круг ее знакомств существенно расширился за счет известных писателей и властителей дум времени. Герцоги, генералы и высшие чиновники наперебой приглашали ее отобедать. В одной книге можно было прочесть такое высказывание: "Ее ум сравним с умом таких выдающихся деятелей, как Наполеон, Цезарь, Муссолини и Ленин".

Однако на студии ее положение виделось совсем иначе. Здесь не было горячих поклонников, а только бесстрастный глаз камеры. Самая большая похвала ограничивалась фразой: "Так, хорошо, пойдет". Но чаще всего ей приходилось слышать: "Да разверни ты плечи и стой, не шевелись!", "Говори на октаву ниже и не сюсюкай!", "Оставайся там, где стоишь!", "Тебя не касается, что делают осветители!"

Ну как могла "звезда", привыкшая к неумеренным похвалам, спокойно переносить подобное отношение, тем более что выражалось оно отнюдь не тайно, а на глазах у всей студии. Однако нужно было сделать только один шаг и пересечь порог павильона, чтобы оказаться среди славящих ее журналстов. При таких экстремально противоположных ситуациях довольно трудно сохранять внутреннее равновесие. Марлен Дитрих любила публично повествовать о своих мучениях, но делала это отнюдь не для того, чтобы обвинять. С поразительным инстинктом самосохранения она использовала все факты себе на пользу, стилизовавшись под мученицу, которой сам Бог послал все эти испытания. Каждому, кто хотел слушать, она рассказывала, что по моему приказанию несколько часов бегала по горячему песку пустыни, пока не упала бездыханной к моим ногам. Едва оправившись от обморока, она тотчас спросила меня, не хочу ли я снять еще несколько крупных планов. А я, тиран, не нашел ничего лучшего, как пенять на ее неправильное английское произношение. Все это излагалось отнюдь не для того, чтобы оповестить, как плохо я с ней общался. Нет, как раз наоборот, все это звучало в ее устах как похвала. "Он продолжал шлифовать мой английский, даже когда я лежала в обмороке," – с восторженной улыбкой возвещала она. Вначале Марлен предпринимала эти маневры чисто инстинктивно, из чувства самосохранения, но вскоре заметила, что своим поведением вызывает еще большее восхищение окружающих. Никто не смог бы упрекнуть ее в отсутствии благодарности. Чертовски горячий водопад похвал продолжал низвергаться на меня ежедневно, грозя серьезными ожогами. Марлен никогда не обвиняла меня прямо, но тщательно вуалировала свои претензии. Я оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны – неумеренные похвалы, с другой – громкая хула. По мере того как голос обворожительной женщины пел хвалу своему режиссеру, со стороны критиков крепили стенания и проклятья. Если она говорила: "Да что я, бедная, могу! Это все он. Посмотрите, как великолепна эта сцена!" – тотчас со стороны писак следовал ответный удар. Журналы посвящали моей персоне целые страницы, не говоря о карикатурах, которым не было числа. Возможно, когда-то я и допустил какую-то оплошность, но теперь это все направлялось против меня.

Вскоре мы приступили к съемкам третьего фильма с участием Марлен. В нем шла речь о даме продажной любви, которая вовлекается в деятельность некой преступной организации. Сценарий назывался "X 27", однако боссы "Парамаунта" дали ему название "Обещанная". На мой протест, что дама будет по сюжету расстреляна, а не обещана,

Кадр из фильма "Обещанная".





На съемках фильма "Обесчещенная" с режиссером Джозефом фон Штернбергом

как легкую разминку для пальцев. Когда Марлен вернулась из Европы, где ее принимали как живую легенду, я как раз завершил свою работу. Марлен изменилась, и это не могло укрыться от моих глаз. Однако для меня она оставалась обычной женщиной, а не легендой. Тогда мне впервые пришла в голову мысль подвести черту под нашими отношениями. Что тут началось! Марлен заявила, что я не могу так поступить, потому что сам увлек ее на эту дорожку, привезя в Америку. И вообще, заявила она, я заботился только о собственной славе, после чего она отказалась сотрудничать с другими режиссерами. "Парамаунт", в штате которого мы состояли, принял ее сторону. Шеф "Парамаунта" просто рухнул передо мной на колени, умоляя не создавать трудностей для такой привлекательной актрисы, которая может просто перебежать в другую фирму. И я дал задний ход, потому что никому не хотел вредить, особенно женщине, за которую всегда чувствовал ответственность.

В одной весьма педантичной "Истории кино", написанной двумя учеными французами М. Бардешем и Р. Бразийяком, мой вклад в киноискусство характеризуется следующим образом: "Затем последовал ряд фильмов, один глупее другого, в которых Марлен Дитрих, этот роскошный экземпляр женщины, была низведена до уровня перьев из боа и драгоценностей. Режиссер ругается и сквернословит, попирая все устои. Он клянется, что больше не будет сотрудничать с этим сатанинским отродьем, но постоянно возвращается к ней. Однако его способность создавать хорошие фильмы, кажется, утрачена на веки вечные".

Приведенная цитата по поводу моей работы с этой необычной женщиной является весьма красноречивым примером. Подобные утверждения встречаются и в книгах, по которым в университетах изучается мастерство кинорежиссера. Хотя мои фильмы показываются в фильмотеках по всему миру, это не мешает критикам продолжать повторять свои инвективы.

После возвращения Марлен из Европы я приступил к съемкам ленты "Шанхайский экспресс", рассказывающей о путешествии из Пекина в Шанхай. Конечно, наш Китай был создан из папье-маше в одном из голливудских павильонов, и я, по своему обыкновению, больше руководствовался собственной фантазией, нежели реальной действительностью Китая, в котором никогда не бывал. В паровозном депо Санта-Фе мы взяли напрокат

они не обратили внимания. Вновь моя божественная исполнительница, провозглашенная к этому времени единственной королевой кино, получила многочисленные похвалы за свою игру. А ее режиссер довольствовался издевками и хулой. Фильм содержал несколько экспериментов с оптическими и акустическими эффектами. Наш звукооператор даже был удостоен премии "Оскар". На деле же он делал все, чтобы этот эксперимент не состоялся. Расстрел шпионки мы снимали в большом ангаре. Поскольку там был большой резонанс, наш звукооператор снял с себя всякую ответственность за съемки.

Вскоре после этого наша "звезда" отправилась в Европу, чтобы отдохнуть там душой и набраться свежих впечатлений. Я же приступил к съемкам "Американской трагедии", которую рассматривал



Кадр из фильма "Белокурая Венера"

поезд, покрасили в белый цвет и еще прицепили к нему бронированный вагон, охраняемый солдатами с деревянными ружьями. Чтобы показать, каких усилий стоили нам съемки, расскажу такую подробность. Мы долго искали корову, которая должна была произвести на свет теленка как раз в момент съемок одной важной сцены. Теленок появился у лежащей на путях коровы точно тогда, когда на всех парах к ним приближался поезд. Все получилось как нельзя лучше, что и зафиксировала наша камера. Животных бывает легче приручить, чем людей. А вот критики продолжали тянуть свою песню. Например, они дружно упрекали меня за то, что я заставил Шанхайскую Лили показывать ноги. В журнале "Вэни Фэйр", этом рупоре интеллигенции, мне был вынесен такой приговор: "Его прямолинейный стиль сводится к тому, чтобы показывать шелковые чулки и нижнее белье мисс Дитрих, что превращает ее в обычную проститутку. Сам Штернберг характеризует себя как созерцателя. Но вместо того чтобы сосредоточиться на пупке Будды, он, кажется, не может разорвать пуповину, связывающую его с пупком Венеры".

И товарищ Эйзенштейн не упустил возможности ввязаться в эту свару, назвав "Шанхайский экспресс" детским подражанием русским фильмам. В этом злобном хоре, однако, прозвучало и несколько добрых голосов. Например, Эйн Рэнд призналась, что ей редко приходилось испытывать такие чувства, какие вызвал в ней образ М. Дитрих, сидящей на задней платформе поезда. Ветер играет мехом ее воротника, создавая особое состояние грусти и меланхолии. А вот что писал Уильям Фицджеральд: "Если Штернберг не направляет камеру на ноги своей героини, тогда он показывает, как прекрасны ее руки. Особо отчетливо это понимаешь в сцене, где героиня в сумерках молится богу".

В качестве сценария я использовал повесть Гарри Харвея о поезде, на который нападают бандиты. Китайцы увидели в моей истории попрание законов их страны и сделали все, чтобы запретить фильм к показу. Меня же они пообещали арестовать, как только я ступлю на китайскую землю. Пару лет спустя мне довелось посетить эту необычную страну. И что же? Как только поезд пересек манчжурскую границу, на него напали бандиты!

Конечно, Шанхайский экспресс, в котором я путешествовал по Китаю, очень отличался от поезда в моем фильме. Одно было общим – отряд вооруженных солдат, из соображений безопасности сопровождающий пассажиров. И я был очень рад, что сумел правильно воспроизвести реальность страны, в которой прежде не бывал.

Мир фантазии все больше захватывал меня. Сценарий своего пятого фильма с участием Дитрих "Белокурая Венера" я написал сам, чтобы избавиться от слезливых историй, находящихся в портфеле студии. На долю фильма выпало немало язвительных упреков. Так, один критик сравнил его с "дельфийским оракулом, который взгромоздился на пьедестал, чтобы высказать свое мнение о ... погоде". Уже в начале съемок "Белокурой Венеры" я порывался покинуть "Парамаунт". Однако Дитрих наотрез отказалась сниматься у других режиссеров. В связи с этими событиями вспоминается один эпизод, который произошел со мной пару лет спустя. В компании с одним интересным спутником мы ехали в автомобиле по Франции. Сделав остановку в придорожном ресторанчике, мы ели жареного гуся, запивая его божолем. Закончив обед, мой спутник сказал: "Знаешь, мне понадобилось пять лет, чтобы понять фразу, которую ты мне сказал, когда я у тебя снимался". Моим спутником был Кэри Грант. А сказал я ему, что нужно освободиться от опеки Мэй Уэст и самому сделать карьеру кинозвезды. Ему понадобилось целых пять лет, чтобы понять суждение другого человека!

Когда "Белокурая Венера" была закончена, я уговорил Марлен поработать с другим режиссером. Пока я находился в отпуске, она снялась в "Песне песней" Р. Мамуляна. Самого фильма я не видел, зато имел возможность полюбоваться на статую, которая представляла Марлен Дитрих обнаженной.

Вскоре я вернулся в Америку и подписал контракт на постановку еще двух картин с участием Марлен. Фильмом "Алая императрица" лично я был удовлетворен полностью. Однако критики, по обыкновению, придерживались совсем другого мнения. В ней видели очередную попытку удушения такой грандиозной актрисы. Согласен, что "Алая императрица" была для меня упражнением в мастерстве. Стиль, который всеми другими искусствами почитается как необходимость, в нашей сфере расценивается как нечто непростительное. Приступая к съемкам, я как бы заново создавал Россию периода правления Екатерины Великой и вовсе не хотел, чтобы история превращения юной принцессы в циничную императрицу оказалась скучной. Мне нравилось экспериментировать и фантазировать на материале той исторической реальности, которую показывал фильм. Карета с императрицей несется по заснеженной дороге. Рука бросает в окно медальон неверного любовника. Он летит в сторону запыленного снегом дерева, затем медленно скользит от одной ветки к другой и на секунду замирает в воздухе, прежде чем упасть в сугроб. Критики отмечали, что каждая сцена фильма несет на себе печать моей индивидуальности.

Я расхрабрился настолько, что даже решил сам дирижировать музыкантами Лос-Анджелесского симфонического оркестра, когда началась запись музыки. Однажды мне показалось, что скрипач играет не то. Я спросил его, что стоит в партитуре. Он ответил: "Пауза". И я потребовал, чтобы он ее соблюдал. Пресса ликовала. Наконец, я обнаружил свой нрав, вмешиваясь в сферу, о которой не имел ни малейшего понятия. Я даже написал небольшую мелодию для скрипки, которая звучала в одном из самых ответственных эпизодов. Все компоненты фильма, включая картины, скульптуру, костюмы, движение камеры и даже жесты исполнителей, подвергались моему тщательному контролю. Только самая первая сцена была позаимствована из другого фильма. Она показывает огромную толпу русских, которые идут мимо царского дворца и кричат здравницу в честь рождения наследника трона. Ее я взял из картины Эрнста Любича "Патриот", полагая, что ради такой короткой сцены не стоит собирать огромную массовку. Эрнст Любич на просмотре не удержался от того, чтобы попенять мне на излишества, забыв, что снял ее сам. Этот упрек породил лавину подобных сетований.

Любич был художественным руководителем "Парамаунта" и чувствовал ответственность за работу других режиссеров. Возможно, этим и объяснялась его короткая память.

Я не любил транжирить деньги и не позволял этого своим сотрудникам. В "Алой императрице" была деталь, которая привлекла всеобщее внимание, – угрожающий перезвон кремлевских колоколов. Чтобы записать их, нам не нужно было посещать Москву. Мы взяли маленький серебряный колокольчик и потом с помощью различных технических ухищрений превратили его звон в мощное звучание церковных колоколов. Одним словом, мы немало потрудились, чтобы наша исполнительница получила в "Алой императрице"

достойное обрамление. И, как мне известно, этот фильм до сих пор остается ее любимой картиной.

Продюсеры и режиссеры сгорали от нетерпения, ожидая, когда они смогут заполучить в свои руки Марлен Дитрих. Каждый хотел показать, что можно сделать с такой актрисой. Однако это случилось уже после ленты "Дьявол — это женщина". Джон Дос Пассос был моим соавтором. Однако болезнь не позволила ему приступить к работе. Так что партия с самого начала казалась проигрышной, и все же я рискнул еще раз встретиться на площадке с моей актрисой. Одновременно фильм должен был стать объяснением в любви к Испании и ее обычаям. С точностью счетной машины я монтировал одну сцену с другой и так увлекся, что, возможно, забыл о публике. Ко множеству привычных режиссерских забот прибавилась еще одна — управление камерой. Сам я хотел назвать фильм "Испанским каприччио", но Эрнст Любич, которого поддержала вся студия, воспротивился. В съемки он не вмешивался, но всегда стремился оставить на чужом фильме свою отметину. В данном случае ею оказалась название "Дьявол — это женщина", придавшее действию ненужный акцент. Наверно, Любичу оно представлялось поэтичным, но получилось наоборот.



Кадр из фильма "Дьявол — это женщина"

Фильм был принят в штыки испанским правительством, и оно через своих дипломатов пыталось добиться его запрета и изъятия из мирового проката. В качестве главного обвинения выдвигалось якобы неправильное изображение гражданской гвардии. Для меня это явилось полной неожиданностью. "Парамаунту" не удалось устоять перед натиском испанской дипломатии. Фильм был запрещен. Его премьера состоялась лишь в 1959 году на фестивале в Венеции. В 1961 году ограниченное число копий было передано в мировой прокат. Любопытно, что как раз в то время, когда была реабилитирована моя картина, подверглась запрету "Виридиана" Бунюэля, хотя этот фильм может составить честь кинематографу любой страны.

Хотя за рамками "Парамаунта" фильма никто не видел, о его создании рассказывалось много различных историй. Вот одна из них. Осветитель должен был по моему приказу развернуть большой прожектор. Трос порвался, и вся громада рухнула на пол павильона. Проворный статист, едва оправившись от испуга, крикнул осветителям: "Эй, вы, будьте повнимательнее! Я вам не Штернберг!"

На этих съемках я отказался от прогулочной трости, благодаря которой нажил себе немало врагов, и вместо нее обзавелся краскораспылителем и пневматическим ружьем. Распылитель был нужен для того, чтобы все зеленое и темное сделать серебристым. Это

означало экономию времени, потому что легче высветлить предметы краской, чем светом. А с помощью пневматического ружья я намеревался продырявить воздушный баллон, поднятый в воздух, и таким образом сигнализировать об окончании съемок.

Хотя всем было ясно, почему я использовал краскораспылитель, не все понимали, почему я управляю камерой только левой рукой. Правая была нужна, чтобы в конце каждой сцены стрелять в баллон.

Те немногие зрители, которые видели фильм "Дьявол – это женщина", возможно, помнят, как Конча – так зовут героиню Марлен Дитрих – впервые появляется на экране. Она стоит в повозке, запряженной лошадьми, которая прокладывает путь через пеструю карнавальную толпу. Лицо Кончи скрыто за букетом и связкой воздушных шаров. Чтобы привлечь ее внимание, один из участников карнавала стреляет по шару из рогатки. Когда Марлен пришла на студию, и я объяснил ей значение сцены, она выслушала не моргнув глазом. А ведь речь шла о том, чтобы стрелять по баллону, который должен двигаться туда-сюда перед ее лицом. Когда сцена была отснята, я прицелился и расстрелял из своего пневматического ружья все воздушные шары, и открылось одно из самых волшебных лиц в истории кино. Марлен перенесла эту процедуру с лучезарной улыбкой, не показав и следа нервозности. Любая другая актриса тряслась бы от страха, но только не эта необычайная женщина.

Едва фильм был завершен, по всему миру разнесся клич, что пора освободить Марлен Дитрих из моих железных когтей, иначе процесс деградации обретет необратимый характер. Впрочем, деградация совсем не то слово, которым следовало бы определить наше сотрудничество. Когда мы встретились в первый раз, она зарабатывала меньше каменщика. И если бы осталась в Германии, то разделила бы печальную судьбу многих своих соотечественников.

Мне рассказывали, что на съемках фильма, снятого уже после нашего разрыва, Марлен говорила в микрофон так, чтобы слышали боссы студии: "Где ты, Джо!" Возможно, она разозлится, когда прочтет эти строки и вспомнит, как часто мы ссорились без всякой причины.

После того как фильм "Дьявол – это женщина" был смонтирован, я сел в самолет на Гавайи. Там непрерывно происходили революции; но меня это не волновало. Надо было привыкать гулять в одиночестве. Время кабалы осталось позади, и никому, кроме меня, оно не нанесло никакого урона.

Штернберг, Джозеф фон (1894 – 1969) – американский режиссер и сценарист. Родился в Австрии. Вместе с родителями эмигрировал в США. Поступил работать на киностудию, выполняя функции монтажера и сценариста. Как режиссер дебютировал в 1925 году картиной "Охотники за спасением". Широкую международную известность принесли ему фильмы с участием Марлен Дитрих, в которых Штернберг сумел полностью реализовать свою достаточно оригинальную изобразительную концепцию. После разрыва с "Парамаунтом" сотрудничал с другими голливудскими студиями, сняв в общей сложности девять фильмов, в том числе экранизацию романа Достоевского "Преступление и наказание" (1935), оперетту "Сиси" (1936), документальную ленту "Город" (1943) и японскую "Сагу о Анатаане" (1953). Однако они не имели того художественного резонанса, как фильмы с Дитрих. В 1960 году сопровождал ее в трудном концертном турне по Германии. В 1963 году стал доцентом на кафедре кино в Калифорнийском университете. Скончался от сердечного приступа.

Очерк о Марлен Дитрих опубликован в автобиографической книге фон Штернберга "Забавы в китайской прачечной". Печатается с сокращениями.

Перевод Гарены Красновой



Азбука моей жизни

В

VIA APPIA. Вступая на эту старую дорогу, ведущую из Рима в Капуа, чувствуешь себя захватчиком, исполненным робости и почтения перед святыней. Она действительно красива и выразительна, эта старая римская дорога, о которой было написано столько возвышенных слов!

ВИНО (WEIN) Больше всего люблю обычное, дешевое вино, которое французы пьют вместо воды. В войну рационировалось. Однако военнотружущие и моряки продолжали получать свою обычную порцию.

ВИСКОНТИ, Лукино (Visconti L.). Он околдовывает, покоряет, подчиняет себе, даже не шевельнув пальцем.

ВИТАМИНЫ (Vitamine). Раньше содержались в пище. Однако эти времена ушли в прошлое. Теперь витамины глотают как таблетки и капсулы.

ВЛАЧИТЬ ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ (Vegetieren). Многие привержены этому образу жизни.

ВОДКА (Wodka). Значительная часть моей юности прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку, один из самых здоровых алкогольных напитков. Когда в самом конце Второй мировой войны американские солдаты встретились с русскими, я отпраздновала эту встречу чистой русской водкой.

ВОДОЛЕЙ (Wassermann). Мужчинам, рожденным под этим знаком, часто грозит непонимание со стороны их окружения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ (Rückkehr) в солнечные луга и на игровые площадки юности часто окрашено грустью. Поскольку юность вернуть нельзя, взгляд, брошенный на эти места, скорее меланхоличен, чем оптимистичен.

ВОЗРАСТ (Alter). Мы все печалимся об ушедшей молодости, как только теряем ее. Хвалена мудрость, приходящая с годами, — увы! — здесь не помощник.

ВОЙНА (Krieg). Кто не был на войне, не имеет права говорить о ней.

ВОПРОСЫ (Fragen). Если они носят сугубо личный характер, то не должны задаваться.

ВРАЧ (Mediziner). Если кто-то решил купить автомобиль или холодильник, он основательно изучает все марки, прежде чем заключит сделку. С такой же заботой следует выбирать врачей, прежде чем доверить им свою жизнь.

ВРЕМЕНА ГОДА (Jahreszeiten). Необходимые и желанные, они отсутствуют в Калифорнии.

ВРЕМЯ (Zeiten). Могу сказать со всей определенностью, что мне выпало жить в плохие времена.

ВЫДЕРЖКА (Ausdauer). Идеалы — лучшая питательная среда для выдержки и сопротивления.

ВЫИГРЫШ (Jack pot). Слабака и сорви-голову, гения и посредственность — всех их связывает крик радости, когда они выигрывают Jack pot.

ВЫСОКОМЕРИЕ (Arroganz). Многие люди его заслужили.

Г

ГАДКИЙ УТЕНОК (Hassliches Eutlein). Счастлив только гадкий утенок. У него есть время подумать в одиночестве над смыслом жизни, дружбы, почитать книгу, оказать помощь другим людям. Так он становится лебедем. Только нужно терпение!

ГАЗЕТНЫЕ ВЫРЕЗКИ (Zeitungsauschnitte). Только чудаки собирают их.

ГАЛСТУКИ (Krawatten). Если мужчине нравятся пестрые галстуки и он чувствует себя комфортно, то может продолжать их носить. Но если он предпочитает строгие тона к пестрым лучше обращаться в праздники или во время посещения родительского дома в день матери: Жена только может давать советы, но выбор галстука остается за мужчиной.

ГАМАК (Hängematte). Символ покоя, этакое висящее в саду "Прошу не беспокоить!"

ГАМБУРГЕР (Hamburger). Легко готовится, быстро съедается, подается в каждом американском ресторане и не имеет ничего общего с городом Гамбург.

ГАМСУН, Кнут (Hamsun, Knut). Моя первая литературная любовь. До сих пор восхищаюсь его простым стилем, отсутствием прилагательных, поэтическими повторами.

ГАРДНЕР, (Gardner, Erle Stanley). Во время войны его книги стали духовной опорой для тех, чьи тела состояли из одних только ран.

ГАРМОНИЯ (Harmonie). Я нуждаюсь в ней больше, чем в еде, питье и сне.

ГЕЙНЕ, Генрих (Heine, Heinrich). Его стихи – романтические, чувственные, добренные сладкой проницей. Его жизнь – добровольное изгнание во Францию. Вот основание для постаментов, на котором он стоит.

ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ (General de Gaulle). Персонализация моих убеждений и принципов. Он сделал меня своей поклонницей в ту июньскую ночь 1940 года, когда я услышала его великую, ни с чем не сравнимую речь. Все, что он с тех пор делал или говорил, я бы никогда не отважилась критиковать. Такой человек не мог сделать ничего неправильного.

ГЕРМАНИЯ (Deutschland). Слезы, которыми я ее оплакивала, высохли.

ГЕТЕ (Goethe). Мой идол. В годы юности я находила у него ответы на все вопросы. Он дал мне мужество во всем доходить до конца. Любовь была для него светлым чувством, свободным от всякой гордости. Я не только училась у него правилам жизни, но и сделала их своими собственными. Вот несколько особо значимых заповедей Гете.

"Деятельный человек должен исходить из того, что он делает это по праву, и тогда ему не о чем беспокоиться."

"Нет ничего страшнее, чем активное невежество".

"Совершенство – норма небес, и оно хочет стать нормой для человека".

ГИБКОСТЬ (Geschmeidigkeit). Теряется с возрастом, и это одна из причин, почему молодежи трудно наладить контакт с пожилыми людьми. Закостенелость мысли свойственна не только старости, но она усиливается с возрастом. Старые люди осознают окостенелость своего тела, но отнюдь не духа.

ГЛАЗА (Augen). Люблю светлые глаза. Как чудесно наблюдать по ним изменения настроений и чувств.

ГЛЕЙМОР (Glamour). Как бы мне хотелось расшифровать значение этого слова!

ГОЛЛАНДИЯ (Holland). Все уютно.

ГОЛЛИВУД (Hollywood). Когда я приехала в Голливуд, великая эра немого кино уже закончилась. Его обитатели не казались "ни веселыми, ни легкомысленными". Киностудии использовали методы работы, распространенные на промышленных предприятиях. Никто не было являться к контрольному часу и не прогуливать. Так продолжалось до конца 30-х годов. Потом я вступила в американскую армию и покинула столицу американского кино. Сегодня в самом Голливуде снимают уже не так уж много фильмов. И в знаменитой деревне живут в основном актеры кино и телевидения.

ГОЛОСА (Stimme). Если бы прекрасные голоса продавались в супермаркетах, у них бы нашлось немало покупателей. Жаль, что до этого еще не додумались.

ГОРДОСТЬ (Stolz). В любви гордость более опасна для женщин, чем для мужчин. Если нужно спасти положение, мужчина забывает о своей гордости легче и быстрее.

ГОРЕ (Kummer). Очень личное переживание.

ГОРОДА (Städte). Уверена, что любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не непосредственно самим городом.

ГОРНОСТАЙ (Hermelin). Сегодня белый горноста́й не в моде. Этот элегантный мех, из которого шьют жакеты для выхода вечером, красят в черный цвет. Выглядит значительно дороже, чем есть на самом деле.

ГОРОСКОП (Horoskop). Скептики, имейте терпение! Советую всем родителям сделать гороскопы своих детей. Нет иного пути узнать черты их характера. Нельзя же ждать, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы объяснить все самим. Знание, полученное благодаря гороскопу, помогает в образовании. Узнаешь, где и какое влияние должно быть использовано, какими слабостями и талантами природа наделила человека, т. е. преисполняешься мужества вывести детей на определенный путь. С другой стороны, обращаешь внимание на черты характера, которые нуждаются в исправлении. В многодетных семьях гороскоп помогает

Галерея "Дом Нащокина"

при журнале "Киносценарии"
приглашает читателей

на первую после эмиграции выставку работ художника

Олега Целкова

в Москве.

Выставка будет проходить в ноябре с.г. в помещении галереи
по адресу редакции:

103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12

По вопросам приобретения каталогов выставок
Михаила Шемякина и Олега Целкова обращайтесь в редакцию.

выработать стратегию воспитания. Каждый ребенок нуждается в персональном отношении. С помощью гороскопа можно получить необходимые разъяснения.

ГРАНТ, Кэри (Grant, Cary). Мировой мастер.

ГРЕНЛАНДИЯ (Grønland). Должна называться Исландией и не вводить в заблуждение тех, кто воображает, благодаря этому названию, совсем другую страну.

ГРИБЫ (Pilze). В Европе их множество видов. В Америке только один – шампиньон, да и тот называется просто "mushroom".

ГРИМ (Schminke). Жаль, что большинство из нас его употребляют!

ГРИМЕР (Maskenbilder). Отношения между ними и актрисой похожи на связь двух заговорщиков. Они никогда не предадут друг друга, а напротив – помогут. Гример – доверенное лицо актрисы. У него всегда при себе нужный номер телефона, по которому следует позвонить, чтобы та не опоздала на съемку, и он всегда знает номер, по которому не стоит звонить.

ГРУДЬ (Busen). Сегодня в моде большая мягкая грудь, форму и контуры которой можно легко изменить. Однако по-настоящему прекрасная грудь непоколебима в своей твердости.

ГУЛЯШ (Gulasch). Понадобится четыре часа, чтобы приготовить это блюдо так, чтобы мясо получилось мягким и сочным. Обязательно используйте кастрюлю с толстым дном.

Четыре фунта мяса нарезать маленькими кусочками и уложить в кастрюлю так, чтобы все куски касались дна. Поставьте на сильный огонь. Если из мяса испарится весь сок, добавьте бульона или воды. Подождите, когда все закипит, и уменьшите огонь.

Один фунт лука поджарьте на масле, пока он не станет золотисто-коричневым, добавьте паприку. Затем приготовьте смесь из половинки лимона и помидора. Все это смешайте с мясом и поджаренным луком. В конце можно добавить чеснок и чайную ложку уксуса.

Готовый гуляш ни в коем случае не ставьте в холодильник. Лучше оставить вблизи огня. Чтобы мясо сохранило свой вкус, не вынимайте его из соуса. На следующий день гуляш покажется еще вкуснее. Можно есть со сметаной.

ГУМАННОСТЬ (Humanität). "В чем человечество нуждается больше всего, так это не в обретении бессмертия, а в уповании на пощаду во время Страшного суда". Йозеф Конрад.

Вниманию наших читателей!

В этом году наша редакция собирается выпустить
дополнительный – седьмой – номер журнала.

Этот спецвыпуск будет целиком подготовлен

силами молодых – студентов и
выпускников ВГИКа.

По вопросам приобретения этого номера обращайтесь в редакцию по адресу: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12
тел. 299-11-78, 299-47-74 факс. 209-60-23

СОДЕРЖАНИЕ

- Лауреаты "Оскара"
- 3 Дж. Кэмпбелл "Пианино"
- Снимается кино
- 34 В. Залотуха "Мусульманин"
- Непоставленное кино
- 72 И.Квирикадзе "1001 рецепт господина Ишака"
- Интервью
- 112 Ю. Гирба "Рената Литвинова: Я – жертва кинематографа"
- Дебют
- 117 Р. Литвинова. Монологи медсестры из фильма "Увлеченья"
Новеллы "Третий путь", "Офелия, безвинно утонувшая"
- Мемуары
- 134 В. Фрид "58 1/2" (продолжение)
- К 70-летию Параджанова
- 155 В. Катанян "Сережу или Страсти по Параджанову" (продолжение)
- Из жизни звезд
- 168 Дж. фон Штернберг: "Марлен Дитрих – необычайная женщина"
- 189 Марлен Дитрих "Азбука моей жизни"

Главный редактор Н.Рюрикова

Редакционно-общественный совет: В. Азерников, Э. Акопов, И. Васильева, Г. Горин, А.Гребнев А.Инин, Е. Клейнер, А. Криницына, А. Мамиллов, А. Медведев, В. Мережко, Н.Рязанцева, М.Сергиенко (отв. секретарь), П. Финн, В. Фрид, А. Червинский, В. Черных
Выпускающий редактор Ю.Гирба. Компьютерная верстка и графика А. Макаровой
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 10.10.94 Подписано к печати 15.10.94. Формат 70x100/16. Усл.печ.л. 14,5. Усл.кр.отг. 14,5. Печать офсетная. Бумага типографская офсетная. Гарнитура "прагматика" Заказ № 2548

Отпечатано совместно с Полиграфическим центром Аэрофлота "Панас-Аэро"
127018, Москва, Суцевский вал, д.49

Отпечатано с готовых диапозитивов в Ордена Трудового Красного Знамени ПО
"Детская книга" Роскомпечати
127018, Москва, Суцевский вал, д.49

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23

От редакции: в блоке о творчестве Федерико Феллини (№1 за 1994 год) были использованы материалы, предоставленные Г. Богемским и Э. Двин.

А Н О Н С

В следующих номерах нашего журнала читайте:

К 100-летию кинематографа и 20-летию одного из лучших фильмов XX века

"ЗЕРКАЛО"

- сценарий **А. Мишарина** и **А. Тарковского**,
- воспоминания о Тарковском **Л. Нехорошева**,
- уникальные кадры со съемок **В. Мурашко**,
- отрывок из новой книги **А. Демидовой**;

авторский рассказ **Вернера Херцога** по его собственной картине

"НОСФЕРАТУ, ПРИЗРАК НОЧИ"

– одной из наиболее изысканнейших картин в серии фильмов-ужасов, экранизации книги Б. Стокера "Дракула";

"ЧЕЛОВЕК НЕ КАК ДРУГИЕ"

– сценарий-детектив **Александра Пятигорского** и **Одри Кантли**. Это дебют в кинодраматургии Александра Пятигорского – ближайшего друга и собеседника Мамардашвили. А. Пятигорский – философ-востоковед, писатель, эмигрировавший в Англию в 1974 году;

сценарий **Отара Иоселиани** "**ОХОТА НА БАБОЧЕК**";

сценарий **А.Леонтьева** и **А.Бабаяна**

"ЧЕРНЫЙ ДЬЯВОЛ ТАЙГИ"

– приключенческая история о первых российских поселенцах в Сибири;

завершающую часть публикации воспоминаний **В.Катаняна** о С.Параджанове

"СЕРЕЖУ, ИЛИ СТРАСТИ ПО ПАРАДЖАНОВУ";

мемуары старейшего сценариста-оптимиста **В.Фрида** "**58 1/2**";

продолжение публикации книги одной из самых красивых женщин XX века – **Марлен Дитрих**: "Читайте "**АЗБУКУ МОЕЙ ЖИЗНИ**" – и вы узнаете, что жизнь как таковая – это увлекательно, стильно и вкусно";

новые рассказы **ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА**,

дневники **АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО** и **ЮРИЯ НАГИБИНА**.

КИНО СЦЕНАРИИ №5

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

“Носферату,
призрак ночи”

— роман

“Дракула”

глазами

Вернера

Херцога

